

*Идеология «особого пути»
в России и Германии*



Александр Верховский

Лев Гудков

Александр Дмитриев

Борис Дубин

Александр Кубышкин

Леонид Люкс

Сергей Магарил

Мария Майофис

Александр Мелихов

Эмиль Паин

Александр Сергунин

Андреас Умланд

Борис Фирсов

Александр Хряков

Юрген Царуски

Идеология «особого пути»
в России и Германии:
*истоки, содержание,
последствия*

Под редакцией Э.А. Паина



«ТРИ КВАДРАТА»

МОСКВА

2010

Friedrich Naumann
STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT

Издание осуществлено при поддержке Фонда Фридриха Науманна

Научный редактор: Э. Паин

Редактор: Е. А. Алексеева

Издатель: С. В. Митурич

Верстка: Д. А. Шакишева

Корректор: А. Г. Мартынова

На обложке: монумент В. Мухиной

«Рабочий и колхозница». Фрагмент

Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия : [сб. ст.] / Kennan Institute ; под ред. Э. А. Паина. – М. : Три квадрата, 2010. – 320 с. – ISBN 978-5-94607-143-2.

И. Паин, Э. А., ред.

В чем особенности исторического пути России? Сегодня этот вопрос интересует не только ученых и политиков, но и широкий круг рядовых граждан. Тот же вопрос задавали себе и немцы, как до объединения Германии, так и в различные кризисные периоды существования этой страны. Сама идеология (система взглядов) «особого пути» России оказывается вовсе не особенной, не уникально российской. Почему возникли однотипные идеологии в разных странах? Как они отражаются в политической практике и влияют на нее? Можно ли использовать идеологию «особого пути» как инструмент модернизации России? Эти проблемы обсуждают в представленном сборнике российские и немецкие ученые – историки, социологи, политологи.

© Авторы статей, 2010
© Kennan Institute, 2010
© «Три квадрата», 2010

ISBN 978-5-94607-143-2

Предисловие 7

«Особый путь»:

к истории идеи национального самоутверждения

Александр Хряков

Психология «особого пути» и немецкие историки
(1920–1940-е годы) 17

Мария Майофис

От идеи «единой Европы» к идее «особого пути»:
С. С. Уваров в 1819–1821 годах 49

Александр Дмитриев

Большевики, интеллигенты и российская самобытность:
к истории сменовеховских диагнозов 70

Леонид Люкс

«Особые пути» России и Германии на примере
евразийства и «консервативной революции» 96

Юрген Царуски

Некоторые аспекты идеологии «особого пути» в правовом
дискурсе двух диктатур – национал-социализма и сталинизма . . . 118

Сергей Магарил

Мифология «Третьего Рима» в российском
образованном сообществе 127

«Особый путь»: современные российские реалии

Александр Кубышкин, Александр Сергунин

Проблема «особого пути» во внешней политике России
(90-е годы XX века – начало XXI века) 159

Александр Верховский, Эмиль Паин

Цивилизационный национализм: российская версия
«особого пути» 171

Предисловие

<i>Борис Дубин</i>	
Мифология «особого пути» в общественном мнении современной России	211
<i>Борис Фирсов</i>	
Апология «особого пути» и ментальность россиян: взгляд извне	230
<i>Андреас Умланд</i>	
Новый «особый путь» России после «оранжевой революции»: радикальное антизападничество и паратоталитарный неоавторитаризм 2005–2008 годов	245
<i>Эмиль Паин</i>	
Особенности постсоветского политического режима	266
Заключительные размышления	
<i>Александр Мелихов</i>	
Идеология «особого пути» как орудие модернизации	297
<i>Лев Гудков, Борис Дубин, Эмиль Паин</i>	
Беседа на тему: «Есть ли модернизационный ресурс у идеологии “особого пути”?»	300
<i>Сведения об авторах</i>	318
<i>Институт Кеннана</i>	320

Высокая озабоченность общества или хотя бы только его образованного сословия поиском особого пути своей страны – верный признак несформированности политической нации или глубокого кризиса национально-гражданской идентичности. Оба эти признака характерны для современной России. Советского общества уже нет, а новое, российское, еще не сложилось. Даже географические границы политической нации – все еще предмет дебатов. Одни партии и движения ставят вопрос о восстановлении СССР, другие – о возрождении России в масштабах империи Романовых, третьи, напротив, – считают необходимым отбросить так называемое «мягкое подбрюшье» России и отделить от нее республики Северного Кавказа. Россия – империя или федерация? И этот вопрос не снять с повестки дня. Еще больше споров о политической стратегии или, на языке публицистики, о политическом пути России. Сердцевиной этих дискуссий является вопрос о роли государства и общества в политической системе. Казалось бы, все это уже определено в Конституции России, провозглашающей ее народ источником власти в федеративном государстве, определяющей его границы и прокламирующей светский и демократический характер политического режима в стране. Однако положения Основного Закона не сильно сказываются на общественном сознании. Уж то, что Россия не стала правовым государством и ее граждане не опираются на Конституцию как на свод высших норм, легитимирующих повседневную жизнь, признают все – власти и оппозиция, ученые и публицисты, так называемая «элита» и рядовые граждане. В таких условиях во-

просы «Кто мы?», «Куда идем?», «В чем особенность нашего пути?» являются не только предметом научных исследований, но и политической повесткой дня.

Между тем подобные вопросы не новы и совсем не уникальны. В фокус общественного внимания они впервые попали в Европе в конце XVIII – XIX веках в связи со становлением государств-наций, сопровождавшимся поиском объединительной «национальной идеи». В XIX веке население множества германских государств, а затем и объединенной Германии неоднократно возбуждалось идеями общего германского и одновременно особого, отличного от других стран Европы пути. Так было во время войны с Наполеоном и в процессе объединения Германии под эгидой Пруссии. Идея «особого германского пути» обсуждалась в Германии и позднее, после Первой мировой войны.

Итак, понятие «особый путь» является ключевым в системе взглядов и идей (идеологии), сопровождающей становление национального государства или его глубокие кризисы, осознаваемые как провал предшествующего национального проекта. Оба явления порождают острые приступы общественной саморефлексии о сущности нации и ее «национальной идее». Формирующаяся в таких условиях идеология отражает ранние, можно сказать, «юношеские» формы общественного самоутверждения, отталкивающиеся от некоего внешнего образа («конституирующего иного»), в роли которого может выступать страна или группа стран. Вряд ли можно отыскать пример целостной идеологии «особого пути», сложившейся в доктрину или завершенную концепцию. Однако при сравнении идеологических конструкций национального самоутверждения в ряде стран (например, в России и Германии) возможна реконструкция контуров такой идеологии, формирующейся в процессе так называемой «негативной национальной консолидации».

Впрочем, само понятие «особый путь страны» (или его аналоги) встречается в различных дискурсах и характеризует родственные между собой, но все же различные явления.

В наиболее завершенной форме оно сформулировано в рамках направления германской историографии XIX–XX веков, получившего название *Deutscher Sonderweg*. Это научное направление состояло не только в поиске особенностей исторического развития

Германии в сравнении с другими странами Европы. Такого рода исследования не могли бы претендовать на статус «особого направления», поскольку любая страна имеет свои особенности, фиксируемые практически каждым историческим исследованием. Заметная специфичность указанной концепции связана с одной весьма примечательной ее деталью – попыткой обосновать предопределенность пути страны некими историческими травмами, а именно отклонением Германии от «нормального» исторического развития в процессе ее перехода от доиндустриальной эпохи к индустриальной. Одним из таких отклонений признавалось то, что гражданское общество и гражданская нация складывались в Пруссии «сверху» в условиях просвещенного абсолютизма, а не «снизу», под давлением масс после социальных революций, как это было в Англии и во Франции. Это своеобразие стадийного перехода в Пруссии обусловило якобы особую и неизбежную веру германского народа в авторитет государства и правителя, что создавало барьеры на пути формирования либеральной демократии в Германии. Такая концепция часто использовалась при объяснении феномена германского тоталитаризма, однако ныне, когда Германия стала ключевым звеном европейской либеральной демократии, о концепции *Deutscher Sonderweg* в этой стране вспоминают лишь как об одной из версий исторической науки, не оправдавшейся с точки зрения долгосрочного прогноза. Иначе обстоят дела в России. Здесь аналогичные концепции предопределенности истории, пусть и менее обоснованные теоретически и не имеющие единого названия, сложились со времен Н. Карамзина.

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

(А.С. Пушкин)

Эта историографическая традиция весьма популярна до сих пор, поскольку вера в возможность полноценного демократического развития нашей страны не прибывает, а вот в «прелести кнута» (разумеется, не для себя, а применяемого к другим) – периодически вспыхивает.

И наконец, можно говорить об «особом пути» как форме мифологического сознания, рисующего образ особого развития страны, но отказывающегося от рациональных объяснений этих особенностей. Мифологическую версию «особого пути» России прекрасно выразил поэт Ф. Тютчев: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить».

Из названия книги ясно, что ее авторов в наибольшей мере интересует идеологический ракурс понятия «особый путь» страны. К тому же именно идеология в немалой мере обусловила как соответствующее направление в историографии, так и мифологию «особого пути».

При сравнении высказываний философов, политиков, литераторов и других производителей идей в Германии и России, так или иначе обозначающих «особый путь» своей страны, поражает сходство ключевых признаков этой идеологии.

К числу таких признаков, прежде всего, относится идея противопоставления своей страны некоему Западу. Такое противопоставление характерно даже для Германии, воспринимаемой в России как несомненный Запад. Но в том-то и дело, что в контексте рассматриваемой идеологии «Запад» – это не географическое понятие. Странники *Deutscher Sonderweg* не сравнивали Германию с Испанией или Португалией – самыми западными в географическом отношении странами Европы. В истоках этой идеи лежало противопоставление абсолютизма Пруссии конституционной монархии Англии и республиканскому строю во Франции. И во всех других проявлениях идеологии «особого пути» как в Германии, так и в России в ней непременно подчеркивались:

- особая роль верховной власти в управлении страной в противоположность западному демократизму;
- особая ментальность народа, характеризующаяся извечной и неизбывной его верой в авторитет правителя;
- особое уважение своей страны к духовной культуре, к «духовности» в широком смысле, как противоположность западному прагматизму.

Со времени немецких отзывов на книгу Анн-Жермен де Сталь «*De l'Allemagne*» («О Германии», 1813) многие немцы компенсировали свое чувство отсталости по сравнению с Англией и Францией тем,

что подчеркивали свое культурное превосходство над Западом. Они считали Германию «культурно избранной» страной, Эдемом писателей и мыслителей, ссылаясь при этом на Гёте и Шиллера, Канта и Гегеля. Культура как духовное понятие противопоставлялась поверхностным ценностям цивилизации, привнесенной в мир Западом. Особенно горячо защищал эту концепцию уже в начале XX века Томас Манн в «Заметках аполитичного». В России по сути ту же идею, с некоторыми нюансами, развивали многие писатели, но, пожалуй, наиболее последовательно Федор Достоевский в «Дневнике писателя» и ряде романов.

Несомненно влияние немецкой версии идеологии «особого пути» на русскую. Во всяком случае, Ф. Тютчев и Ф. Достоевский хорошо знали немецкие первоисточники идеи «особой духовности». И все же сравнение однотипных узлов этой идеи в обеих странах указывает не столько на ее заимствование, сколько на сходство базовых социальных и политических условий, вызывающих необходимость однотипных форм национального самоутверждения, выражающихся в противопоставлении своей страны, своего народа, своей культуры некоему Западу, географический смысл которого исторически изменялся. Это самоутверждение требовало психологических компенсаций ощущению отсталости («проигрываем в экономике, выигрываем в духовности»). Сравнение идеологии «особого пути» в России и Германии указывает на ее социальную типичность, и в этом смысле само это сравнение выступает оппозицией представлениям об уникальности «особого пути» в России. Не скроем, это входило в задачу книги, предлагаемой вашему вниманию.

Разумеется, книга, построенная как сборник статей, не может претендовать на систематическое описание идеологии «особого пути». Зато принятая форма позволяет продемонстрировать разнообразие ракурсов анализа этого явления. Сборник включает как исторические исследования, так и материалы, посвященные современным проявлениям этой идеологии. Понятно, что современное бытование этой идеологии в наибольшей мере характерно для России и представлено в основном статьями российских авторов. Немецкие авторы рассматривают эту проблематику лишь как предмет исторических исследований и общетеоретических построений, основанных на сравнении, например, германского и советского тоталитаризма.

В основу сборника легли статьи, написанные по итогам докладов тех же авторов на Шестых Старовойтовских чтениях: конференции «Идеология “особого пути” в России и Германии: истоки, содержание, последствия», проведенной 20 ноября 2009 года в рамках Дней толерантности в Санкт-Петербурге.

Чтения были организованы московским офисом Института Кеннана совместно с московским бюро Фонда им. Фридриха Науманна, Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино и Благотворительным фондом «Институт толерантности».

Уже после конференции при подготовке сборника выяснилось, что какие-то доклады выбиваются из основной тематики книги. От таких докладов пришлось отказаться. Взамен составители сборника заказали известным авторам статьи, закрывающие тематические лакуны.

Исторический раздел книги открывает статья омского историка А. Хрякова. Составители отказались от размещения исторических сюжетов в хронологической последовательности и поставили первым именно это исследование, которое, казалось бы, посвящено в основном сравнительно позднему этапу (начало XX века) отражения идеологии «особого пути» в немецкой историографии. Зато эта работа наиболее полно отражает как теоретические, так и социально-культурные предпосылки включения мифа об «особом пути» не только в немецкую историографию, но и в национальное самосознание. Она также исследует роль немецких интеллектуалов в конструировании этого мифа и в формировании соответствующей общественной психологии.

С. Магарил поставил перед собой похожую задачу: отразить роль русских интеллектуалов (образованного сообщества) в формировании российской версии идеологии «особого пути», восходящей к известной мифологеме «Москва – Третий Рим».

На этом фоне статья М. Майофис выглядит более узкой по своей тематике. Вместе с тем и в ней на конкретном историческом материале отражены метания российской элиты от идеи интеграции к идее «особого пути». Автор показывает, что эти перемены были обусловлены вовсе не мистической предрасположенностью России к автаркии, а вполне рациональными историческими обстоятельствами. На

примере изменений взглядов графа С.С. Уварова, выдвинувшего известную доктрину российской специфики «Православие, самодержавие, народность», хорошо видны обстоятельства, побуждавшие русских «западников», «интеграционистов», к которым поначалу примыкал С. Уваров, повернуть к идее замкнутости страны.

Сходные сюжеты анализирует А. Дмитриев. Его статья опирается на материалы иного исторического периода (1920–1930-х годов) и также характеризует причудливые переливы и взаимосвязи идей универсализма и, казалось бы, противоположной им доктрины «особого пути» в среде «евразийцев», идеологического течения русской эмиграции.

Немецкий историк Г. Люкс на примере двух идеологических течений – русского евразийства и немецкой «консервативной революции» 1920–1930-х годов – отразил глубокое сходство причин, порождающих идеологию «особого пути», и прежде всего тех из них, которые связаны с психологическим оправданием провала «национального проекта».

Еще один немецкий исследователь, Ю. Царуски, в своей статье выделил этапы эрозии правового сознания населения под воздействием идеологии «особого пути», закрепленной в правовом дискурсе двух диктатур: национал-социализма и сталинизма.

На стыке исторического раздела и того, который посвящен проявлениям идеологии «особого пути» в современной России, находится статья А. Кубышкина и А. Сергунина. Авторы проанализировали историю метаний постсоветской внешней политики России от идеи интеграции в Европу к идее «особого пути». При этом они указали на разные версии реализации этой идеи во внешнеполитических концепциях политиков – от умеренных державников до более жестких, современных последователей евразийцев.

А. Верховский и Э. Паин представили теоретическую концепцию, согласно которой основной версией идеологии «особого пути» в современной российской политике выступает «цивилизационный национализм». В статье дана панорама политических сил, использующих эту идеологию в России, и наибольшее внимание уделено радикальным националистическим партиям и движениям.

В какой-то мере эту же тему развивает и немецкий политолог А. Умланд, который выбрал своеобразный ракурс такого анализа, свя-

занный с отношением российских антизападнических сил к «оранжевой революции» в соседней Украине.

Динамику российского общественного мнения по отношению к идее «особого пути» России анализирует социолог Б. Дубин. Автор выявляет причины маятникообразных колебаний массового сознания как под влиянием элит, так и под воздействием традиционных массовых стереотипов российского общества, а также выделяет несколько уровней стереотипного сознания.

Социологическую тематику в сборнике подхватывает Б. Фирсов, который представляет взгляд иностранцев на особую российскую ментальность.

Э. Паин в своей статье предпринял попытку дать анализ специфики современного политического режима, опирающегося с разными целями на идеологию «особого пути».

Вместо заключения было решено представить две противоположные точки зрения относительно возможности использования идеологии «особого пути» как инструмента российской модернизации. Одну из них отстаивает петербургский писатель А. Мелихов, позиция которого отражена в названии его статьи: «Идеология “особого пути” как орудие модернизации». Эту мысль анализируют и в основном полемизируют с ней социологи Л. Гудков и Б. Дубин, а также составитель сборника.

Авторы книги надеются, что их совместный труд поможет обсуждению ряда острых проблем, характеризующих состояние и перспективы развития российского общества. Мы выражаем благодарность московскому бюро Фонда им. Фридриха Науманна, спонсорская поддержка которого сделала возможным как проведение упомянутой конференции, так и публикацию этой книги.

Эмиль Паин

«Особый путь»:
к истории идеи национального
самоутверждения

Александр Хряков

Психология «особого пути» и немецкие историки

(1920–1940-е годы)

1. Культура vs. цивилизация

Осенью 1946 года в Гёттингене встретился ряд немецких историков – профессоров ведущих университетов страны для обмена мнениями относительно актуального положения дел в исторической науке Германии. Это была первая встреча представителей немецкой историографии после катастрофического поражения страны во Второй мировой войне. Лейтмотивом данного собрания стал призыв историка из Кёльна Петера Рассова вернуться в лоно «европейской истории»¹. Примечательно, что такие понятия, как «Европа» и «христианский Запад», возникли в общественно-политическом дискурсе Германии в тот момент, когда она переживала тотальное поражение, полное разрушение экономики, раздел страны сперва на зоны оккупации, а затем вообще на государства с совершенно различными социально-политическими системами. Принято считать, что открытие немцев остальному миру и отказу от идеологии «особого пути» способствовала потеря государственного суверенитета и проводимая союзниками политика денацификации. Не отрицая этого, заметим, что все это было бы невозможно без внутреннего осознания глубины своего падения представителями интеллектуальной элиты Германии, прежде всего историками². Они сделали очень много не только для историко-научного оправдания идеологии «особого пути» Германии, но и, что важно, для ее преодоления.

Начиная с XIX века, историческая наука в Германии занимала центральное место в ряду других «наук о духе», а профессора-исто-

рики воспринимались не иначе как учителя нации. Подобный престиж исторического знания покоился на его значении в формировании немецкой «идеи образования» (*Bildungsidee*). Она предполагала воспитание посредством изучения и передачи неких значимых образцов культуры и гуманизма, взятых прежде всего из исторической реальности. Образование выступило здесь в качестве всеобщего идеала и общепринятого постулата, неся в себе мощный заряд универсальных ценностей. Направленное на изменение мира, его реформирование, просвещение и эволюцию, образование являлось активной жизненной силой, данной человеку для совершенствования нравов и улучшения человеческой природы. За историографией закреплялось право выступать в роли хранителя культурного единства страны, придавая смысл всей предшествовавшей немецкой истории.

В этой ситуации миф об «особом пути» Германии выступил прежде всего в качестве идеологии объединения, формируя национальную идентичность молодой нации «от противного», противопоставляя ее другим народам Европы. Неслучайно всплески популярности данных представлений приходились на своеобразные «точки бифуркации» национальной истории, когда страна стояла перед выбором своего дальнейшего пути: французская оккупация и освободительная война против Наполеона, революция 1848 года, поражение в Первой мировой войне и, конечно же, эпоха Веймарской республики и Третьего рейха. Но если в XIX веке антитетное мышление не выходило за рамки слоя образованного бюргерства, то в ходе мировой войны этот вариант специального историко-научного дискурса стал общедоступным, воплотившись, по словам Бернда Фауленбаха, в «идеологию немецкого пути»³. Сложные для восприятия на теоретическом уровне научные идеи и доводы немецких историков после 1914 года благодаря своей эмоционально-психологической окрашенности легко нашли воплощение в исключительно манихейском противостоянии «культуры» и «цивилизации».

В своих «Размышлениях аполитичного», опубликованных в последние дни Первой мировой войны, Томас Манн так сформулировал свое отношение к причинам этого конфликта: «Итак, я полагаю, что сейчас наступила всеобъемлющая ясность относительно того, что духовные корни этой войны, которую с полным на то правом называют “немецкой войной”, обнаруживаются во врожденном, ис-

торическом “протестантстве” Германии и что сама эта война означает новый взрыв великолепной, как полагают многие, последней, древней немецкой борьбы против духа Запада, или борьбы римского мира против своевольной Германии»⁴. Главную опасность для своих идеалов писатель видел в проповедуемых западными странами, прежде всего Англией и Францией, идеях Просвещения и демократии. Политика вообще и демократия в частности (для Манна эти понятия были синонимичными) представлялись продуктом западной утилитарно-рассудочной цивилизации, которую он противопоставлял якобы изначально *духовной* культуре своей страны⁵.

Подчеркивая контраст германской *культуры* и западной *цивилизации* (а эта дихотомия была, по словам Н. Элиаса, подлинным «выражением немецкого самосознания»⁶), Манн выделяет специфические, сущностные черты не только своего народа, но и его противников. Национальные различия, как правило, воспринимаются и интеллектуалами, и обывателями неизменными, существующими от века, и поэтому самое главное – вычленив эту «сущность», тот набор элементов, что скрывается в национальном характере. Как пишет все тот же Элиас, «исторические перемены кажутся затрагивающими только что-то внешнее, а народ, нация – пребывающими без изменений. Английская, немецкая, французская, американская или итальянская нация – равно как и все прочие – наделяются непреходящим характером в сознании тех, кто к ним принадлежит. По своей “сущности” они всегда равны самим себе, идет ли речь о X в. или XX в.»⁷

Следуя за «Размышлениями аполитичного», можно кратко сформулировать идеальный образ немецкой нации в глазах немецких консерваторов, а также уточнить их представления о ее извечном враге – римском Западе: «Различие между духом и политикой содержится в себе различие между культурой и цивилизацией, душой и обществом, свободой и всеобщим избирательным правом, искусством и литературой; германство (*Deutschtum*) это как раз и есть культура, душа, свобода, искусство, но не цивилизация, общество, всеобщее избирательное право, литература»⁸. Германскому духу чужда любая политика, его всемирно-историческое предназначение, его «прирожденная миссия» – защита духовной культуры от надвигающейся с Запада угрозы механицизма и засилья «массы». Немецкий

народ, по мнению Манна, не является социальным народом, он далек от понимания «жизни» как общественного существования, и лишь духовное существование – мораль, внутреннее переживание и так далее – означает для немцев гораздо больше, чем любые политические или экономические перемены. Что касается формы государственного правления, то в отличие от западных демократий лучшим для немцев, по мнению создателя «Будденброков», является «многажды ославленное “чиновничье, полицейское государство”».

Сегодня эту раннюю работу немецкого писателя можно рассматривать исключительно как «важный симптом современности» – именно так обозначил ее сам автор. Повседневный милитаризм вильгельмовской Германии подготовил почву для укоренения в обществе военизированной ментальности, и начало войны немецкого Рейха против мнимой западной угрозы самим основам его «духовного бытия» было встречено поначалу всеобщим воодушевлением. Оно воскресило ожидание того будущего, которое обещало решение всех проблем современного индустриального общества. На место разобщенности и раскола должна была прийти новая общность, созданная на основе «органических» ценностей. Начавшаяся война обещала обуздать жесткой дисциплиной так называемую «массу», дать молодежному движению некие действенные формы реализации вместо прежних игровых; но прежде всего с войной связывали надежды на преодоление классового раскола и дезинтеграции, на включение ранее изолированного рабочего движения в национальное сообщество. Именно к ним, избирателям социал-демократов, был обращен призыв Вильгельма II: «Для меня в Германии нет больше партий, есть только немцы!»

Интеллектуальным и философским оправданием чувства внутреннего единства и внешнего превосходства служили так называемые «идеи 1914 года», с которыми немецкие интеллектуалы связывали свой вклад в начавшуюся войну, неся службу, по словам Манна, на «фронте мыслей». При этом речь шла об обнаружении как существенных, так и исторически оправданных антагонизмов между негативно оцениваемой западной цивилизацией, с одной стороны, и выдающейся немецкой культурой – с другой; между западной демократией, восходящей к «фальшивым» идеям 1789 года, и все еще расплывчатыми немецкими представлениями о собственной нацио-

нально-политической общности. Для интеллектуальной элиты Германии это был желанный шанс покинуть башню из слоновой кости и мобилизовать свой интеллект на благо национальной общности⁹.

Показательной для демонстрации националистического самовосхищения можно назвать позицию немецкого писателя Германа Бара, которую он высказал на страницах Berliner Tageblatt 14 августа 1914 года. «Нам явилась немецкая сущность, – ликовал он. – Мы теперь впервые знаем, кто мы такие в действительности. Это неописуемый подарок нашего великого времени... Мы снова в ладу с собой, теперь мы только немцы. Все немецкие раны исчезли. Мы выздоровели. Слава войне, которая нас в первый же день избавила от всех немецких наследственных болезней»¹⁰. Это был язык национализма, который шаманским камланием чувственно усиливал веру в единство Германии. Националистический язык создавался с помощью специфических ключевых слов и эмоциональных лозунгов, с помощью вызывающих аффекты метафор и сентенций, которые разжигали создающую солидарность динамику. «Мы живем, – писал Эрнст Толлер об «августовских переживаниях» 1914 года, – в упоении чувствами. Слова “Германия”, “Отечество”, “война” имеют магическую силу, когда мы их произносим, они не испаряются, они парят в воздухе, кружат вокруг нас, воспламеняя себя и нас»¹¹.

Война необычайно усилила эмоциональное восприятие происходящего, в ходе нее возникла некая «новая чувствительность» (Т. Манн), и катастрофическое поражение в войне сыграло ничуть не меньшую роль в рождении этой чувствительности, чем ее бравурное начало. К чувству оскорбленной чести, стыда, злости и разочарования в начале 1920-х добавился страх перед безработицей и инфляцией, массовым насилием, с одной стороны, и упоение властью и некое раскованное наслаждение жизнью – с другой. Вообще, историю Веймарской республики, а также нацистского периода невозможно понять без обращения к коллективным чувствам германского общества, и в этом нельзя не согласиться с немецкой исследовательницей Уте Фреверт, заявившей, что «как раз в истории XX века эмоции приобретают специфически историческое значение... до этих пор язык редко черпал столь экстенсивно и чрезмерно из арсенала чувств»¹².

С точки зрения исторической памяти спецификой любой войны является ее духовное «продолжение» в послевоенное время. Опыт

военных лет, страдания, интеллектуальная и физическая мобилизация не заканчиваются резко с заключением перемирия. И если в большинстве случаев осознание победы или поражения приходит заблаговременно, то разгром центральноевропейских держав в 1918 году все же стал шоком, к которому едва ли кто-то был готов. «Моя честь, я потерял свою честь, моя честь, плакала моя честь», – записал в своем дневнике 10 ноября 1918 года гейдельбергский медиевист Карл Хампэ (1869–1936). «Когда вечером фрейлейн Марга принесла ужасающие условия перемирия и мы увидели перед собой черным по белому (то, что в другом случае не могли ожидать), наше с таким трудом сдерживаемое самообладание исчезло, и мы вместе заплакали». Этот день «стал самым несчастным днем в жизни» автора дневника¹³.

2. *Общность (Gemeinschaft) vs. общество (Gesellschaft)*

Такие чувства и эмоции, как любовь, ненависть, страх, печаль, надежда, доверие, гордость, стыд и масса других, не только изменяются во времени и, значит, имеют свою историю, но и творят эту историю. Данная активная роль эмоциональных и аффективных переживаний происходит от того, что они, как правило, непосредственно относятся к действию, они мотивируют практически все социальные практики, которые становятся эмоционально окрашенными¹⁴. Подобное понимание роли эмоций в социальной жизни людей стало возможным в гуманитарных науках во многом благодаря работе немецких социологов прошлого века, прежде всего М. Вебера и особенно Г. Зиммеля. Они ратовали за смену масштабов изучаемых явлений, переместив внимание науки от анализа общих факторов или систем на типы «социальных действий» (Вебер) и «социальных взаимодействий» (Зиммель)¹⁵.

«Люди обмениваются взглядами, люди ревнуют друг к другу; они пишут письма или вместе садятся обедать; они относятся друг к другу с симпатией или антипатией, совершенно независимо от всяких явных интересов; благодарность за совершенный альтруистический поступок влечет за собою неразрывную и обязывающую цепь последствий; один человек расспрашивает другого о дороге; они

одеваются и наряжаются друг для друга, – целые тысячи перебрасывающихся от личности к личности отношений, мгновенных или длительных, сознательных или бессознательных, мимолетных или чреватых последствиями, из которых мы выбрали первые попавшиеся примеры, непрерывно связываются между собою... Все эти непрерывно текущие физические и душевные прикосновения, взаимное возбуждение удовольствия и страдания, разговоры и молчание – только это и создает удивительную неразрывность общества, приливы и отливы его жизни, в которых его элементы беспрестанно находят, теряют и перестраивают свое равновесие»¹⁶.

Этот пассаж Зиммеля, написанный еще в 1908 году, продолжает оставаться актуальным вплоть до наших дней, особенно для тех гуманитариев, которые не только видят в истории действия анонимных структур и объективных процессов, но и интересуются деятельностью исторических акторов, их социальными взаимодействиями, культурными мотивациями, имеющими эмоциональное и символически смысловое наполнение.

В большинстве своем эмоции фиксируются в определенных ключевых представлениях, понятиях и оборотах речи, приобретающих в новых условиях совершенно иной смысловой оттенок. Характерной особенностью данных оборотов речи является их в высшей степени аффективное определение, что делало содержание этих понятий неточным и постоянно меняющимся. Подобная расплывчатость вела к легкости в их употреблении и ориентации на практическое применение, к нацеленности на действие. По мнению немецкого историка права Оливера Лепсиуса, такая неопределенность сулила упразднение и снятие противоречий между извечными противоположностями: «объективный» – «субъективный», «природа» – «дух», «бытие» – «долженствование», «объективная ценность» – «субъективная оценка» и т.д. В послевоенной Германии эти научные антитезы казались синонимами общественного раскола и деградации, их место в научно-политическом дискурсе заняли так называемые «снимающие противоречия понятия» (*gegensatzaufhebende Begriffsbildung* – используя удачный термин О. Лепсиуса). Помимо содержательной неопределенности и эмоциональной нагруженности, обороты типа «господство как служение», «свобода как служение», наконец, «истина как служение» существовали в двух плоскостях, не только научной,

но и социально-политической. В этих «снимающих противоречия понятиях» одновременно присутствовал сильнейший стимул к соучастию, совместной деятельности по достижению общих целей¹⁷. В их употреблении проявлялись иррациональные мотивы поведения немецкой интеллектуальной элиты, мотивы совершенно не проговариваемые, но стремящиеся к практическому воплощению.

Пожалуй, наиболее известной парой противостоящих друг другу понятий в первой половине XX века в Германии являлись «общность» (Gemeinschaft) и «общество» (Gesellschaft). На протяжении практически всего XIX века эти понятия употреблялись как синонимичные, в том числе и в немецкоязычном пространстве¹⁸. И только начиная со знаменитой работы Ф. Тённиса эти категории получили совершенно различное толкование. Тённиса как одного из «отцов-основателей» немецкой социологии заботила прежде всего выработка «основных понятий чистой социологии» независимо от того, существуют ли такие «идеально-типические» формы в реальной жизни¹⁹. Антропологически понятия «общность» и «общество» выводились Тённисом из двух форм человеческой воли: сущностной и избирательной. В данном случае немецкий социолог имеет в виду социальную волю, то есть определенным образом согласованные действия, совершаемые людьми. «Сущностная воля есть психологический эквивалент человеческого тела, или принцип единства жизни, поскольку последняя мыслится в той форме действительности, которой принадлежит само мышление». Данная воля стоит за «реальной и органической» связью людей между собой, на основе которой возникает «устойчивая и подлинная совместная жизнь», и потому «общность» должна, по мнению Тённиса, «пониматься как живой организм». В отличие от «сущностной воли», «избирательная воля есть порождение самого мышления, и потому собственно действительность присуща ей лишь в связи с ее носителем – субъектом мышления». В этом случае связь между людьми становится «идеальной и механической», а возникающее таким образом «общество» должно пониматься как «механический агрегат и артефакт».

«Общность» покоится на единстве и согласии сторон, на тесных персональных связях, исключая любых формальных посредников в практике отношений. Типичные формы «общности» Тённис видит в родстве, соседстве и дружбе, что может быть реализовано

лишь в семье, в деревне и городе, понимаемом как скопление нескольких деревень, обнесенных стеной. Жизнь здесь поддерживается единодушием, обычаями, религией, являющимися для людей своего рода смыслоутверждающими инстанциями.

В отличие от «общности», «общество» является скорее параллельным сосуществованием индивидов, связанных исключительно договорными или контрактными обязательствами. В «обществе» «каждый выступает только за себя, а в состоянии повышенной напряженности – и против всех прочих», поэтому для общества характерно состояние «враждебности» или «латентной войны». Типичные формы общности Тённис находит в большом городе, нации и крупном индустриальном предприятии. Но ярче всего различие между «общностью» и «обществом» в работе Тённиса просматривается в употреблении прилагательных, качественно характеризующих две эти формы общежития: «теплое» – «холодное», «органическое» – «механическое», «живое» – «искусственное», «чувственное» – «рациональное».

Несмотря на то, что книга немецкого социолога была написана в 1887 году, знаковым понятие «общности» стало лишь в ходе Первой мировой войны, направленной, по мнению части немецких идеологов, как против современности, так и против западного общества. После катастрофы 1918 года благодаря «фронтной общности» и «солдатскому братству» слово «общность» стало в Германии не только паролем культурно-общественного возрождения, но и призывом к борьбе для всех, кто не принимал рациональные ценности западного общества, навязанные союзниками условия Версальского мира, а также предательски совершенную «социалистическую революцию». Кроме того, тённисовская дихотомия позволяла довольно легко сформулировать сущностные, лежащие в эмоционально-психологической сфере различия между Германией и ее противниками. Еще в 1905 году немецкий социолог и экономист Вернер Зомбарт, анализируя ситуацию в Америке, писал: «Здесь все общинные процессы, все выросшее органически изжито»; здесь есть лишь «чистое общество», концентрированное в своем холоде²⁰. По мнению других немецких интеллектуалов, американцы обладали чувством сообщества, но в отличие от немецкого оно не было таким глубоким, скорее, напротив, поверхностным, проявляясь в вездесущем

дружеском ритуале учтивости. К таким проявлениям симпатии и дружбы нужно относиться не более серьезно, чем к учтивости и улыбкам продавца в лавке, нацеленного исключительно на кошелек покупателя. «Всемогущество экономического и дух официальной рационализации господствует теперь повсюду», – полагал в 1921 году Эрнст Трельч в своей статье «Американизация Германии». По его мнению, «немецкая духовность» в своих основах находится под угрозой²¹.

Сам Тённис отрицательно относился к подобного рода инфляционному разрастанию некогда строго определенного понятия «общность». В предисловии к восьмому изданию своей книги, вышедшей в 1935 году, он писал: «...ни пятьдесят лет назад, ни теперь я не собирался предлагать в этой книге этический или политический трактат, и ... уже в первом своем предисловии я настоятельно предостерегал от неправильных толкований и от мнящих себя проницательными попыток извлечь отсюда практическую пользу»²².

Но, несмотря на все предупреждения автора, его антитеза стала ключевой категорией немецкого мышления. По словам Карла Шмитта, «дихотомия сообщества и общества в Германии в первой половине настоящего столетия имела определяющее влияние на все представления и понятия, что относились к совместной жизни людей. С помощью этой дихотомии осуществлялась первая, самая общая, основополагающая и всем овладевающая ориентация», с чьей помощью ставшее таким ненадежным будущее вновь поддавалось оформлению²³. Рене Кёниг, бывший в 1920-е годы студентом в Вене и Берлине, вспоминал, что «общность» была волшебным понятием, объединявшим интеллектуалов Веймарской эпохи. «Вся социология, – писал он в своих воспоминаниях, – строилась вокруг понятия “общность” и против понятия “общество”»²⁴.

Социальные формы буржуазных свободных объединений по интересам, как они идеально-типически были представлены в ферейнах (Verein), уже с начала XX века натолкнулись на общественное пренебрежение и потеряли свое социальное значение. Их место заняла, по словам Ганса Моммзена, «фикция закрытой мыслительной и жизненной общности»²⁵. Прежде всего в среде молодежного движения, а через него и по всей Германии возобновилось желание преодолеть различные формы совместного существования, доставшие-

ся в наследство от буржуазного XIX века, и вместо этого вернуться к «общинным» недоговорным формам социальной организации, таким, например, как «союз» (Bund).

Понятие «союза», как и понятие «общности», в традициях политического и гражданско-правового языка Германии существовало довольно давно, но как социальная категория на протяжении XIX века практически не воспринималось. Именно поэтому такого внимания заслужили рассуждения философа Германа Шмаленбаха, быстро пробившие себе дорогу к практическому воплощению. В 1922 году он, отталкиваясь от тённисовской дихотомии «общности» и «общества», ввел третью «основополагающую категорию социологии», а именно «союз», возникающий между покидающими родительский дом молодыми людьми и объединяющимися в «дружеские союзы»²⁶.

Формально для Шмаленбаха «союз» располагался между рационально устроенным обществом, с одной стороны, и эмоционально связанной общностью – с другой, но совершенно очевидно, что по всем признакам «союз» ближе к «общности». От «общности» «союз» отличается лишь тем, что его члены не имели между собой кровного родства; союз, по мнению Шмаленбаха, образуется благодаря определенной встрече, в ходе которой возникает один из мощнейших и чувственно окрашенных симбиозов. «Эмоциональные переживания» вообще являлись для немецкого социолога конститутивными для определения «союзнических» (bündisch) связей. Этот эмоциональный компонент новой формы, прежде всего молодежных ассоциаций, романтически и квазирелигиозно преувеличивался, кроме того, он ориентировался на образ харизматического вождя (Führer) в лице «Бога, героя, мастера».

В воспринимаемом со скепсисом обществе господствуют рациональные и рыночно ориентированные принципы обмена и пользы, в то время как «союз», по словам Шмаленбаха, отличается «совершеннейшей преданностью, готовностью к жертвованию и способностью безоговорочно и без остатка отдать себя». «Союз» был, кроме того, специфически мужской социальной организацией, где женщины в силу их половых особенностей могли препятствовать абсолютному объединению.

Для Шмаленбаха, как и для Ф. Тённиса, а также многих других представителей «формальной социологии», речь не шла о личных

пристрастиях или оценках. Не только «общность» и «общество», но и «союз» не идентифицировались с конкретными историческими формами социальных образований. Для социологов в большинстве своем они были исключительно идеальными типами, которые в принципе могли существовать в любую историческую эпоху.

Но все представления об «общности», «союзе», а также «ордене», сформулированные в Веймарской Германии, обладали терминологическим родством с пунктами национал-социалистической идеологии²⁷. Как пишет Эрнест Геллнер, «нацизм, которому удалось вновь ритуализовать политику, привнес в анонимное индустриальное общество (Gesellschaft) мощную иллюзию общности (Gemeinschaft). Он соединил, и весьма эффективно, дисциплину индустриального общества с дисциплиной монархии, сплотив на эмоциональном уровне культурно однородную группу»²⁸. Это объясняет, почему так быстро, практически сразу же после прихода к власти Гитлера, сфокусированные в понятии «общность» мотивы поведения стали воплощаться в реальную практику. И прежде всего нацистские юристы одними из первых смогли приспособить их для потребностей и нужд нацистского государства, подвергая нападкам теорию естественного права и равенство индивидов перед законом, воздвигнув на их месте псевдоправовые конструкции, в основе которых лежали представления об общности, но трактуемые уже в расовом и националистическом духе²⁹.

3. Немецкие историки первой половины XX века об «особом пути» Германии

В отличие от юриспруденции и философии, ставших благодаря деятельности таких фигур немецкого интеллектуального пространства, как М. Хайдеггер и К. Шмитт, объектами повышенного внимания историков науки последних лет, собственно историография оставалась вне поля зрения не только самих историков, но и всего немецкого общества³⁰. Историческая наука воспринималась в массовом сознании чаще всего как рационально устроенная, способная «без гнева и пристрастий» анализировать прошлое. Но сегодня стало ясно, что эмоциональность историков проявляется практически на

всех этапах научного творчества; не только выбор предмета исследования, но и сама аналитическая работа сопровождается опорой на чувства. Да, собственно, и язык исторических сочинений, предпочитаемые слова, понятия, речевые обороты – все это, без сомнения, говорит о важности чувственной стороны в профессии историка.

В работах немецких историков первой половины XX века понятия, служившие источником повышенной суггестивности, встречались не менее часто, чем в работах представителей иных «наук о духе». Многие из исторических понятий, являющихся, по словам О.Г. Эксле, составной частью «политико-социального медиевализма»³¹, лишь недавно стали предметом пристального внимания историков, и прежде всего тех, кто работает в русле такой немецкой парадигмы, как «история понятий» (Begriffsgeschichte). Сегодня в центр внимания исследователей попали такие «исконно» средневековые слова, как «честь», «сословие», «иерархия», «верность» и, конечно же, «фюрер», «раса» и «рейх»³².

Мы можем наблюдать поразительную преемственность в жизни немецкого исторического цеха, когда, по словам историографа Бернда Фауленбаха, «континуитет немецкой историографии – не только в ее методологии, но также в ее ключевых историко-политических представлениях – находится в своеобразном контрасте с дисконтинуитетом немецкой политической истории XIX–XX веков»³³. По мнению Фауленбаха, к подобного рода ведущим представлениям историографии Германии принадлежит положение об особом, принципиально отличном от Запада немецком историческом пути (Sonderweg). Это представление, насколько бы различным и оформленным оно ни было, решительно формировало, в привязке к обстоятельствам, образ немецкой истории, решая вопрос о значимости тех или иных факторов и событий, устанавливая актуальные связи и выдвигая приоритеты.

Современная историография «особого пути» содержит сотни работ, затрагивающих самые разные аспекты развития данного метанарратива³⁴. Но большинство авторов, подробно останавливаясь на причинах возникновения и сегодняшнем состоянии этой формы историописания, первостепенное внимание уделяет политическим и идеологическим предпочтениям немецкого исторического сообщества, оставляя без внимания их актуальные ориентации, желания

и нормы, выраженные чаще всего на эмоциональном, чувственном уровне. Поэтому правильнее спрашивать о долговременных диспозициях (предрасположенностях) историков, проявляющихся не только в совокупности знаний, устойчивых мыслительных формах, обыденных представлениях и картинах мира, но также в способах чувствования всего исторического сообщества. Речь нужно вести не столько о строго фиксированных политических идеях и идеологиях, подобных «консерватизму» или «либерализму», хотя и от них нельзя абстрагироваться, сколько о когнитивных, аффективных и этических предрасположенностях, о позициях и жизненных ориентирах отдельных личностей и групп в целом, в том числе и историков³⁵.

Историки Германии не могли представить себя вне тех перемен, что произошли в их стране, стремясь не только зафиксировать, но и принять в них активное участие, сделав свои, во многом иррациональные и аффективные устремления общезначимыми. И роль обыкновенных статистов их никак не устраивала. «Мы, ученые, – заявил немецкий медиевист Герман Геймпель (1901–1988) после прихода Гитлера к власти, – не являемся декораторами, которые вслед за строителями с помощью отделки делают дом немного красивее... Скорее всего, мы возводим его заново. Мы строим в наших сердцах из надежных камней беспощадного правдолюбия прошлую, настоящую, будущую Германию»³⁶. Тогда же известный специалист по этнической истории немцев Эрих Кейзер (1893–1968) так определил вектор развития исторической науки: «Вероятно, в будущем останутся лишь политические историки, но не в устаревшем смысле, что каждый историк исключительно или по преимуществу будет заниматься государственной историей, но в том смысле, что он везде и всегда будет ориентировать свое исследование и свое преподавание на политические потребности своего народа»³⁷. Именно этим можно объяснить многочисленные примеры сотрудничества немецких историков не только с националистическими, но и с фашистскими кругами в рамках разнообразных проектов, инициированных как властью, так и самими учеными, причем практически на всех этапах существования Германии с 1918 по 1945 год. Они воспринимали себя как единую группу с общим мировоззрением, определенным комплексом идей и убеждений, сформировавшихся не столько под влиянием общности полученного образования и высокого социаль-

ного статуса, сколько благодаря осознанию собственной исключительности и высшего призвания стоять на страже немецкой культуры, государства и общества. И катастрофические события, обрушившиеся на современную им Германию, лишь укрепили их уверенность в осознании собственной значимости.

Подобная исключительность всегда была свойственна немецкой интеллектуальной элите. Именно поэтому крушение традиционного порядка старой Европы, поражение в войне и революция оказались для них внезапными и катастрофическими. Связанное с ними напряжение в обществе и культуре было столь велико, что немецкие историки крайне болезненно восприняли свершившийся экзистенциальный перелом. Вообще в истории немецкой исторической науки XX века было немало подобных «точек бифуркации», определявших как перспективы развития науки, так и ценности целых поколений. Общепризнанным является тот факт, что определенное единство внутри поколений не сводится исключительно к разнице в возрасте. Не последнюю роль в генерационной идентификации играет опыт пережитого, реакция на особо значимые явления общественной жизни – «смену времен»³⁸. Первая мировая война и последовавшая за ней революция как раз и стали такими явлениями, определив вектор развития всего научного сообщества.

В современной немецкой историографии принято различать среди историков веймарской эпохи три группы: 1) группу либерально настроенных историков, едва представленную в Германии в 1920–1930-е годы и в большинстве своем эмигрировавшую после прихода к власти Гитлера; 2) небольшую группу так называемых «республиканцев разумом», признававших необходимость Веймарской республики в силу ее интегративного характера и способности вывести страну из послереволюционного хаоса; будучи сторонниками республики, они не являлись сторонниками демократии, оставаясь «монархистами сердцем»; 3) консервативную группу, бесспорно доминировавшую в историческом сообществе Германии в 1920–1930-е годы и настроенную крайне реваншистски и националистически³⁹. Несмотря на то, что первоначально подобного рода классификация была предложена восточногерманским историком Г. Шляером, она нашла поддержку и среди западногерманских ученых и продолжает воспроизводиться с небольшими изменениями вплоть до сегодняш-

него дня⁴⁰. В основе приведенной классификации лежит политический критерий отношения историков к определенной форме государства, в нашем случае – к Веймарской республике и нацистской Германии. Историки при этом выступают лишь как простые «современники» происходящих общественно-политических изменений. Но актуальные историко-научные исследования рассматривают науку как открытую, динамично развивающуюся систему, которая не только реагирует на внешние по отношению к науке раздражители, но и сама способна становиться активным участником событий.

Первая мировая война, без сомнения, обозначила глубокую пропасть в европейском, прежде всего франко-немецком научном ландшафте. Со стороны победителей она привела не только к официальному разрыву культурных отношений с Германией, были прерваны и многочисленные персональные контакты немецких историков с их франко-бельгийскими коллегами. Разнообразные, учрежденные еще до 1914 года коммуникативные структуры и личные связи были разрушены войной и последовавшим за ней Версальским миром. Принимая во внимание опустошительные последствия самой войны, а также поведение интеллектуалов всех воюющих держав, предпосылок для восстановления прежних научных отношений практически не осталось. Не было заключено прежде всего «духовного перемирия»⁴¹.

Произошедшая еще до войны «национализация мышления», затронувшая в том числе и историческую науку, не исчезла после 1918 года, а, напротив, расцвела пышным цветом. На фоне обострившейся во время войны и особенно после нее «исторической битвы за Рейн»⁴², в которой историки принимали участие с удвоенной силой и гигантскими интеллектуальными затратами, едва ли было мыслимо хоть какое-нибудь научное сотрудничество. Война против западных стран, воспринимавшаяся большинством немецких ученых как война «культуры» против «цивилизации» с ее «идеями 1789 года», должна была поразить противника в первую очередь интеллектуально, истребив сами основы его культурного и национального самосознания⁴³.

Исполняемая с помощью пера военная служба многих известных немецких историков надолго усложнила восстановление научных отношений. Ставшая идеологической антитезой «Немецкий дух vs. Западная Европа» оставалась вирулентной еще долгое время по-

сле войны. Большинство немецких историков осознавали себя стоящими перед серьезными политически актуальными задачами, к которым в первую очередь относились: борьба против Версальской системы, потери Эльзаса и Лотарингии, а также оккупации сперва Рейнланда, а затем Рура. Как заметил Ганс Ротфельс (1891–1976), немецкий историк, вынужденный после прихода нацистов к власти эмигрировать из Германии из-за своего еврейского происхождения, в 1920–1930-е годы большая часть научной энергии поглощалась актуальными политическими вопросами, и прежде всего «вопросом о единственной ответственности Германии за начало войны»⁴⁴.

Место необходимой дискуссии о собственном печальном опыте поражения и о роли своей корпорации в контексте ведения духовной войны заняли обвинения в извечном, направленном против Германии экспансионизме Запада вообще и Франции в частности, где Франция зачастую обозначалась как «патологический», «смертельный враг»⁴⁵. Все эти трудности привели к тому, что и после 1918 года «немецкий особый путь» продолжал подчеркиваться. «Германское» против «романского» (или галльского), немецкое государственное устройство против западного, немецкая культура против западной цивилизации. Естественно, что эта форма национализма существовала еще до 1914 года, заявив о себе уже во времена романтиков и «освободительной войны» против Наполеона, а в годы Первой мировой войны благодаря как собственной пропаганде, так и заявлениям союзников приобрела совершенно ненормальные черты. По мнению немецких историков, на протяжении XIX века Германия с сожалением наблюдала, как уподобляются друг другу Англия, Америка и Франция, но во главе этого прозападного, направленного прежде всего против Германии движения всегда, и особенно после Великой французской революции, стояла Франция.

Один из лучших немецких знатоков истории Великой французской революции Адальберт Валь (1871–1957) так описал эту антигерманскую политику Франции: «Мы заглянули сейчас в совершенно грандиозную борьбу, которая сегодня все еще продолжается и которую гораздо проще понять как борьбу добра со злом. На одной стороне здесь сражаются Просвещение и французская революция; на другой стороне – романтизм, историческая школа и фелькишское (почвенно-народническое) понимание XIX века». Где здесь сторона

добра, а где зла, долго гадать не приходится. Сущностью идей 1789 года для А. Валя был «совершенно наивный индивидуализм, рационализм, стремление к материальному счастью, которые о жизни государства ничего не хотят знать»⁴⁶.

«Запад» в качестве предмета исторического исследования представлял всегда в свете дискуссии по вопросу об ответственности за развязывание войны и по вопросу о Версальском мире. Большое значение имела соответствующая культурная переработка исторического противостояния Германии и Франции. При этом, как показывает пример Германа Онкена (1869–1945), в центре актуальных политически мотивированных исследований оказывался вопрос о целях и методах французской внешней политики⁴⁷. Различные высказывания немецкого историка добавляют показательные примеры этого «антифранцузского дискурса», напоминая без устали об «агрессивной структуре французской внешней политики». По его мнению, уже со времен Ришелье проводилось то, «что французы надменно пытаются называть своей “исторической рейнской политикой”». Это была программа, которая имела своей целью не что иное, как попытку «отменить решения 925 года», но к этой же традиции, «на которую француз оглядывается с нескрываемой гордостью», принадлежит также то, «что он (француз) не считается ни с чем так легко, как с правом чужих жизней – либо с силой, когда моментом правит Марс, либо с гибкостью адвокатского искусства, когда другое расположение звезд требует иной тональности»⁴⁸.

Профессор Университета города Киля Отто Беккер (1885–1955), соглашаясь с Онкеном, считал Версальский договор лишь «соответствующим тогдашнему положению вещей инструментом французской политики уничтожения, направленной против Германии (прежде – против Немецкого союза). Сознательно фантастическими, количественно, качественно и хронологически неограниченными требованиями дани Франция хотела не только экономически разорить Германию, но и сокрушить ее невыполнимостью своих требований и сохранить возможность вмешательства всеми средствами военного принуждения»⁴⁹. Названные историки были глубоко убеждены в том, что этот «смертельный враг» только и ждет момента, как выразился Эрих Маркс (1861–1938), «вставить свой рычаг в любую образовавшуюся трещину» Германского рейха⁵⁰. Даже

Ф. Мейнеке (1862–1954), не заподозренный в полемических преувеличениях, в 1923 году сравнил положение Германии, установленное по преимуществу Францией, с дюреровским рыцарем – между смертью и дьяволом. «Демон с Запада, который впился своими когтями в несущего нас коня, нетерпеливо, с горящими глазами, ждет момента, когда мы спешимся и станем его беззащитной добычей»⁵¹.

Дальнейшим следствием Версальского договора, воспринимаемого как абсолютно несправедливый и безжалостный, стало отторжение всех идей, что пришли с Запада. Некоторые ординарии из принципиальных соображений не признавали выросшие из французского Просвещения и Революции идеи, и прежде всего парламентскую демократию. Преподававший в Техническом институте Штутгарта Гельмут Геринг (кузен Германа Геринга, ближайшего сподвижника Гитлера) так оценивал парламентское устройство: по его мнению, демократически устроенные государства не являют человечеству никакого прогресса, так как в них не изменилась ни техника захвата власти, ни ее расширение. «Во имя мировой совести, всеобщего мира, человечества, свободы, справедливости, общей экономики проводится совершенно другая нововременная завоевательная политика... Прямая аннексия сегодня является устаревшей мерой. Невидимыми инстанциями, невидимым контролем, невидимой оккупацией, правильно созданными международными комиссиями можно при искусных гражданско-правовых формулировках установить превосходно функционирующее чужеземное владычество»⁵².

Представления других историков были менее непреклонны, парламентско-демократическую систему они признавали непригодной исключительно для Германии, исходя прежде всего из своеобразно понимаемого исторического опыта. Известный немецкий историк Герхард Риттер (1888–1967) в 1921 году, отвечая на упреки своего друга Германа Витте, писал: «Но при всем том не подумай, пожалуйста, что я стал другом парламентской системы. Я, как и прежде, придерживаюсь того мнения, что форма монархически-конституционного устройства, которую мы развивали до августа 1914 года, в принципе для Германии была совершенна»⁵³. Даже после десятилетия «демократического эксперимента» большинство немецких историков были уверены, совершенно независимо от их принципиального отношения к демократии, что с этой республикой «государства

не создашь», как выразился историк из Бонна Фриц Керн (1884–1950). Он констатировал очевидный недостаток в ясных, основополагающих, общественно признанных принципах, в ответственных гражданах, вместо которых наблюдается господство «алчных» классов и индивидов, которые послушно обслуживаются избирателями⁵⁴. По его мнению, демократия как идея вполне хороша, но ее воплощение в Германии превратилось в собственную пародию, современная демократия подобна «бесполезному телу», разрываемому «темными и неясными инстинктами массы»⁵⁵. Никакая воля победителей не заставит Германию встать на чуждый ей путь государственного устройства, так как немецкое государство принципиально отличается от своих западных соседей, и историки «доказывали» это с опорой на исторический опыт.

4. *«Восхитительный смертельный враг»*

Ведущий немецкий медиевист Теодор Майер (1883–1972) в своей речи, произнесенной по случаю 62-й годовщины образования Германского рейха, сравнивая особенности государственного устройства Франции и Германии, заметил, что между ними существует не временная разница (как хотелось бы немецким либералам), а разница сущностная⁵⁶. В отличие от централизованного, монистического государства у западного соседа, Германия на всех этапах своей истории являлась воплощением дуалистического варианта развития, когда наряду с имперскими властями существовали земельные органы власти. Несмотря на то, что оба соседних государства несут в себе «традиции Карла Великого» и оба принадлежат к «романо-германской семье народов средневекового Запада», их развитие принципиально различно, так как, по словам Майера, «сходство элементов не означает сходства развития»⁵⁷. Для Франции, в силу ее полного включения в мир латинской цивилизации, римское государственное устройство явилось «важнейшим фундаментом для средневекового и современного государства». Происхождение же государственности в Германии совершенно самостоятельно и слабо связано с римскими традициями. «Некоторая однородность» в развитии двух соседних государств стала возможна лишь «в новейшее время,

особенно в XIX веке, благодаря переносу французских учреждений, которые совершенно не подходили немецкой сущности и немецкому государству»⁵⁸.

В то время как многие немецкие историки разрабатывали идеологическое клише о «смертельном враге» и непрерывной вражде народов, в среде веймарских романистов, занимавшихся «культуроведением», складывался миф о «сущностном» антагонизме между немцами и французами, подкрепленный национально-психологическими теориями⁵⁹. Можно назвать таких властителей дум межвоенного периода, как романисты Эдуард Векслер⁶⁰ и Эрнст Роберт Курциус⁶¹, эссеисты Фридрих Зибург⁶² и Герман Кейзерлинг⁶³, в чьих произведениях создавался насколько популярный, настолько и фальшивый образ современной Франции как страны традиционной, «статичной» и постоянно пребывающей в упадке⁶⁴.

Находившееся в центре их публицистики антитезное мышление менее всего было нацелено на восприятие культурных особенностей соседних стран, но скорее должно было служить делу познания и утверждения собственного своеобразия. «Оставим все таким, как есть, отстоим наши различия и постараемся лучше понять себя», – так звучал призыв Э.Р. Курциуса, исходя из которого он хотел сформулировать в 1922 году основы для будущего франко-немецкого понимания⁶⁵. Наглядным примером такого восприятия стала популярная в Германии книга Ф. Зибурга «Бог во Франции?», вышедшая в 1929 году и в скором времени переведенная на французский язык. Автор писал: «Я... неустанно сопоставляя себя с Францией, все более становлюсь немцем». Немецкую и французскую «сущности» (Wesen) Зибург понимал как «два полюса человеческого бытия»⁶⁶.

Этот национально-психологически ориентированный образ Франции, который в 1920-е годы доминировал в немецком общественном сознании, проявлялся как у сторонников, так и у явных противников немецко-французского сближения. Причем, как утверждает Эрнст Шулин, «государственная политика Бриана и Штресмана»⁶⁷ была более примирительной, чем общественное мнение обеих стран. В высказываниях речь шла о различной сущности, различном национальном характере французов и немцев. Это понималось не только как политическая, но и как национально-психологическая проблема»⁶⁸.

Несмотря на то, что среди историков 1920–1930-х годов представления немецких романистов были распространены не так значительно, тем не менее и среди них находили себе поддержку мифы об абсолютном различии национальных характеров соседних народов. Рожденный немецкими интеллектуалами миф о «вечном французе» был воспринят в качестве мировоззренческого конструкта представителями разной политической окраски. Именно поэтому мы должны согласиться с тезисом, предложенным Жераром Роле, согласно которому в межвоенный период можно говорить лишь о единственном образе Франции, сложившемся в немецком общественном сознании. Традиционная схема деления интеллектуалов по политическому признаку здесь не работает, так как стереотипный образ Франции как страны «национализма» и «цивилизаторской миссии» присутствует во всем спектре антифранцузского дискурса⁶⁹. На фоне духовного кризиса первой немецкой республики западный сосед стал пониматься не только как «смертельный враг», которого надо одолеть, но и как необходимый элемент создания собственной коллективной идентичности.

После проигранной войны политическое и духовное противостояние с Францией явилось надежным средством укрепления народной общности (Volksgemeinschaft). Здесь можно вспомнить «антифранцузский фестиваль»⁷⁰, устроенный в 1925 году по случаю «тысячелетнего юбилея» принадлежности Рейнланда «немецкой почве»⁷¹. Безусловно, многие немецкие историки и после 1918 года были привязаны к «смертельному врагу», конечно, не так страстно, как до войны, особенно те, кто, как Александр Картелири, жил во Франции, или, как Роберт Хольцманн, учился в Страсбургском университете. Даже у такого ярко выраженного историка националистической окраски, как Йоган Галлер (1865–1947), выделявшегося своей антифранцузской направленностью, можно встретить неизменный интерес к культуре и особенно языку соседа. Современный исследователь Хериберт Мюллер, имея в виду то очарование французской культурой, что испытал не только Галлер, но и многие другие немецкие историки, резюмировал их восприятие формулой: «восхитительный смертельный враг»⁷².

Но наиболее ярко подобного рода амбивалентное отношение к своему западному соседу продемонстрировал медиевист Г. Гейм-

пель. Начиная с 1933 года, в своих многочисленных работах ученый выступал за пересмотр немецкого Средневековья в духе времени, то есть националистическим (völkisch) образом, когда «под гнетом нынешней судьбы» должно произойти коренное перетолкование истории средневекового рейха⁷³. Изучая историю средневековой Европы, историк изображал Германию жертвой империалистических устремлений Франции, в то время как немецкие правители, по его мнению, в своей политике всегда «заботились об угодном Богу состоянии мира». «Запад, – заявил он сразу после прихода нацистов к власти, – это больше не Франция цивилизаторского империализма, безопасности, восточных союзов и буржуазной страховки, чью страховую премию снова и снова оплачивает ослабленная Германия. Но Запад есть и будет Германией истины»⁷⁴.

Его несколько не смущало сотрудничество с нацистскими властями, напротив, он связывал с ними надежды на восстановление былого могущества Германской империи и возвращение ей прежней роли в мире, которой она была несправедливо лишена. По его мнению, целью Германии является лишь возвращение того, что было у нее отобрано, на большее она не претендует. Он постоянно подчеркивал исключительно мирный характер политики нацистов, в том числе и в отношении соседней Франции. Насколько немецкий историк заблуждался, свидетельствует его доклад, прочитанный 14 июля 1939 года, то есть незадолго до начала мировой войны. Здесь он в очередной раз обрушился на агрессивные планы Франции, которые она пытается осуществить, начиная с 870 года, ведя борьбу за каролингское наследство. Помимо территориальных притязаний у западного соседа присутствует жажда духовной экспансии, но с приходом Гитлера к власти эта борьба «враждующих братьев» закончится, так как Германия «благородно отказалась от немецкого реванша за Версаль»⁷⁵.

Спустя всего несколько месяцев после начала боевых действий против «коварного, но тайно любимого брата», Геймпель писал: «Франция снова вступила в войну против Германии... Война с Францией – это нечто особенное, она имеет особое значение, значение общности и вражды одновременно. Общность здесь гораздо больше, чем многократно признанное англо-немецкое “родство”, больше, чем тощий сентиментальный европеизм. Это скрытая любовь и открытая ненависть, это враждебное братство»⁷⁶.

5. Заключение

Восхищение, с которым историки самых разных научных и политических направлений оценивали успехи внешней политики национал-социалистов, достигло своей кульминации в начале 1940-х годов после победы над Францией. Восторгаясь военно-политическими победами Гитлера (захватом Рейнланда, аншлюсом Австрии и решением так называемых судетского и польского вопросов), профессор из Бреслау Герман Аубин (1885–1969) продемонстрировал свойственный большинству историков национал-консервативный образ мысли: «В невообразимо короткое время... произошло объединение всех замкнуто проживавших немцев, за исключением швейцарцев, эльзасцев и лотарингцев, но так же быстро это развитие прорвалось через только что достигнутые рамки национально-государства. С установлением протектората над Богемией и Моравией, с предоставлением защиты Словакии, подчинением Польши вплоть до Буга Третий рейх основательно изменил свою суть. И когда мы прислушиваемся, то для нас сегодня звучит призыв к старому Первому рейху»⁷⁷. Тезис о преемственности средневекового и современного Германского рейха одобрялся историками повсеместно. «Великогерманский рейх возобновляет вновь свое историческое развитие там, где ему 700 лет назад дали остановиться Штауфены», – пишет медиевист Теодор Майер, имея в виду средневековую династию императоров Священной Римской империи, распространивших свое влияние не только на Германию, но и на Италию, Сицилию и Иерусалим⁷⁸.

Среди восторженных почитателей внешнеполитического таланта «фюрера» были не только такие представители исторического цеха, как Франц Петри (1903–1993) и Франц Штайнбах (1895–1964), чье мировоззрение было абсолютно нацистским и чьи экспансионистские планы были созвучны их научным убеждениям⁷⁹, но и историки, чья дистанцированность от нацистов не была ни для кого секретом. Нестор немецкой исторической науки Ф. Мейнеке, уже лишенный к тому времени всех своих постов, и прежде всего должности редактора в «Историческом журнале», после завоевания Франции не скрывал своих эмоций: «Радость, восторг и гордость за эту армию определенно доминируют надо мной. Возвращение

Страсбурга! Как при этом может не биться сердце. Это было удивительное и, пожалуй, величайшее позитивное достижение Третьего рейха – за четыре года восстановить заново такую миллионную армию и сделать ее способной к таким успехам»⁸⁰. В сентябре-октябре 1939 года – ко времени окончательного прояснения судьбы отошедших к Германии польских земель, по мнению американского исследователя немецкого остфоршунга⁸¹ М. Беркли, немецкие историки проявили себя в полной мере. Это был их звездный час – «час экспертов»⁸², предлагавших исполнительной власти собственные проекты переустройства Польши. В своем письме от 18 сентября 1939 года все тот же Г. Аубин отмечал: «Наука не может просто ждать, пока ее спросят, она сама должна просить слово»⁸³.

Сегодня общепризнанно, что наука является коллективным проектом. Со второй половины XIX века феномен «научного сообщества» стал неотъемлемой частью существования науки вообще и историографии в частности. Внутри любого научного коллектива происходит выработка общих правил деятельности, определяются собственные методы работы и критерии истинности, а также утверждаются формы взаимодействия с обществом и государством. Немецкие историки, являясь, как и Т. Манн, представителями слоя «образованного бюргерства», названного Ф. Рингером «мандаринами»⁸⁴, воплотили в своем поведении основные жизненные установки данного слоя, а также предложили соответствующие формы научного поведения, сохранившие свою актуальность не только до 1933 года, но и гораздо дольше, пережив катастрофу 1945 года⁸⁵.

Насколько грандиозные изменения произошли в концептуальном, методологическом и организационном плане по сравнению, например, с концом XIX века, еще предстоит выяснить, но то, что опыт двух мировых войн и революции определил понятийный аппарат, систему аргументации, познавательные установки и, самое главное, сформировал ментальные и эмоциональные предпочтения на последующие десятилетия, сомнений не вызывает. Современные исследования демонстрируют, что эмоции и чувства локализируются не только в голове, но прежде всего в теле, они выступают в роли медиумов, постоянно связывая мир идей и ценностей с миром действий⁸⁶. Несмотря на то, что эмоции по сути своей субъективны, проявляясь в различных формах, образах и символах, рожденных культурой, они скрепляют инди-

вида с его природным и социальным окружением, формируя тем самым общественное пространство. Кроме того, чувства и эмоции обладают способностью связывать прошлое с будущим. Наши воспоминания также эмоционально окрашены, им свойственно изменяться не только темпорально (давно – недавно), но и качественно (тепло – холодно), что направляет социальный опыт от пережитого к ожидаемому. Причем это характерно и для такой формы памяти, как историческая наука, которая, вне всякого сомнения, повинна в том, что путь Германии на Запад, вспоминая известное высказывание Г.А. Винклерра, был таким долгим.

В отличие от немецких историков первой половины XX века, Т. Манн, автор «Размышлений аполитичного», достаточно быстро осознал истинные угрозы существованию немецкой культуры. «Ты книгу, – вспоминал он, – я написал... страстно отдаваясь самопознанию и пересмотру всех основ моего мировоззрения, всех унаследованных мною традиций – традиций аполитичной немецко-бюргерской духовной культуры. Эта культура впитала в себя музыку, метафизику, психологию, пессимистическую этику, идеалистическую теорию индивидуалистической педагогики, – но с пренебрежением отвергала всякий политический элемент»⁸⁷. Немецким же историкам потребовалось много больше времени, чтобы осознать свою сопричастность к духовному падению немецкой культуры, чему способствовало и критическое самопознание, представляющее собой, по словам все того же Т. Манна, «в большинстве случаев первый шаг к внутреннему перерождению»⁸⁸.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Подробнее см.: *Schulze W. Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945. München, 1989. S. 159–161.*
- 2 См.: *Хенке К.-Д. Критическая дискуссия о национал-социализме в обоих германских государствах в первые послевоенные годы // Россия и Германия на пути к анти-тоталитарному согласию / Под ред. Л. Кюнхардта и А. Чубарьяна. М., 2000. С. 91–104.*
- 3 *Faulenbach B. Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. München, 1980.*
- 4 *Манн Т. Рассуждения аполитичного / пер. с нем. Е. Елисеева // Вестник Европы. 2008. № 24 [http://magazines.russ.ru/vestnik/2008/24/ma15.html].*
- 5 *Сдвижков Д.А. Одиноким интеллигент в поисках середины: Томас Манн, Германия и Россия в XX веке // Россия и Германия. Вып. 2. М., 2001. С. 159; Парамонов Б. Шедевр германского «славянофильства» (О «Размышлениях аполитичного» Томаса Манна) // Звезда. 1990. № 12.*
- 6 *Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т. 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М., СПб., 2001. С. 89.*
- 7 *Элиас Н. Указ. соч. С. 22.*
- 8 *Манн Т. Рассуждения аполитичного.*
- 9 *Дмитриев А.А. Мобилизация интеллекта. Первая мировая война и международное научное сообщество // Интеллигенция в истории: образованный человек в представлениях и социальной действительности. М., 2001. С. 196–235.*
- 10 Цит. по: *Müller S.O. Die Nation als Waffe und Vorstellung. Nationalismus in Deutschland und Großbritannien im Ersten Weltkrieg. Göttingen, 2002. S. 85.*
- 11 *Toller E. Eine Jugend in Deutschland // Toller E. Gesammelte Werke. Bd. 4. München, Wien, 1978. S. 41. – Эрнст Толлер (1893–1939) – известный немецкий писатель и драматург. Родился в Польше в семье лавочника-еврея. Написал автобиографические записки «Юность в Германии» (1933). Организатор Советской Баварской республики, участник боев в Мюнхене. Эмигрировал в США, где покончил жизнь самоубийством.*
- 12 *Frevert U. Angst vor Gefühlen? Die Geschichtsmächtigkeit von Emotionen im 20. Jahrhundert // Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte / Hrsg. von P. Nolte, M. Hettling. München, 2000. S. 105.*
- 13 *Hampe K. Kriegstagebuch. 1914–1919 / Hrsg. von F. Reichert, E. Wolgast. München, 2004. S. 775–776.*
- 14 *Pandel H.-J. Emotionalität – ein neues Thema der Sozialgeschichte? // Emotionen und historisches Lernen. Forschung – Vermittlung – Rezeption / Hrsg. von B. Mütter, \ U. Uffelman. Hannover, 1996. S. 41–61.*
- 15 *Vester H.-G. Emotion, Gesellschaft und Kultur. Grundzüge einer soziologischen Theorie der Emotionen. Opladen, 1991.*
- 16 *Зиммель Г. Проблема социологии // Тексты по истории социологии XIX–XX вв.: Хрестоматия. М., 1994. С. 357–358.*

- 17 *Lepsius O.* Die gegensatzaufhebende Begriffsbildung. Methodenentwicklungen in der Weimarer Republik und ihr Verhältnis zur Ideologisierung der Rechtswissenschaft im Nationalsozialismus. München, 1994. S. 68, 108.
- 18 *Geiger Th.* Gemeinschaft // Handwörterbuch der Soziologie. Gekürzte Studienausgabe. Stuttgart, 1982. S. 20–26; *Riedel M.* Gesellschaft, Gemeinschaft // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / Hrsg. von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck. Bd. 2. S. 803.
- 19 *Тённис Ф.* Общность и общество. Основные понятия чистой социологии / Пер. с нем. Д.В. Складнева. СПб., 2002.
- 20 *Sombart W.* Studien zur Entwicklungsgeschichte des nordamerikanischen Proletariats // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1905. Bd. 21. S. 216.
- 21 *Troeltsch E.* Die Amerikanisierung Deutschlands // *Troeltsch E.* Die Fehlgeburt einer Republik. Spektakel in Berlin 1918–1922. Frankfurt am Main, 1994. S. 237–245.
- 22 *Тённис Ф.* Указ. соч. С. 6.
- 23 Цит. по: *Gebhardt W.* «Warme Gemeinschaft» und «kalte Gesellschaft». Zur Kontinuität einer deutschen Denkfigur // Der Aufstand gegen den Bürger. Antibürgerliches Denken im 20. Jahrhundert / Hrsg. von G. Meuter, H.R. Otten. Würzburg, 1999. S. 171.
- 24 Цит. по: *Шпакова Р.П.* Фердинанд Тённис. Забытый социолог? // Социологические исследования. 1995. № 12. С. 141. Более подробно о научном творчестве Р. Кёнига, вернувшегося после 1945 года из эмиграции и ставшего ведущим западногерманским социологом, см.: *Немецкая социология / Под ред. Р.П. Шпаковой.* СПб., 2003. С. 355–366.
- 25 Цит. по: *Nolte P.* Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstenwurf und Selbstbeschreibung im 20. Jahrhundert. München, 2000. S. 165.
- 26 *Schmalenbach H.* Die soziologische Kategorie des Bundes // Die Dioskuren. Jahrbuch für Geisteswissenschaften. Jg. 1. München, 1922. S. 35–105.
- 27 *Schmitz-Berning C.* Vokabular des Nationalsozialismus. Berlin, New York, 2000. S. 261.
- 28 *Геллнер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм / Пер. с англ. и нем. Л.Е. Переяславцевой, М.С. Панина, М.Б. Пнедовского. М., 2002. С. 173.
- 29 См. прежде всего: *Ruethers B.* Entartetes Recht. Rechtslehren und Kronjuristen im Dritten Reich. 2. Aufl. München, 1989; *Stolleis M.* Gemeinschaft und Volksgemeinschaft. Zur juristischen Terminologie im Nationalsozialismus // *Stolleis M.* Recht im Unrecht. Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus. Frankfurt am Main, 1994. S. 94–125.
- 30 О спорах, разгоревшихся в Германии по проблеме существования историков в Третьем рейхе, подробнее см.: *Хряков А.В.* Историки при национал-социализме: жертвы, попутчики или преступники? (К оценке современных дебатов в немецкой исторической науке) // НЛЮ. 2005. № 74.. С. 47–66.
- 31 *Oexle O.-G.* Die Moderne und ihr Mittelalter. Eine folgenreiche Problemgeschichte // Mittelalter und Moderne. Entdeckung und Rekonstruktion der mittelalterlichen Welt / Hrsg. von P. Segel. Sigmaringen, 1997. S. 307–364; *Oexle O.-G.* Das Mittelalter und das Unbehagen an der Moderne. Mittelalterbeschreibungen in der Weimar Republik und danach // Spannungen und Widersprüche. Gedenkschrift für Frantisek Graus / Hrsg. von S. Burghartz. Sigmaringen, 1992. S. 125–153.

- 32 *Schreiner K.* Führertum, Rasse, Reich. Wissenschaft von der Geschichte nach der nationalistischen Machtgreifung // Wissenschaft im Dritten Reich / Hrsg. von P. Lundgreen. Frankfurt am Main, 1985. S. 163–251; *Kröschell K.* Führer, Gefolgschaft und Treue // Die Deutsche Rechtsgeschichte in der NS-Zeit: ihre Vorgeschichte und ihre Nachwirkungen / Hrsg. von J. Rueckert, D. Willoweit. Tübingen, 1995. S. 55–76.
- 33 *Faulenbach B.* Die These vom deutschen Sonderweg und die historische Legitimation politischer Ordnung in Deutschland // Geschichte als Legitimation? Internationale Schulbuchrevision unter den Ansprüchen von Politik, Geschichtswissenschaft und Geschichtsbedürfnis / Hrsg. von K.-E. Jeismann. Braunschweig, 1984. S. 99.
- 34 Назовем лишь некоторые работы: *Grebing H.* Der «der deutsche Sonderweg» in Europa 1806–1945. Eine Kritik. Stuttgart, 1986; *Welskopp Th.* Identität ex negativo. Der «deutsche Sonderweg» als Metaerzählung in der bundesdeutschen Geschichtswissenschaft der siebziger und achtziger Jahre // Die historische Meistererzählung. Deutungslinien der deutschen Nationalgeschichte nach 1945 / Hrsg. von K.H. Jarausch, M. Sabrow. Göttingen, 2002. S. 109–139.
- 35 Данный подход характерен для работ немецкого историка О.Г. Эклс. См.: *Oexle O.G.* «Zusammenarbeit mit Baal». Über die Mentalitäten deutscher Geisteswissenschaftler 1933 und nach 1945 // Historische Anthropologie. 2000. Heft. 1. S. 1–27.
- 36 Цит. по: *Matthiesen M.* Verlorene Identität. Der Historiker Arnold Berney und seine Freiburger Kollegen 1923–1938. Göttingen, 1998. S. 53.
- 37 *Keyser E.* Die Völkische Geschichtsauffassung // Preußische Jahrbücher. 1933. S. 19.
- 38 *Schulin E.* Weltkriegserfahrung und Historikerreaktion // Geschichtsdiskurs. Bd. 4: Krisenbewußtsein, Katastrophenerfahrungen und Innovationen 1880–1945 / Hrsg. von W. Küttler, J. Rüsen, E. Schulin. Frankfurt am Main, 1997. S. 165–188.
- 39 *Schleier H.* Die bürgerliche deutsche Geschichtsschreibung der Weimarer Republik. Köln, 1975.
- 40 *Nolte E.* Zur Typologie des Verhaltens der Hochschullehrer im Dritten Reich // *Nolte E.* Marxismus – Faschismus – Kalter Krieg. Stuttgart, 1977. S. 136–152; *Wolf U.* Litteris et Patriae. Das Janusgesicht der Historie. Stuttgart, 1996.
- 41 *Stern Fr.* Die Historiker und der Erste Weltkrieg. Eigenes Erleben und öffentliche Deutung // *Stern Fr.* Verspielte Größe. Essays zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. München, 1998. S. 53.
- 42 *Wein Fr.* Deutschlands Strom – Frankreichs Grenze. Geschichte und Propaganda am Rhein 1919–1930. Essen, 1992.
- 43 *Schöttler P.* Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918–1945. Einleitende Bemerkungen // Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918–1945 / Hrsg. von P. Schötler. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997. S. 7–30.
- 44 *Rothfels H.* Die Geschichtswissenschaft in den dreißiger Jahren // Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus / Hrsg. von A. Flitner. Tübingen, 1965. S. 96.
- 45 Швейцарские ученые Даниель Фрай и Курт Шпильман говорят об образе врага, когда восприятие «Другого» сводится к примитивному делению «хороший – плохой» и с реальностью «Другого» не имеет ничего общего. См.: *Wagenlehner G.* Einführung // Feindbild. Geschichte. Dokumentation-Problematik / Hrsg. von G. Wagenlehner. Frankfurt am Main, 1989. S. 6–16.

- 46 *Wahl A.* Der völkische Gedanke und die Höhepunkte der neuern deutschen Geschichte. Langelsalza, 1925. S. 15.
- 47 *Gödde-Baumanns B.* Die Auseinandersetzung der Historiker mit der Niederlage. Frankreich nach 1870–1871 – Deutschland nach 1918–1919 // *Nachkriegsgesellschaften in Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert* / Hrsg. von I. Mieck, P. Guillen. München, 1998. S. 193–206.
- 48 *Oncken H.* Festrede zur Jahrtausendfeier der Rheinlande // *Münchener Universitätsreden* H. 4. München, 1925. S. 15.
- 49 *Becker O.* Weimarer Reichsverfassung und nationale Entwicklung. Berlin, 1931. S. 46.
- 50 *Marcks E.* Geschichte und Gegenwart. Berlin, Leipzig, 1935. S. 154.
- 51 *Meinecke F.* Werke. Politische Schriften und Reden / Hrsg. von G. Kotowski. Bd. II. Darmstadt, 1958. S. 357.
- 52 *Göring H.* Toqueville und die Demokratie. München, Berlin, 1928. S. 219.
- 53 *Ritter G.* Ein politischer Historiker in seinen Briefen / Hrsg. von K. Schwabe. R. Reichardt. Boppard am Rhein, 1984. S. 220.
- 54 *Kern Fr., Beckerath von H.* Autarkie oder internationale Zusammenarbeit? Berlin, 1932. S. 22.
- 55 Ibid. S. 51.
- 56 *Mayer Th.* Geschichtliche Grundlagen der deutschen Verfassung. Festrede gehalten bei der Reichsgründungsfeier am 18. Januar 1933. Giessen, 1933.
- 57 *Mayer Th.* Op. cit. S. 5.
- 58 Ibid. S. 21.
- 59 *Bott G.* Deutsche Frankreichkunde. 1900–1933. Das Selbstverständnis der Romanistik und ihr bildungspolitischer Auftrag. 2 Bde. Rheinfelden, 1982.
- 60 *Wechsler E.* Esprit und Geist. Versuch einer Wesenskunde des Deutschen und des Französer. Bielefeld, Leipzig, 1927.
- 61 *Curtius E.R.* Die französische Kultur. Eine Einführung. Stuttgart, 1930. О спорах по поводу Эрнста Роберта Курциуса, разгоревшихся в Германии в 90-е годы, см.: *Boehlich W.* Ein Haus, in dem wir atmen können. Das Neueste zum Dauerstreit um den Romanisten Ernst Robert Curtius // *Die Zeit*. 6.12.1996; *Wehle W.* Unversöhnt. Zum Streit um Ernst Robert Curtius // *FAZ*. 11.3.1998.
- 62 *Sieburg Fr.* Gott in Frankreich? Ein Versuch. Frankfurt am Main, 1929.
- 63 *Keyserling H.* Das Spektrum Europas. Heidelberg, 1928.
- 64 *Schulin E.* Das Frankreichbild deutscher Historiker in der Zeit der Weimarer Republik // *Francia*. Bd. 4. 1976. S. 659–673.
- 65 Цит. по: *Raulet G.* Gescheiterte Modernisierung. Kritische Überlegungen zur deutschen Frankreichkunde der Zwischenkriegszeit // *Begegnung mit dem «Fremden». Grenzen – Traditionen – Vergleiche* / Hrsg. von E. Iwasaki. Bd. 2. München, 1991. S. 297.
- 66 *Sieburg Fr.* Gott in Frankreich? Ein Versuch. Stuttgart, 1993. S. 30, 22–23. О Зибурге более подробно см.: *Krause T.* Mit Frankreich gegen das deutsche Sonderbewußtsein. Friedrich Sieburgs Wege und Wandlungen in diesem Jahrhundert. Berlin, 1993.
- *67 Густав Штреземан (1878–1929), рейхсканцлер Германии, министр иностранных дел. Аристид Бриан (1862–1932), председатель Совета министров Франции, министр иностр.

- ранных дел. Они принимали активное участие в подготовке и подписании Локарнских соглашений (1925), за что были удостоены Нобелевской премии мира в 1926 году.
- 68 *Schulin E.* Op. cit. S. 660.
- 69 *Raulet G.* Op. cit. S. 298.
- 70 *Schöttler P.* Der Rhein als Konfliktthema zwischen deutschen und französischen Historikern in der Zwischenkriegszeit // 1999. *Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20./21. Jahrhunderts*. Bd. 9. Heft. 2. 1994. S. 54.
- 71 *Pabst K.* Die «Historikerschlacht» um den Rhein // *Historische Debatten und Kontroversen im 19. und 20. Jahrhundert* / hrsg. von J. Elvert, S. Krauß. Stuttgart, 2003. S. 70–81.
- 72 *Müller H.* Der bewunderte Erbfeind. Johannes Haller, Frankreich und das französische Mittelalter // *Historische Zeitschrift*. Bd. 252. 1991. S. 265–317.
- 73 *Fleckenstein J.* Gedenkrede auf Hermann Heimpel // *In memoriam Hermann Heimpel*. Göttingen, 1989. S. 34.
- 74 *Heimpel H.* Deutschlands Mittelalter – Deutschlands Schicksal. Zwei Reden. Freiburg in Breisgau, 1933. S. 26, 34.
- 75 *Heimpel H.* Frankreich und das Reich // *Historische Zeitschrift*. Bd. 161. 1940. S. 229–243.
- 76 *Heimpel H.* Der Kampf um das Erbe Karls des Großen. Deutschland und Frankreich in der Geschichte // *DAZ*. 24.3.1940.
- 77 *Aubin H.* Vom Aufbau des mittelalterlichen Deutschen Reiches // *Historische Zeitschrift*. 1940. Bd. 162. S. 480.
- 78 *Mayer Th.* Deutschland und Europa. Marburg, 1940. S. 21.
- 79 Франц Петри был одним из немногих немецких историков, чьи работы были высоко оценены самим Гитлером, который не скрывал, какие выводы он сделал из прочитанного. В записи от 5 мая 1942 года зафиксировано, что фюрер прочел работу Ф. Петри «Историческое наследие германского народа в Валлонии и Северной Франции», написанную в 1937 году. «Он с большим интересом почерпнул для себя, что эти территории, судя по названиям местностей, представляют собой исконно германские земли, которые у нас отняли и возврата которых мы можем с полным правом потребовать» (*Пикер Г.* Застольные разговоры Гитлера / Пер. с нем. И.В. Розанова. Смоленск, 1993. С. 252). Более подробно о роли Ф. Петри в становлении так называемого «вестфоршунга» см.: *Ditt K.* Die Kulturraumforschung zwischen Wissenschaft und Politik. Das Beispiel Franz Petri (1903–1993) // *Westfälische Forschungen*. 46. 1996. S. 73–176; *Schöttler P.* Die historische «Westforschung» zwischen «Abwehrkampf» und territorialer Offensive // *Geschichtsschreibung als Legitimations. Wissenschaft 1918–1945* / Hrsg. von P. Schötler. Frankfurt am Main, 1997. S. 204–261.
- 80 Friedrich Meinecke an Siegfried A. Kaehler. 4.7.1940 // *Meinecke Fr.* Ausgewählter Briefwechsel / Hrsg. von L. Dehio, P. Classen. Stuttgart, 1962. S. 364.
- 81 Остфоршунг (нем. Ostforschung – изучение Востока), научное направление, сложившееся в Германии в конце XIX века и занимающееся изучением истории, культуры, этномики стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Подробнее см.: *Haar I.* Historiker und Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswissenschaft und der «Volks-tumskampf» im Osten. Göttingen, 2002; *Mühle E.* Für Volk und deutschen Osten. Der Historiker Hermann Aubin und die deutsche Ostforschung. Düsseldorf, 2005.

82 *Burleigh M.* Germany Turns Eastwards. A Study of Ostforschung in the Third Reich. Cambridge, 1988.

83 Schreiben Hermann Aubins an Albert Brackmann vom 18.9.1939 // *Ebbinghaus A., Roth K.-H.* Vorläufer des «Generalplans Ost». Eine Dokumentation über Theodor Schiders Polendenkschrift vom 7. Oktober 1939 // 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. 1992. 7. Jg. S. 79.

84 *Рингер Ф.* Закат немецких мандаринов. Академическое сообщество в Германии, 1890–1933 / Пер. с англ. Е. Канишевой и П. Гольдина. М., 2008.

85 По мнению Фрица Рингера, идеалы мандаринов были сокрушены с приходом к власти Гитлера в 1933 году (см.: *Рингер Ф.* Указ. соч. С. 531). Но нам представляется, что в этом вопросе более прав Ю. Хабермас, отодвинувший закат мандаринской идеологии вплоть до 1970-х годов (см.: *Habermas J.* Die deutschen Mandarine (1971) // Philosophisch-politische Profile. Frankfurt am Main, 1985. S. 459.

86 *Scarry E.* Der Körper im Schmerz. Die Chiffren der Verletzlichkeit und die Erfindung der Kultur. Frankfurt am Main, 1992.

87 *Мани Т.* Культура и политика // *Мани Т.* Собр. соч. Т. 10. С. 288.

88 Там же.

Мария Майофис

От идеи «единой Европы»
к идее «особого пути»:
С.С. Уваров в 1816–1821 годах

Сергей Семенович Уваров, министр народного просвещения Российской империи в 1833–1849 годах, известен широкой публике прежде всего как создатель знаменитой «триады» «православие – самодержавие – народность» и как достаточно консервативный администратор, однако историки знают его еще и в ином качестве – как либерального чиновника и публициста Александровской эпохи. С 1810 по 1821 год Уваров занимал пост попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, а с 1818 года был еще и президентом Академии наук. Биографы Уварова неоднократно задавались вопросом о том, в какой момент произошел перелом в его взглядах, реальное ли изменение мировоззрения или новая политическая конъюнктура привели его к новой оценке перспектив развития империи. Изучение этого вопроса сильно осложнялось тем фактом, что с 1821 по 1832 год Уваров почти полностью сошел с политической сцены: с 1823 по 1826 год он служил в Министерстве финансов, затем, в начале нового царствования, стал сенатором, но не выпускал развернутых политических трактатов или памфлетов и, в отличие от предыдущего и последующего десятилетия его служебной карьеры, не выступал в качестве правительственного идеолога.

Коротко говоря, суть проделанной им эволюции можно описать как движение от позиции предельного космополитизма, от понимания, что Россия должна двигаться в едином русле со всеми европейскими странами и что все страны Европы должны составлять некую органичную политическую систему, к утверждению о необходимости изолированного развития России, которое гаран-

тирует ей неприкосновенность от поразивших Европу революционных бурь.

Из ранней, космополитической концепции вытекали и умеренный конституционализм, и идея постепенного освобождения крепостных благодаря распространению начального образования, и принцип ограничения имперской экспансии для мирного и плодотворного взаимодействия с другими мировыми империями (например, Великобританией). Из поздней, изоляционистской – принцип ограничения свободы печати, идея опоры на «коренные» национальные ценности, противопоставление России другим европейским странам, агрессивная позиция по отношению к европейской прессе, установка на поиск «крамолы» среди ученых, студентов, литераторов и т.д. и т.п.

Одна из исследовательских версий заключалась в том, что этот перелом произошел под влиянием революционных событий во Франции и Польше в 1830–1831 годах¹. Хотя их значение для формирования позиции Уварова-министра действительно было велико, но все же, как показывают архивные материалы, центральные пункты своей изоляционистской концепции он вполне четко формулировал в писавшихся еще за несколько лет до французской революции (в 1828–1829 годах) секретных записках начальнику III Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии А.Х. Бенкендорфу².

Другая версия основывалась на предположении о том, что решающим моментом для Уварова стало начало царствования Николая I и поражение декабристского восстания³. По-видимому, и эта версия не подтверждается источниками: изоляционистскую программу можно найти и в мемориальных трактатах Уварова, посвященных памяти Александра I и его супруги Елизаветы Федоровны⁴.

Наконец, третья версия указывает на момент отставки Уварова с поста попечителя Санкт-Петербургского учебного округа (апрель 1821 года) и его работу в Министерстве финансов под началом сперва Д.А. Гурьева, а затем Е.Ф. Канкрин⁵ (1822–1826).

Думается, что в течение 10–12 лет (условно говоря, с 1820 по 1832 год) Уваров пережил несколько идейных трансформаций, и поэтому все упомянутые выше версии можно считать легитимными, однако архивный материал весьма красноречиво демонстрирует, что самые первые шаги в сторону изоляционистской концепции развития Рос-

сии Уваров начал делать не после отставки, а непосредственно во время событий, ее сопровождавших. Более того, можно с уверенностью утверждать, что изначальный импульс его движению в этом направлении придала не сама по себе неудача на служебном поприще, но сильно его травмировавшие взгляды и поведение оппонентов, добивавшихся его отставки. Иными словами, рассказ об идейном перерождении космополита в сторонника «особого пути» должен начинаться с истории политического противостояния и прежде всего – административных пертурбаций и интриг конца 1810-х – начала 1820-х. Их краткой характеристике и будет посвящена моя статья.

1

Уваров был назначен попечителем Санкт-Петербургского учебного округа в конце 1810 года, сразу же после женитьбы на Екатерине Алексеевне Разумовской, дочери министра народного просвещения Алексея Кирилловича Разумовского. Под начальством Разумовского Уваров сумел лишь в малой степени реализовать свои административные и политические амбиции – Разумовский как человек весьма консервативных взглядов не склонен был поощрять любого рода реформаторские инициативы. Все переменялось после его отставки (1816), которая, как полагает Е. Вишленкова, была прямым следствием императорских указов декабря 1815 года, согласно которым члены иезуитского ордена должны были в кратчайшие сроки покинуть Москву и Петербург⁶: Разумовский симпатизировал иезуитам и покровительствовал им. Место Разумовского занял Александр Николаевич Голицын, обер-прокурор Святейшего Синода (с 1803 года) и ближайший друг императора. Вскоре возглавлявшееся Голицыным министерство было преобразовано: оно стало называться Министерством духовных дел и народного просвещения и объединило в себе сферы, ранее находившиеся под контролем двух различных учреждений – старого министерства просвещения и Святейшего Синода. По словам Е. Вишленковой, создание «соединенного» министерства было следствием более широкого понимания народного просвещения – как пути духовного совершенствования, причем о религиозном воспитании подданных теперь предполагала заботиться светская, а не духовная власть⁷.

Благодаря двенадцатилетнему опыту службы на посту обер-прокурора Синода Голицын достаточно четко представлял себе, что следует предпринять в сфере «духовных дел», но сколько-нибудь определенной программы работы с учреждениями «народного просвещения» поначалу у него явно не было. Более того, нужно помнить, что в течение года, с осени 1816 и до осени 1817 года, Голицын возглавлял еще не реформированное Министерство народного просвещения, и ему остро требовалась экспертная и административная помощь, которую Уваров, по-видимому, с удовольствием оказывал. В его архиве сохранился том, в который переплетены разного рода бумаги, касающиеся деятельности Министерства народного просвещения, а затем и «соединенного» министерства. На титульном листе этого тома рукой сына Уварова, известного археолога и историка А.С. Уварова, написано: «Бумаги кн. Александрра Ник. Голицына, сочиненныя Уваровым»⁸. Из этих бумаг следует, например, что Уваров разрабатывал один из проектов указа о создании «соединенного» министерства⁹, записку о деле нового цензурного устава¹⁰, проект императорского указа о возможности преподавателям совмещать должности в разных учебных заведениях¹¹, общие правила для разделения дел по Министерству народного просвещения (введенные еще до его реформы)¹² и т.д. В общем и целом деятельность Уварова в голицынском министерстве в 1816–1819 годах можно охарактеризовать как сознательный и до определенной степени плодотворный бюрократический и тактический союз с «мистической» партией, в которую, кроме Голицына, входили В.М. Попов, Р.А. Кошелев и – до 1818 года – А.Ф. Лабзин¹³.

23 декабря 1816 года были высочайше утверждены разработанные Уваровым регламент и устав Санкт-Петербургского педагогического института, который с этого момента стал называться Главным педагогическим институтом. Было понятно, что не только Уваров, но и император видят его в перспективе университетом. По словам С.В. Рождественского, под пером Уварова Главный педагогический институт приобрел все существенные черты университета¹⁴. В самом конце 1816 года Уваров получил орден св. Владимира. Тогда же, под Рождество, император именным указом даровал пожизненный пенсион и В.А. Жуковскому, которому Уваров протезировал с нача-

ла 1810-х годов. По-видимому, Голицын питал к Уварову большое доверие и возлагал на него большие надежды.

13 апреля 1817 года был утвержден уваровский проект создания «второго разряда» Главного педагогического института, то есть собственно педагогической и методической институции, в стенах которой должна была впоследствии готовиться масштабная реформа начальной школы. Представляя проект «второго разряда», Уваров очень высоко оценивает роль начального и среднего образования в общероссийской системе просвещения:

...известно и неоспоримо, что нижние народные училища служат существенным основанием народного образования и тем необходимее, что предмет обучения в оных должен необходимо простираться на самые обширнейшие состояния народа, распространять между оным истинное просвещение, развивать первоначальные способности и открывать путь дарованиям к употреблению их на пользу во всяком роде познаний. <...> хорошие народные училища способствуют к цветущему состоянию гимназий... Гимназии тем же самым служат университетам, а от сих могут приобретать и академии мужей с талантами и основательными познаниями¹⁵.

В этот момент Уваров выражает готовность к введению в России ланкастерской методы, лучшим рассадником которой «в пространнейших пределах государства» и должен послужить придуманный им «второй разряд» Педагогического института, но, правда, «с приличным применением оной к народному духу, обычаям и другим обстоятельствам»¹⁶.

Летом 1816 года по приказанию императора и под патронатом статс-секретаря по иностранным делам Каподистрии четыре лучших студента Института (А.Г. Ободовский, Ф.И. Буссе, М.М. Тимаев и К.Ф. Свенске) отправляются за границу для изучения лучших иностранных методик преподавания в начальной школе. Этих студентов лично отбирает Уваров. Он курирует их на протяжении всего их образовательного путешествия, которое продолжается более трех лет. Сперва выпускники Педагогического института едут в Англию, чтобы изучить систему Белля и Ланкастера, затем, по приказанию Уварова, во Францию и Швейцарию, чтобы познакомиться с песталлоцциевой и другими известными в Европе методиками. Уваров

придает настолько большое значение их поездке, что постоянно рассылает в города и страны по маршруту их следования рекомендательные письма. Он пишет о них своему коллеге по литературному обществу «Арзамас» П.И. Полетике, служившему тогда при российском посольстве в Лондоне¹⁷, секретарю посольства Страндману, известному педагогу Гамелю¹⁸ (ответные письма сохранились в его архиве). Наконец, Уваров собственноручно пишет и несколько раз переписывает и редактирует большую статью для официальной газеты российского Министерства иностранных дел «Conservateur Impartial» о целях и задачах этой образовательной миссии¹⁹.

В самом начале 1818 года Уваров был назначен президентом Императорской академии наук и на первых же после своего назначения заседаниях инициировал избрание в ее ряды Н.М. Карамзина и Александра фон Гумбольдта. В марте того же года уже в ранге президента Академии и одновременно попечителя Санкт-Петербургского учебного округа он произносит речь при открытии кафедр истории и восточных языков и словесности при Главном педагогическом институте – вослед произнесенной буквально неделей ранее знаменитой речи Александра I при открытии Варшавского сейма. По остроумному замечанию Н.И. Греча, за такую «ультралиберальную» речь впоследствии Уваров «сам себя посадил бы в крепость»²⁰. В заключительных пассажах речи он провозглашал: «Отныне система европейских государств, заключающая их взаимные сношения, их публичное право, их общее просвещение, их всемирную торговлю, течет беспрепятственно на высшую степень образованности. Права человечества всеми признаны; права гражданства везде определены. Исчезла их неприязненная противоположность; ныне каждый должен хранить святой пламень любви к человечеству, чтоб сделаться достойным гражданином»²¹. Иными словами, он констатировал, что на текущем этапе патриотические и националистические устремления полностью согласованы и примирены с космополитическими и одно начало не может существовать без другого, «сии две обязанности сливаются в одну». А это означало, что все сказанное о движении европейских государств к освобождению – сперва «души через просвещение», а затем и «тела через законодательство» – полностью применимо и к России.

Реализация уваровских проектов реформирования всех ветвей народного образования, начиная с начальных школ и заканчивая высшими учебными заведениями, то есть университетами, уже в 1818–1819 годах натолкнулась на серьезные препятствия в связи с событиями в университетах Германии. Наибольшее впечатление на российское правительство оказали, во-первых, студенческий праздник близ замка Вартбург в Тюрингии в октябре 1817 года, на котором представители всех германских университетов отвергли политику Реставрации и провозгласили идею немецкого единства; во-вторых, подготовленная в связи с этим событием записка чиновника Министерства иностранных дел и Министерства просвещения Александра Стурдзы, посвященная немецким университетам и трактованная их как главный источник революционных возмущений²²; и наконец, в-третьих, убийство в 1819 году немецкого писателя и драматурга Августа Коцебу – он находился на русской службе, был обвинен немецкими студентами как «душитель немецкой свободы» и русский шпион и убит студентом Карлом Зандом 23 марта 1819 года.

Реакция европейских правительств на студенческие волнения и убийство Коцебу не заставила себя ждать: по инициативе австрийского канцлера князя Меттерниха в богемском Карлсбаде немецкие князья приняли так называемые «Карлсбадские конвенции», сильно ограничившие автономию университетов: в университетах запретили политические собрания, студенческие объединения могли осуществлять свою деятельность только по специальному разрешению и т.д. «Карлсбадские конвенции» действовали на территории германских княжеств вплоть до революции 1848 года.

Не менее оперативно стало реагировать на «германскую угрозу» и российское правительство. По настоянию А.Н. Голицына уж 4 августа 1818 года было принято постановление, согласно которому «молодые люди, посвятившие себя наукам, не должны начинать оных в иностранных университетах, но непременно в одном из отечественных и оставаться в оном три года непрерывно»²³. Недоверие к университетской системе (но не к образованию в целом!) в голицынском министерстве росло буквально с каждым месяцем. Но, кроме

того, росло недоверие и лично к Уварову, который, как, видимо, казалось тогда Голицыну, завоевал слишком большую популярность и взял на себя слишком много административных полномочий.

Для того чтобы уравновесить его влияние, Голицын решил пригласить на работу в министерство Михаила Леонтьевича Магницкого (1778–1855), бывшего сподвижника М.М. Сперанского, одновременно с ним отправленного в 1812 году в ссылку. Когда в 1816 году Сперанский был возвращен из ссылки и назначен пензенским губернатором, его бывший подчиненный получил назначение вице-губернатором в Воронеж, а в 1818-м – губернатором в Симбирск. Почти одновременно с уваровской либеральной речью в Главном педагогическом институте Магницкий произнес собственную речь при открытии отделения Библейского общества в Симбирске – ее текст опубликовали несколько российских газет. Сравнив две эти речи, мы легко можем уяснить кардинальное различие в мировоззренческих установках этих двух сотрудников Голицына конца 1810-х годов. Если Уваров говорит о просвещении как залого освобождения, и его телеология – это постепенное мужание и образование человечества в границах разных стран и обществ, то телеология Магницкого – это извечная борьба Добра и Зла, Бога и Дьявола в преддверии Страшного суда: «Все царства и народы земные, очевидно, движутся двумя силами: Политикой мира сего и видами Провидения. Глава Политики мира сего есть Князь его; глава Провидения небесного, Господь наш Иисус Христос»²⁴.

Магницкий был привлечен Голицыным к работе в министерстве, во-первых, как человек, имевший репутацию «кризисного менеджера» и опытного ревизора, во-вторых, как «злой следователь», отъезд которого из места ревизии всегда сменяется более мягким, компромиссным постановлением правительства. В сложной системе «сдержек и противовесов», действовавшей в продолжение всего александровского царствования, предполагалось, что такому «злому следователю» всегда будут противостоять сторонники более мягких мер. Так, всем было памятно, что в 1804 году Магницкий был послан в Псковскую губернию для ревизии, результатом которой стало смещение местного губернатора по обвинению в «лихоимстве». В 1805 году он осуществил ревизию Виленского учебного округа и написал донос на тогдашнего попечителя этого округа и министра иностран-

ных дел Адама Чарторыйского. И хотя для Чарторыйского этот донос, к счастью, не обернулся смещением, Магницкий за свои подвиги получил орден св. Анны 2-й степени. На губернаторстве в Симбирске Магницкий также приобрел репутацию «ловкого, распорядительного и энергичного администратора», ведущего активную борьбу с разного рода административными и экономическими нарушениями и преступлениями, деятельно и энергично защищавшего местных крестьян от насилия и злоупотреблений помещиков²⁵.

В эти же месяцы (конец 1818 – начало 1819 года) Голицын обращает внимание на другого будущего противника Уварова – Дмитрия Павловича Рунича (1778–1860), известного масона и мистика, незадолго до того отправленного в отставку с должности московского почт-директора. Все тот же остроумный Греч назвал в своих воспоминаниях Рунича «фанатиком», который, если бы попал «в руки Рылеева... был бы повешен вместе с ним»²⁶. Оказавшись почти одновременно членами центрального органа «соединенного» министерства – Главного правления училищ, Магницкий и Рунич начали наступление на российские университеты и лично на Уварова.

А Уваров между тем продолжал реализовывать свои собственные проекты. 11 января 1819 года Александр I дал предварительное согласие на учреждение Санкт-Петербургского университета на базе Главного педагогического института. 13 января Уваров представил Голицыну проект «Первоначального образования» университета с пояснительной запиской. Этот документ предполагал эксклюзивный статус столичного университета в ряду других российских высших учебных заведений. 8 февраля проект был высочайше утвержден. Уже 14 февраля состоялось его официальное открытие, на котором Уваров произнес еще одну свою знаменитую речь, в которой, обращаясь к профессорам, сказал: «Вы будете действовать не только на избранное число питомцев, но распространять способы к достижению образования и для всех ищущих оно. Ваши труды, увеличившись вместе с поприщем, не будут скрываться в пределах одного Института; вы должны находить в общем мнении лучшую мзду вашу»²⁷. Это утверждение следует воспринимать не как метафору, но как буквальную концепцию: Санкт-Петербургский университет, по мысли Уварова, должен был стать центром всего российского просвещения. Разумеется, оппоненты попечителя восприняли эту декларацию как вызов.

10 февраля 1819 года, то есть ровно через два дня после высочайшего одобрения проекта Санкт-Петербургского университета, но еще до его официального открытия, А.Н. Голицын направил М.Л. Магницкому приказ о ревизии Казанского университета, в котором сам задавал будущему ревизору вопрос: «...приносит ли с своей стороны университет ту пользу, какую от учреждения его ожидать должно было, и есть ли действительно надобность, чтоб университет в Казани существовал?» Иначе говоря, он сознательно провоцировал Магницкого на то, чтобы дать отрицательное заключение по этому поводу.

Очевидно, что уже в этот момент Голицын планирует как минимум частичный демонтаж российской университетской системы. Он просит Магницкого в случае, если тот придет к выводу о необходимости закрытия Казанского университета, «присовокупить предположение... на каком основании должны быть управляемы учебные заведения, к округу Казанскому причисленные»²⁸.

9 апреля 1819 года Магницкий представил отчет о проведенной ревизии и предложил или приостановить, или публично разрушить Казанский университет, причем настаивал на предпочтительности именно второго варианта. Однако, пояснял он, если символическое разрушение университета производиться не будет, то следует «в главном из его зданий поместить гимназию, которая, сохраняя, как то было до университета, название императорской, получила бы новое, обширнейшее и лучшее образование», а «к управлению гимназии присоединить можно центральное татарское училище, которое управляло бы прочими и образовало для них учителей», а также большой «медико-хирургический институт»²⁹. Иными словами, он требовал не просто уничтожить старую институцию, а создать на ее месте несколько новых, даже с более широким охватом учащихся, но новообразованные заведения находились бы на более низких и «демократических» ступенях образования.

На отчет Магницкого немедленно ответил Уваров. Его «Мнение» прямо апеллировало к учреждению Санкт-Петербургского университета как к наглядному опровержению идеи опасности университетской системы. По мысли Уварова, это событие «довольно ясно знаменует... что в глазах венценосного Друга Наук и человечества, приобывшего не увлекаться криком раздраженных страстей,

“общая система учебного просвещения, сбросив кроткое покрывало философии, не стоит посреди Европы с поднятым кинжалом”³⁰. По совершенно справедливому замечанию С. Рождественского, эта записка содержала в себе прямой (и, заметим в скобках, уже не первый!) вызов партии Магницкого – и он не мог остаться без ответа³¹.

В результате было принято компромиссное решение: Казанский университет не стали упразднить – и в этом можно видеть несомненную заслугу Уварова, сумевшего убедить не столько Голицына, сколько императора, – но в то же время на должность попечителя Казанского учебного округа летом 1819 года был назначен не кто иной, как Магницкий, и реформирование университета производилось именно по его плану.

Какова была цель Голицына при назначении Магницкого сперва ревизором, а затем и главой учебного округа? Голицын, по-видимому, хотел в Казани руками Магницкого, а в Петербурге – Рунича продемонстрировать, что в преддверии «последних дней» (которых все-речь ожидала вскоре «мистическая партия») университеты должны быть уничтожены как очистительная жертва перед Богом за несколько столетий «безбожного существования наук». Два года спустя, в разгар дела Санкт-Петербургского университета, он признается в письме попечителю Харьковского университета З. Карнееву:

Господь начал обличать науки, потому что оне вместо употребления себя на славу Божию и пользу народов ищут вознести разум выше Бога и тем губят души. Обличение таковое есть суд, которое должно распространиться и на другие предметы, чтобы все очистить и приготовить к царствию Господа. Станем просить у Спасителя нашего сил исполнить Его святую волю и сражаться со всеми Его врагами внутри нас и вне находящимися, да все покорится Ему и послужит подножием Его: тогда обновится все, и старцев жизнь продолжится; Господу все возможно³².

Именно с этой позиции Голицын и помогавшие ему Магницкий и Рунич попытались в конце 1810-х – начале 1820-х годов осуществить радикальную трансформацию системы российского образования, именно с этой позицией Уваров был вынужден в это время постоянно энергично полемизировать – и в этой полемике под пером Уварова начинает постепенно формироваться идеология «особого пути».

Летом 1820 года Уваров на несколько месяцев покинул столицу. Его отсутствием воспользовались Магницкий и Рунич, которые совершили против Уварова очередную «враждебную вылазку». Очевидно, что сделать это было невозможно без санкции А.Н. Голицына. В начале 1820 года при Главном правлении училищ был образован Комитет для устройства и наблюдения за училищами взаимного обучения, в состав которого вошли Магницкий, Рунич, Уваров и И.И. Мартынов. На одном из заседаний, сразу же после отъезда Уварова, Магницкий и Рунич избрали своей мишенью «второй разряд» Педагогического института, только-только введенный в действие по проекту Уварова (напомню, что эта институция должна была готовить кадры для начальной и средней школы). Магницкий опросил учеников, просмотрел их тетради и пришел к выводу, что, вопреки намерениям министерства, «второй разряд» не занимается пропагандой и насаждением ланкастеровой системы взаимного обучения, с помощью которой «мистики» планировали ускоренными темпами внедрять начальное образование и проповедь Евангелия среди низших слоев населения. В противовес «второму разряду», не выполнявшему, по мнению Магницкого, своих задач, он предложил проект другого педагогического учебного заведения – учительского института, который должен был быть примерно в 10–12 раз (и по количеству студентов, и по масштабам государственных ассигнований) больше существующего: речь шла о создании института на 400 воспитанников для детей разного звания (но преимущественно для детей учителей), в который принимались бы молодые люди 15–17 лет. «Главная цель сего института есть снабжение *всех существующих и в предь учредитья имеющих Приходских училищах в России Учителями Благочестивыми, достаточно сведущими и совершенно знающими способ взаимного обучения*» (курс. авт. – М.М.)³³.

По возвращении в Петербург осенью 1820 года Уваров составил пространный ответ на отчет и проект Магницкого. Пытаясь отстоять свою концепцию «второго разряда» Педагогического института, да и само это заведение, которое, по мысли Магницкого, не оправдывало своего существования, Уваров предъявил серьезные упреки плану организации масштабного учительского института, предло-

женному Магницким. Для убедительного оппонирования этой идее как нельзя лучше подходила консервативная, «охранительная» риторика. Характерно, что фигурирующую здесь, в записке 1820 года, метафору корабля во время бури Уваров будет использовать во многих своих программных текстах 1830-х годов:

Вся Наука, вся премудрость Государственного управления, а равно и долг благомыслящих граждан состоит теперь в том, чтобы стремиться к одному – к *сохранению и усовершенствованию существующего порядка*. Будем надеяться, что буря, грозящая всей Европе, пройдет мимо, и пусть тогда мудрый плаватель даст своему сильному кораблю направление новое, более смелое, но что подумать о тех, кои в состоянии советовать ему посреди бури вверяться челноку неиспытанному, на таком море, где все не возвратно и где каждое неверное движение влечет за собою опасность для многих поколений?³⁴

Понятно, что здесь Уваров вслед за Стурдзой, Магницким и Руничем реагирует на новую германскую университетскую угрозу, но реагирует иначе, чем они: он считает необходимым чрезвычайно вдумчиво, постепенно вводить массовое начальное обучение, приготовив сперва достойные кадры для преподавания в начальных и средних школах. При этом, в отличие от своих оппонентов, Уваров не видит никакой опасности в существовании университетов и, наоборот, считает их залогом дальнейшего постепенного, эволюционного просвещения России.

Таким образом, можно констатировать, что к концу 1820 года позиция Уварова действительно изменилась. Если в 1816–1817 годах он всерьез был озабочен тем, что здание российского высшего образования выстроено «на песке», что снизу университетскую систему ничто не поддерживает, и поэтому нужно как можно активнее расширять сеть начальных школ и училищ, то теперь его беспокоит другое – не будет ли поспешное введение всеобщего начального образования началом «разложения» не только обучаемых, но прежде всего обучающихся, поскольку выучены эти обучающие будут поспешно и необдуманно, да еще и в столь больших количествах.

Уваров возвращается к оценке метода Ланкастера и, отдавая ей справедливость, заключает, что она является следствием специфической британской ситуации. Ведь в Англии давно решен сам вопрос

о необходимости начального образования и право на него «поступило в число законно сопряженных с свободным политическим существованием всех и каждого», там «просвещение есть плод свободы», и метода Ланкастера является лишь следствием принятия этой основополагающей идеи. В России же эта идея находится в стадии обсуждения. По меткому выражению Уварова, в Англии «народное воспитание идет равным шагом с промышленностью». И далее он высказывает почти фуколдианскую идею – о прямой связи между способом и уровнем промышленного производства и развитием образовательных моделей, точнее даже – об изоморфности промышленной и образовательной политики государств:

В теперешнем положении вещей состязание в промышленности между Государствами не состоит более в совершенстве произведений (ибо произведения могут быть везде доведены до равной степени совершенства), но единственно в дешевизне сих продуктов. В сем состязании венец победы принадлежит тому, кто производит со всевозможною экономией времени и денег, то есть просто сказать: *дешевле и скорее* (курс. авт. – М.М.)³⁵.

Таким образом, понятно, что, если исходить из существования такого рода эпистемы, метода Ланкастера может быть применена в России только после того, как будет решен вопрос о начальном образовании и российская промышленность поднимется до такого же уровня, как английская. Но это вовсе не означает, что просвещение в России нужно неминуемо притормозить. По мнению Уварова, система российского просвещения должна основываться на совершенно иных аксиологических предпосылках, чем английская:

Чрезмерное желание облегчить все *начала учения* и с ними так сказать первой опыт жизни есть, в моих глазах, знак какого-то умственного ослабления, коим особенно в педагогии отличается XVIII столетие. ...Я прошу моих рецензентов извинить мое сомнение, но, признаться, не надеюсь, чтоб *роза без шипов* была и в сем отношении удел человечества³⁶.

Уваров напоминает в этой записке о том, как, создавая концепцию «соединенного» министерства, он предлагал в 1817 году обеспечить большой кредит доверия к образованию у народа, вверив это образование приходским священникам. Критически оценивая проект

Магницкого, он заключает, что было бы намного лучше потратить огромные суммы, которые потребуются для реализации этой инициативы, на создание учебного заведения для низшего духовенства. В этом случае возможно будет использовать и ланкастерский метод, но он уже будет наполнен неким освященным традицией и преданием, этически выверенным содержанием:

Пусть тогда метода Ланкастера будет в руках его главным и удобным орудием сего медлительного, но благодетельного действия просвещения; но не должно мечтать, чтоб одна сия метода содержала в себе чудесную силу, и еще менее чтоб поспешным образованием многочисленного и нового класса людей, чуждого постановлением и духу нашего народа, можно когда-либо победить его справедливое недоверие к мерам столь мало обдуманым и столь противным истинной цели просвещения³⁷.

Эти утверждения явным образом противоречат идеям общеевропейской интеграции и поступательного движения России вместе и наравне с другими европейскими странами к свободе – «последнему дару Бога». Однако парадоксальным образом Уваров начинает говорить о «духе народа», предполагать, что этому духу будет органично, а что – чуждо, а затем и формулировать идеологию «особого пути» России, ее отличия от других европейских государств в полемике *не с более прогрессистской, но с более охранительной* (хотя и более демократической), чем у него самого, позицией. Он стремится доказать, что поскольку Россия не инфицирована европейской «заразой», то излишними будут и суровые меры в отношении университетов, и поспешное решение проблемы народных школ.

Неудивительно, что по прочтении этой записки Голицын, Магницкий и Рунич в январе 1821 года вывели Уварова из состава Комитета для наблюдения и устройства за училищами взаимного обучения³⁸.

С самых первых месяцев 1821 года начинает набирать силу кампания против новообразованного Санкт-Петербургского университета. В январе приходят известия о беспорядках среди воспитанников Благородного пансиона при университете. Уваров заявляет, что не видит в происшедшем ничего, кроме свидетельства низкого профессионализма надзирателей. Однако директор университета Кавелин, а за ним и Голицын объявляют, что беспорядки – явный симптом ошибочности всей созданной Уваровым образовательной и воспитательной системы пансиона и университета. Вопреки протестам Уварова принимается решение о замене «ненадежных» преподавателей пансиона другими, по выбору директора (Кавелина), и об определении на должности надзирателей еще не окончивших полного курса студентов, известных директору «по нравственности и добрым качествам».

Тогда же, параллельно с расследованием беспорядков в пансионе, происходило разбирательство по поводу книги профессора Куницына «Право естественное», отрицательный и охранительский по своему характеру отзыв на которую дал Рунич, а Голицын поддержал его мнение. Куницын был уволен из университета в марте – вновь вопреки протесту Уварова. В этот момент Уваров понял, что совершенно потерял кредит доверия у Голицына и ни в чем уже не сможет его убедить. Ему оставалось только просить об отставке. Соответствующее письмо Голицыну он направил 2 апреля 1821 года, принята она была в мае, и это, разумеется, развязало руки противникам университетской системы: в сентябре–ноябре того же года Рунич довершает разгром Санкт-Петербургского университета, четверо лучших профессоров которого были уволены, а еще несколько в знак протеста ушли в отставку³⁹.

На этом можно было бы поставить точку, если бы не одно примечательное обстоятельство. Как свидетельствуют материалы из уваровского архива, ровно за день до отправления Голицыну письма с просьбой об отставке Уваров написал (или, по крайней мере, завершил) обширную аналитическую записку на французском языке, которая носит название «О средствах улучшить состояние промышленности и мануфактур в России» («Des moyens d'améliorer le sort de

commerce et des manufactures en Russie»). Как гласит подзаголовок, он представил ее «министру финансов графу Гурьеву 1/13 апреля 1821 года»⁴⁰. Не возникает никаких сомнений в том, что, оставив надежды на Голицына, Уваров стал искать себе новое место работы и нового начальника, а для этого придумал масштабный проект по созданию структуры прикладного (технического) образования при министерстве финансов.

Записка начинается с заявления о том, что для достижения отечественной промышленностью высокой ступени развития нет иного средства, кроме как поставить ее на уровень общеевропейского просвещения и познаний. Следующий принципиальный тезис, который выдвигает Уваров, состоит в том, что ни одна наука не развивалась в современном мире столь стремительно и не достигла такого расцвета, как химия. Он называет химию «душой внутреннего управления государствами». (Заметим в скобках, что химия не входила в круг наук, специальному изучению которых уделяли внимание в Санкт-Петербургском университете. Не желая делить сферы влияния с Голицыным и его соратниками, Уваров обходит университет «со стороны».) Эти тезисы приводят Уварова к заключению о том, что «абсолютно необходимо создать центр управленческих наук и познаний (un centre de connoissances et de lumières administratives) внутри министерства финансов» и «под его непосредственным влиянием».

В компетенцию этого центра должно было входить: рассмотрение всех проектов, представленных министерству; переписка – внутренняя и заграничная – в интересах совершенствования промышленности; надзор за всеми производствами в том, что касается ученой части; редактирование всех текстов – книг, учебников, инструкций, – относящихся к национальной промышленности; выпуск периодического издания, предназначенного для пропаганды полезных для развития промышленности знаний. А вся эта публикаторская деятельность, согласно Уварову, будет невозможна без создания школы искусств и ремесел («école des arts et métiers»), в которой должны обучаться будущие «начальники производства» («chefs d'atelier»). Образцом для такой школы, писал Уваров, могла бы послужить французская одноименная школа (находившаяся в местечке Châlous sur Marne), основанная господином Шапталем и получив-

шая на Парижской выставке 1819 года золотую медаль. Все правила этого учреждения, заверял Уваров, можно без специальных корректив перенести на русскую почву. По его мнению, эта система требует еще одного нововведения – организации публичной промышленной выставки по образцу аналогичной французской. В числе других первоочередных мер Уваров называет также приглашение из Франции одного или двух химиков – специалистов по технологии и современному производству.

Итак, нет никаких препятствий для перенесения французских учреждений на русскую почву и никаких оснований считать их не соответствующими национальному духу. Напротив, говоря о выставках, Уваров заявляет: «Или я сильно ошибаюсь, или эта система очень благоприятна нашему национальному характеру. Она создана для того, чтобы процветать на нашей почве».

Получается, что в записке, адресованной Гурьеву, Уваров оставляет все свои «охранительские» мотивации, уместные в стенах «соединенного» министерства, где невозможно было не реагировать на «германский вызов», и возвращается к оставленной во время полемики с Магницким и Руничем прогрессистской космополитической идеологии. В записке о промышленности он вновь готов согласовывать «правила гражданства» с «правилами человечества»: «Очевидно, что склонность к индустрии проявляется сейчас повсюду и она слишком соответствует национальному духу, чтобы не быть постоянной, однако невежество – это главное препятствие на ее пути, с которым мы должны бороться».

Насколько можно судить по сохранившимся документам, из этой затеи ничего не вышло, однако она дала возможность Уварову вернуться через год после отставки на государственную службу – он стал начальником того самого департамента мануфактур и торговли, который так его интересовал. Но это служебное перемещение не дало ему забыть травматической истории борьбы с Магницким и Руничем за российские университеты и за влияние на А.Н. Голицына. Следовательно, не смог он забыть и тех «охранительных» принципов, которые сформулировал в полемике с ними. Разгром любимого детища Уварова – Санкт-Петербургского университета – и дальнейшая политика голицынского министерства, по-видимому, дали Уварову на долгие годы «прививку» от демократических проектов на-

чального образования и вселили в него страх перед иррационально действующими правительственными чиновниками. Метафоре корабля, подвергающегося опасности во время бури, равно как и требованию сопряжения правительственной политики с «постановлением и духом народа» (а не с идеей всеобщего прогресса человечества!) была суждена долгая жизнь.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Эта точка зрения обоснована в монографии Цинтии Виттекер «Граф Сергей Семенович Уваров и его время». (СПб., 1999) и в заключительной главе книги А.Л. Зорина «Кормя двуглавого орла: литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века» (М.: НЛЮ, 2001. С. 337–374). Зорин, однако, высказывает по этому поводу еще одну, важную для темы этой статьи, идею: «Сама метафорика “умственных плотин” свидетельствовала о том, что Уваров намеревался перегораживать течение мысли, которое сам же ощущал как естественное <...> По-видимому, считая европейский путь развития гибельным для страны, Уваров попросту не видел иного» (там же. С. 373–374).

2 См.: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 4–98.

3 На этом тезисе основывается предложенная М.И. Гиллельсоном концепция «арзамасского братства», иными словами – истории взаимоотношений в продолжение николаевского царствования бывших членов литературного общества «Арзамас» (1815–1818), часть которых входила в 1820–1830-е годы в ближайшее окружение А.С. Пушкина. См. его предисловие к книге «От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей» (Л.: Наука, 1977. С. 3–15).

4 *Ouvaroff S. A la mémoire de l'empereure Alexandre.* SPb., 1826.

5 Эта версия принадлежит, собственно, не исследователю, а современнику – Ф.Ф. Вигелю, который в своем письме к А.С. Пушкину в 1831 году попытался объяснить, какую эволюцию проделал Уваров со времен их общего участия в литературном обществе «Арзамас»: по мнению Вигеля, «старые друзья» Уварова (очевидно, речь идет о его арзамасских собратьях – П.А. Вяземском, В.А. Жуковском, А.И. Тургеневе и др.) «были слишком взыскательны» и «даже несправедливы к нему», поскольку «предполагали в нем... твердость стоика, душу римлянина». Проявить эти качества Уваров, несомненно, должен был после своей отставки с поста попечителя и, не проявив, претерпел ту самую трансформацию, которая оттолкнула от него арзамасских друзей. Письмо цит. по: *Шляпкин И.А.* Из неизданных бумаг Пушкина. СПб., 1903. С. 148–149. Оригинал по-французски.

6 *Вишленкова Е.* Заботясь о душах поданных: религиозная политика в России первой четверти XIX века. Саратов: Издательство Саратовского университета, 2002. С. 150.

7 См.: Там же. С. 139.

- 8 Отдел письменных источников Государственного исторического музея (далее – ОПИ ГИМ). Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 1.
- 9 ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 39. Л. 44–48 об.
- 10 Там же. Ед. хр. 38. Л. 30–35.
- 11 Там же. Ед. хр. 35. Л. 3–8.
- 12 Там же. Л. 10–13 об.
- 13 Впрочем, характерно, что еще до назначения Голицына на пост министра Уваров отказался от должности директора Комитета библейского общества, которую он занимал с 1813 года.
- 14 *Рождественский С.В.* Первоначальное образование Санкт-Петербургского университета 8-го февраля 1819 года и его ближайшая судьба. Пг., 1919.
- 15 Цит. по: *Рождественский С.В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения, 1802–1902. СПб., 1902. С. 131.
- 16 Там же. С. 145–146.
- 17 Ответное письмо Полетики см. в: ОПИ ГИМ. Ф. 247 (материалы братьев Тургеневых). Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 49–49 об.
- 18 Ответные письма Гамеля к Уварову см. в: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 83. Л. 215–222.
- 19 Беловую рукопись заметки рукой Уварова см. в: Архив внешней политики Российской империи. Ф. 133 (Канцелярия). Оп. 468. Ед. хр. 12736. Л. 197.
- 20 *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М.–Л., 1930. С. 53. Цинтия Виттекер называет эту речь «самым прогрессивным документом, написанным когда-либо высокопоставленным чиновником самодержавного правительства» (*Виттекер Ц.* Указ. соч. С. 57).
- 21 *Уваров С.С.* Речь президента Императорской Академии наук, попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, в торжественном собрании Главного педагогического института, 22 марта 1818 года. СПб., 1818.
- 22 Русский перевод этой записки и посвященную ей статью см. в: *Лямина Е.* Новая Европа: мнения «деятельного очевидца»: А.С. Стурдза в политическом процессе 1810-х // Россия / Russia: культурные практики в идеологической перспективе. М.; Венеция, 1999.
- 23 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1. СПб., 1864. С. 1190. См. об этом подробнее: *Андреев А.Ю.* Русские студенты в немецких университетах XVIII – второй половины XIX века. М.: Знак, 2005. С. 283–284 и сл.
- 24 Русский инвалид. 1818. 30 марта. С. 302.
- 25 *Минаков А.Ю.* М.Л. Магницкий: к вопросу о биографии и мировоззрении предтечи русских православных консерваторов XIX века // Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее. Сборник научных трудов. Воронеж, 2001. Вып. 1. С. 58–92; *он же.* Воронежский вице-губернатор М.Л. Магницкий (1816–1817). Либеральный управитель в традиционном социуме // Социальная история российской провинции в контексте модернизации аграрного общества XVIII–XX веков. Материалы международной конференции. Тамбов, 2002. С. 309–315.
- 26 *Греч Н.И.* Указ. соч. С. 72. О Руниче см.: [*Плисов М.Г.*] Историческая записка о деле Санкт-Петербургского университета // Чтения в обществе истории и древностей российских. 1862. Кн. 3. С. 179–205; *Пытин А.Н.* Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX века. Пг., 1916.
- 27 Северная почта. 1819. 16 февраля.
- 28 Цит. по: *Феоктистов Е.М.* Магницкий. СПб., 1865. С. 35–36.
- 29 Цит. по: *Феоктистов Е.М.* Указ. соч. С. 42.
- 30 Цит. по: *Феоктистов Е.М.* Указ. соч. С. 59. Черновой автограф этого текста см. в: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 150–155 под заголовком «Resumé».
- 31 *Рождественский С.В.* Первоначальное образование... С. XXXVIII.
- 32 РА. 1893. № 5. С. 132.
- 33 Цит. по выпискам из журналов заседаний Главного правления, сохранившихся в архиве Уварова: ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 62–65.
- 34 ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 189–190.
- 35 Там же. Л. 190.
- 36 Там же. Л. 225–225 об.
- 37 Там же. Л. 235–235 об.
- 38 *Рождественский С.В.* Исторический обзор... С. 146.
- 39 См. об этом: [*Плисов М.Г.*] Указ. соч.; *Рождественский С.В.* Первоначальное образование Санкт-Петербургского университета; *Петров Ф.А.* Т. 2: Становление системы университетского образования в первые десятилетия XIX в. М., 2002.
- 40 ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 38. Л. 37–44.

Александр Дмитриев

Большевики, интеллигенты и российская самобытность: к истории сменовеховских диагнозов

До сих пор трудно разрешимой проблемой – или иллюстрацией гегелевской диалектики, «хитрости разума» – остается, несмотря на обилие источников и объяснительных гипотез, внутренняя эволюция коммунистической идеологии в России на протяжении XX века: от интернационалистских постулатов крайне левой социал-демократии до славянофильских принципов «особого пути» и православной цивилизации, от Троцкого до Зюганова (если изображать процесс «в лицах»). Как стал возможен синтез социализма и великодержавия, который оказался основой развития послевоенного СССР, в чем его истоки и немалый запас прочности?

Надо отдать должное идеологам начала 1920-х годов из противобольшевистского лагеря, которые одними из первых зафиксировали этот процесс – в самый момент его зарождения. Речь идет о группе «сменовеховцев», названных так по знаменитому сборнику «Смена вех» 1921 года, написанному в ответ на «Вехи», которые суммировали и революционный опыт 1905 года, и уроки последующего разочарования интеллигенции в перспективах социального переворота. Самым ярким из сменовеховцев справедливо считают Николая Васильевича Устрялова (1890–1937), который оказался не забыт и в постсоветской России. Его книги и очерки, написанные

Индивидуальный исследовательский проект 10-01-0162 «Национальная наука: локальное и универсальное в идейной эволюции отечественных гуманитариев и обществоведов в XX веке», выполнен при поддержке Программы «Научный фонд ГУ – ВШЭ».

на злобу дня и в привязке к актуальным почти век назад событиям, переиздают и ныне, о его наследии защищают диссертации, в Калуге – на родине – проводят регулярные Устряловские чтения¹. Его имя было вполне известно и в Советской России, к идеям Устрялова о термидоре и его опасности не раз обращались во внутривнутрипартийных спорах большевистские лидеры в 1920-е годы (обширные статьи Зиновьева «Философия эпохи» и Бухарина «Цезаризм под маской революции», напечатанные в «Правде» осенью 1925 года). Посмертная судьба эмигрантских мыслителей сложилась по-разному: в 2000-е годы пальму первенства на Родине у пророка экзистенциальной свободы Бердяева, похоже, перехватил Иван Ильин, вдохновитель самых правых сил среди русского зарубежья, сторонник искоренения зла силой и «Чека во имя Божье» (по язвительным оценкам современников). Почти забытым оказалось творчество Струве 20–30-х годов, которого помнят скорее по дореволюционному творчеству, «Вехам» и журналу «Русская мысль».

Между тем в 1910-е годы Струве можно считать одним из вдохновителей молодого Устрялова, который специализировался на философии права и учился на юридическом факультете Московского университета у философов-идеалистов Евгения Трубецкого и Павла Новгородцева. В годы Гражданской войны Устрялов работал в правительстве Колчака, последовательно отстаивая принцип полновластия «верховного правителя». Уже в начале 1920 года, познав горький опыт поражения излюбленных идей и ценностей, он через Читку перебрался в Харбин, где жил последующие полтора десятилетия. Еще во времена Врангеля, осознав безнадежность вооруженной борьбы с большевиками, Устрялов выпустил сборник «В борьбе за Россию», посвятив его генералу Брусилову. Наряду с другими публицистами и правоведами – Юрием Ключниковым (1886–1938), Юрием Потехиным (1888–1937), Сергеем Чахотиным (1883–1974), Александром Бобрищевым-Пушкиным (1875–1937), Сергеем Лукьяновым (1889–1936) и Владимиром Львовым (1872–1934) он стал создателем упомянутого уже сборника «Смена вех». Его авторов объединял поиск исторического компромисса двух враждебных лагерей на основе признания наличной власти не кровавой диктатурой фанатиков-временщиков, а *исторически закономерным и органическим* модусом русской национальной жизни:

С того момента, как определилось, что Советская власть сохранила Россию, – Советская власть оправдана, как бы основательны ни были отдельные против нее обвинения. Я совершенно не понимаю, как, говоря о «рабстве» под нею русского народа, можно уверять, что он желает именно того «демократического» строя, который не смог продержаться на Руси и года, никакую народную поддержку не пользовался. Очевидно, здесь чаяния интеллигенции разошлись с народными чаяниями. И обратно, самый факт деятельности Советской власти доказывает ее народный характер, историческую уместность ее диктатуры и суровости. Но именно для того, чтобы смягчить эту суровость, для действительной реальной борьбы с отрицательными сторонами Советской власти необходим честный русский всеобщий мир².

Это эмигрантское движение вначале получило немалую поддержку большевиков (сборник большими тиражами легально переиздавался в РСФСР). Сменовеховцы издавали одноименный журнал (октябрь 1921 – март 1922 года) и газету «Накануне» (март 1922 – июнь 1924 года), но уже к моменту смерти Ленина (отметившего работы Устрялова как умного врага) это движение практически сошло с политической – но не интеллектуальной! – сцены³.

Часто взгляды Устрялова, опираясь на его самохарактеристику, именуют национал-большевистскими (именно так называется посвященная сменовеховству интересная и детальная книга Михаила Агурского, вышедшая в Париже еще в 1980 году⁴). Агурский прослеживает общую генеалогию «русификации» коммунистических идей и усматривает начало увязывания большевизма с самобытно-русскими мотивами в творчестве Есенина, Клюева и Блока (и в кругу левоэсеровских «Скифов»⁵), начиная с 1917 года. В отличие от этих художественных проповедников левых идей, Устрялов двигался в сторону признания «исторической правды» большевизма скорее из правoliberalного лагеря, выдвигая вперед соображения государственной пользы и менее всего чувствуя, подобно Александру Блоку или Андрею Белому, захваченность революционной стихией. Гораздо важнее для формирования мировоззрения Устрялова была, с нашей точки зрения, не революция как таковая и не культурно-национальное начало вообще, а опыт Первой мировой войны, примат внешней политики и необходимость государственной организации

и вооруженного насилия для защиты и утверждения своих идеалов. Война и столкновение государств рассматривались молодым правоведом не в плоскости геополитики и конфликта интересов, но преимущественно в горизонте историософском:

«Идеи» культурных государств своеобразно скрещиваются, переплетаются и вместе с тем взаимно враждуют, состязаются, стремятся покорить друг друга. Это – великая, эстетически ценная и плодотворная борьба различных *стилей*, разнохарактерных *способов человеческого бытия*. Каждый из них по-своему законен и нужен, каждый по-своему выражает собою универсальное, вселенское начало. Но воистину необходима и взаимная борьба их: она – ручательство, что человечество не застыло на месте, она – главный фактор прогресса.

Каждый здоровый государственный организм влечется к расширению, к большей мощи, и каждый ограничивается аналогичными влечениями таких же, как он, организмов. Тут явственно чувствуется печать какой-то высшей мудрости. Великие войны, подобные переживаемой нами, являются как бы беспристрастным приговором исторического Разума по поводу тяжб между земными государствами. Совершается суд над народами, над их чаяниями, над их «идеями». Органические изменения, за определенный период времени назревшие в отдельных государствах, получают авторитетную санкцию в плане всемирной истории⁶.

В европейской же литературе национал-большевизмом называют специфическое для Веймарской Германии течение мысли, строящееся вокруг идеи союза крайне правых и крайне левых под лозунгами национального и социального освобождения от чуждых – западных, либеральных и «плутократических» – сил. В связи с этим чаще всего упоминают тактические повороты внутри именно левого лагеря: среди немецких синдикалистов начала 1920-х, у части коммунистов в 1923 году («курс Шлагетера», инициированный Карлом Радеком) и затем в начале 1930-х – на волне тактического сближения компартии Германии с революционными националистами (в рамках так называемого «курса Шерингера»)⁷.

В случае Устрялова как наиболее последовательного сторонника идей возрождения России на «национальной» основе и с признанием революционных перемен мы находим весьма отличный от не-

мецкого национал-большевизма комплекс идей.

1. В центре его мысли находится именно государство (и потому закономерно говорить о своеобразном неомакиавеллизме Устрялова, окрашенном в социальные тона). Напрашивается далекая параллель с тем, как использовал идеи Макиавелли примерно в те же годы лидер коммунистов Антонио Грамши, ища на страницах «Тюремных тетрадей» именно общественные и культурные источники и факторы национальных и политических движений⁸. При этом Устрялов отнюдь не просто отстаивал принципы защиты наличного порядка перед наступающей революционной стихией (как Карл Шмитт до 1933 года, который здесь был ближе скорее к Струве). Для харбинского эмигранта большевики (Сталин или Ленин) оказываются наследниками Петра и Екатерины Второй именно как невольные собиратели и хранители государственной целостности и – «объективно» – как защитники российских национальных интересов. Уже в феврале 1920 года Устрялов писал:

Во-первых, события убеждают, что Россия не изжила еще революции, то есть большевизма, и воистину в победах советской власти есть что-то фатальное, будто такова воля истории. Во-вторых, противобольшевистское движение силою вещей слишком сильно связало себя с иностранными элементами и поэтому невольно окружило большевиков известным национальным ореолом, по существу чуждым его природе. Причудливая диалектика истории неожиданно выдвинула советскую власть с ее идеологией интернационала на роль национального фактора современной русской жизни – в то время как наш национализм, оставаясь непоколебленным в принципе, потускнел и поблек на практике вследствие своих хронических альянсов с так называемыми «союзниками»⁹.

2. В отличие от старых славянофилов, дореволюционных путейцев (Е. Трубецкого, С. Булгакова и др.) сменовеховские рассуждения о преимуществах российской культуры или о позитивных сторонах большевизма строились, как правило, на рациональных и преимущественно секулярных основах. Еще в годы Первой мировой войны 25 марта 1916 года в заседании Московского религиозно-философского общества памяти В. Соловьева Устрялов внимательно анализировал труды первых славянофилов, выделяя несколько разных исходных принципов (мессианизм, идею культурного своеоб-

разия, политико-военное утверждение нации) в этой доктрине, которую он отнюдь не считал монолитной или непререкаемой¹⁰.

«Иррациональное» чувство родины у молодого ученика Е. Трубецкого не мистифицировалось и не возгонялось до космических высот, будучи основой для формулировки вполне прагматических практико-политических выкладок и программных целей. Устрялов разделял представления евразийцев о важности «бытового исповедничества», но скорее на личном уровне, и не постулировал свое религиозное чувство в масштабах коллективно-обязательной православной доктрины¹¹. Кроме того, Устрялов не разделял идею Бердяева о «скрыто религиозном» потенциале большевизма, не рассматривал коммунистическую идею как своего рода «перелицованное» православие. Охотно прибегая к историческим параллелям и аналогиям, он все же не соглашался (по крайней мере, до середины 1930-х годов) видеть прямую, содержательную преемственность православной традиции и социалистической ортодоксии.

3. Идея внутренней эволюции, закономерного перерождения и диалектического самоотрицания советского строя была в высшей степени близка Устрялову. Именно потому так горячо его имя и его идеи обсуждались во внутрипартийных дискуссиях середины 1920-х годов и в спорах о «термидоризации» русской революции¹². Примечательно, что о необходимости всерьез задуматься о перспективах и причинах устойчивости большевизма Устрялов заговорил еще на самом пике «военного коммунизма», в конце 1920 года, за несколько месяцев до первых мероприятий новой экономической политики. Тем большим энтузиастом НЭПа оказался он в середине 1920-х годов, всецело поддерживая в харбинской публицистике курс руководства ВКП(б) на сближение с крестьянством и лозунг Бухарина «Обогащайтесь!» Риторически сравнивая переживаемую эпоху со средневековой, Устрялов (на страницах легальной советской печати!) пророчествовал:

У будущего историка... дети прочтут:

«Чем более дух коммунистической революции овладевал Россией, тем более коммунизм должен был получать буржуазный характер. Идея отрицания собственности сама стала источником распределения богатств и, следовательно, новой собственности...

Отвергая в принципе патриотизм, она (советская идеология. – А.Д.) его практически воспитывала в борьбе с интервенцией и чужеземными вожделениями... В этом внутреннем разложении интернационально-коммунистической идеи заключалось трагическое противоречие Великой Русской Революции. Революционный дух большевизма стремился избавиться от влияний национальных и буржуазных, и это стремление делалось для него источником подчинения этим влияниям».

Неудержимо развивающийся процесс обмирщения коммунистического экстремизма есть истинно-действенная и глубоко плодотворная самокритика русской революции. Она неизбежно приведет и уже приводит к подлинному **русскому Ренессансу**¹³.

И все же с большевиками Устрялова в 1920-е по-прежнему разделяла сущностная методологическая и нравственная граница: он не принимал исторического материализма и тезиса о примате классово-вой борьбы, оставаясь наследником школы Трубецкого, целостного идеалистического подхода к толкованию исторического процесса.

4. Сложная преемственность по отношению к славянофильским идеям (еще в эпоху мировой войны), кадетский либерализм и неокантианский правовой идеализм дополнились у Устрялова в 1920-е годы гегелевской диалектикой исторического процесса, пониманием важности и неизбежности гегельянского *примирения* с пореволюционной действительностью (от былого романтизма – к неизбежной трезвости, но при этом, в нарушение привычной схемы, – не слева направо, а наоборот). Впрочем, современные историки справедливо усматривают первые признаки его внимания к интернационалистскому (по лозунгам) большевизму как к явлению *русскому* и по сути глубинно национальному уже в его публицистике конца 1917 года (на страницах еженедельника «Накануне» – одноименного будущему сменовеховскому журналу)¹⁴.

Своеобразный интуитивизм, темы «принятия мира» (а не просто наличной советской власти) в самой разнообразной аранжировке постоянно встречаются на страницах публицистики Устрялова 1920-х годов. Широкий, внепартийный и одновременно пристальный интерес Устрялова к происходящему в Советской России (частичное свидетельство об этом – написанные им по свежим впечатле-

ниям очерки-воспоминания о путешествии в Москву с Дальнего Востока летом 1925 года), масштабные исторические аналогии и стремление к историософским обобщениям отличали воззрения Устрялова от радикальной или либерально-демократической политической эмигрантской публицистики Милюкова или эсеровских изданий, а также от консервативных и почти реставраторских статей «на злобу дня» Петра Струве¹⁵. В отличие от левых революционно-христианских подходов авторов парижского журнала «Новый град» в 1930-х годах (Г. Федотова, И. Бунакова-Фондаминского и др.)¹⁶ Устрялова как социального философа отличала последовательно секулярная позиция; в жанрово-академическом отношении его манеру письма можно расположить примерно посередине между только становящейся тогда политологией, политической философией и журналистикой (он читал лекции на Харбинском юридическом факультете – своеобразном высшем учебном заведении для русских эмигрантов). В частности, он посвятил новоявленным политическим феноменам – итальянскому фашизму и германскому нацизму – обширные очерки, где сравнивал их с большевизмом. Он ставил вопрос о природе новых националистических движений с наступательными лозунгами и сильной социальной программой (в условиях кризиса парламентской демократии и прежних западных политических идеалов)¹⁷. Своеобразное чувство изоляции, пребывание на Дальнем Востоке, вдали от европейских эмигрантских центров, сделали из Устрялова особенно внимательного постороннего наблюдателя происходивших в СССР и мире процессов.

Уже в начале 1950-х годов Чеслав Милош в книге «Captive Mind» («Порабощенный разум», 1953) отметил эту характерную для интеллигалов межвоенной эпохи заворуженность историей. Нередко эта заворуженность оборачивалась чувством преклонения и раздавленности ее неостановимой тяжелой поступью (порой и с упованием на то, что именно им, «людям пера», одновременно открыт и тайный смысл этого по видимости кровавого и беспорядочного движения)¹⁸. Стало быть, даже «вульгарные» авторитарные или прямо диктаторские режимы движутся «хитростью разума» в благоую сторону реализации общественного и человеческого устройства. Эту идею разделяли тогда мыслители порой противоположных политических лагерей, от итальянских последователей Бенедетто Кро-

че (который сам был оппонентом фашизма) до гегельянского марксиста Георга Лукача, оставшегося после 1933-го в сталинском Советском Союзе, от поддержавшего тогда же нацистов Мартина Хайдеггера до французского эмигранта из России, почитателя Владимира Соловьева и раннего Гегеля Александра Кожева. Отсылка к действительности, *почве* (конечно, не в расовом духе!) и исторической органике, к *наследию* и традициям вполне вписывалась в этот общеевропейский интеллектуальный поворот к радикальным и силовым «бытийно связанным» доктринам от прежних ведущих «нейтральных» и скорее космополитических течений: сугубо сциентистского позитивизма и «прекраснодушного» неокантианского правового или социального идеализма.

* * *

Как уже было сказано, собственно историческое сменовеховство оказалось течением весьма недолгим. После начала признания СССР западными державами и прибытия первой волны «возвращенцев» (вроде Алексея Толстого) интерес большевистских властей к поддержке советских симпатизантов внутри эмиграции резко спал. Главные фигуры вроде Ключникова (который как эксперт сотрудничал с советской делегацией на Генуэзской конференции) уже работали в СССР¹⁹, а к 1924 году были закрыты и основные сменовеховские периодические издания за рубежом, поскольку необходимость в них отпала. Часть лидеров движения возвратилась в СССР (работая в учреждениях НКВД, ВСНХ, Комакадемии и т.д.), оставшиеся за границей быстро скомпрометировали себя связями с советскими «органами» и денежным довольствием²⁰. Сам Устрялов к полевению своих единомышленников относился весьма скептически, и в одном из писем С.С. Лукьянову осенью 1922 года проницательно замечал: «Стремясь быть большевиками “второго дня революции” (мечта Ключникова и Бобрищева-Пушкина), следует опасаться стать просто большевиками второго сорта»²¹.

Зато усилился интерес властей к той части политически лояльной интеллигенции (или уже «спецов»), которую принято называть «сменовеховской»²². Первые годы НЭПа она получила легальную

литературно-публицистическую трибуну в виде журнала «Новая Россия» («Россия»), главную роль в котором играли Исая Григорьевич Лежнев (Альтшулер) и старый народник и этнограф Владимир Тан-Богораз²³. Этот журнал, в частности, известен тем, что на его страницах печатались Осип Мандельштам, Ольга Форш, Илья Эренбург, Мариэтта Шагинян и такой весьма сомнительный с точки зрения новой власти писатель, как Михаил Булгаков (он затем вывел Лежнева, которого весьма уважал за ум и политическую проницательность, в образе издателя Рудольфи в «Театральном романе»). Если первыми номерами лежневская «Новая Россия» вписывалась в целый ряд нэповских интеллигентских изданий («Экономист», «Вестник дома литераторов», «Вестник литературы» и т.д.²⁴), то все изменилось после кампании по высылке оппозиционных интеллектуалов и закрытия большинства этих органов, хотя сам Ленин в период подготовки этой операции писал Дзержинскому о необходимости повременить с запретом именно лежневского журнала²⁵. И если большевистская печать встретила появление заграничного сменовеховства довольно положительно (как признак разброда и шатания эмиграции²⁶), то лежневский журнал подвергался уже постоянным атакам на страницах «Правды» и в сборниках, специально посвященных борьбе с «буржуазной идеологией» (по инициативе партийных или госиздатовских чиновников, вроде будущего преемника Луначарского на посту наркома просвещения А.С. Бубнова²⁷).

Лежнев довольно искренно возражал против подобных недалекновидных, с его точки зрения, оценок и одергиваний. Его лояльность новой власти (он сам подчеркивал, что сознательно служил Советам против Врангеля в годы Гражданской войны) была вполне последовательной. Именуя НЭП «национальной экономической политикой», он прямо превозносил роль партии и государства как особой «оградительной» силы во имя местного развития:

Если бы мы, опираясь на наши военно-политические достижения и на крепко сложенный аппарат государственной власти, не оградились тройным проволочным ограждением от напора хищнического чужеземного капитала, не установили мер предельного благоприятствования нашему, слабому еще, неспособному к конкуренции, отечественному производству — мы неминуемо попали бы в чужеземную кабалу, стали китайскими кули, навозом под ножи во много крат более сильного Запада [...]

Ближайшие перспективы НЭПа, таким образом, чреваты хозяйственным подъемом, культурным ростом и национально-экономической самостоятельностью России. НЭП, как сказано, ограждает от двух тягчайших опасностей: аграризации и колонизации [...]

Мы присутствуем при рождении нового демократизма, неказистого на вид, но крепко сколоченного. Новая неписаная хартия вольностей построена на договоре между двумя народными субъектами права. Активное меньшинство подчиняется учредительной воле пассивного большинства; большинство подчиняется государственно-формирующей воле меньшинства. К этому нас привели не нарочитые изыскания правоведов, а могучий, покоряющий, стихийно-преобразующий поток жизни.

Жизнь тклет свою ткань.

Да здравствует жизнь!²⁸

За чисто политическими или хозяйственными вопросами в статьях Лежнева (быть может, даже в более прямой, незамысловатой увязке, чем в «профессорской» публицистике Устрялова) присутствовала и некая общая виталистская риторика, своеобразная философия самоутверждающейся жизни. Однако дело было не в прославлении любой жизни, но в выявлении и поддержке разумного и организующего начала, которое сможет обеспечить устойчивый прогресс, а еще лучше – мощный рывок страны вперед. И здесь на страницах «России»/«Новой России» возникала идея своеобразной новой смычки – конструктивной интеллигенции и созидательной большевистской власти. Редактор целого ряда научно-беллетристических сборников из жизни нового общества («Революционная деревня», «Старый и новый быт», «Еврейское местечко в революции») этнограф Тан-Богораз тоже отвергал нэповскую «стихию» и особенно упирал на извечную преобразующую функцию государства в России:

Часть интеллигенции захвачена НЭПом, но по существу интеллигенция не связана с НЭПом ничем. Русская интеллигенция от времени Петра связана с государством, и до новейших времен эта связь ничуть не ослабла. Вот и теперь: НЭП породил самоснабжение школ. В результате заморожены школы. Самоснабжение больниц – заморожены больницы. Так Россия понимает самоуправление... Сжимаются университеты, факультеты спадаются вместе или порой выворачиваются наизнанку, как опустевшие карманы. Все это очень скверно. Но не НЭПу воскресить и наполнить

это оскудение... Это ему не по силам, да он и не хочет. Зачем ему университеты, зачем ему наша идеология? Он и без идеологии лопает досыта. Лопает, лопает, пока не лопнет... В НЭПе только воскресение элементарнейшей жизни, не более того. [...] русская интеллигенция не может опереться на НЭП ни духовно, ни материально. Она может опереться только на государство.

Ее процветание связано с процветанием государства. Так пусть же государство процветает.

Будем говорить прямо. Россия – страна самодержавная в прошлом. Теперь самодержавие сменилось диктатурой коллектива, скажем, диктатурой класса. Так тому и быть. И жить под этой диктатурой интеллигенция готова²⁹.

Заслуживает внимания, что в то время, как в современной России Устрялова переиздают и читают, фигура Исаия Лежнева кажется совершенно забытой. Между тем современники воспринимали их в качестве ведущих фигур соответственно правого и левого сменовеховства³⁰. В 1926 году в последних номерах уже переименованного журнала Лежнев, отвергая «буржуазную реставрацию во вкусе Устрялова», замечал:

Не будем мармеладными обывателями, будем ответственными гражданами. Скажем: свободы в природе нет, есть необходимость в иллюзорной облатке свободы, а из необходимостей давайте утверждать те, которые таят пружинистую силу роста, прогресса...

Но что считать прогрессивным? Прогрессивным будем считать то, что в данной исторической обстановке при наименьшей затрате энергии дает наибольшие возможности плодотворного осуществления, раскрывает подспудные силы народной и земляной толщи. Надо до крайнего предела развернуть производительные силы страны – и духовные и материальные. В прущей из земли биологической плоти и страсти, в молодости, в силе, в игре избытков, – высшее утверждение и правда³¹.

Здесь особенно важно отметить еще одну общую черту сменовеховцев: желая отрешиться от наследия и монархистов-реставраторов, и «обанкротившихся» (как эти авторы не раз подчеркивали) демократов прошлого – вроде Чернова, Милукова, – они готовы были признать за большевизмом открытие нового «низового» человеческого

типа, к которому сами не принадлежали, но к настроениям которого идеологи «лояльных спецов» очень тщательно присматривались:

Никогда в России не видел столько форменных фуражек техников, инженеров, агрономов. На любой станции во время остановки поезда второго класса угол длинного стола – в плену у саженных людей в форменных фуражках, в сапогах, в бобриковых полушубках и кожухах. Они крепко сидят на своих стульях, нагнувшись над столом, как бы штурмуя стол и не выпуская из десятиминутного цепкого владения. Крепкие челюсти перемалывают мясную дорожную дрянь. Луженые глотки споласкиваются пивом.

Эти люди разъезжают, строят, торгуют, преодолевают пространства, завоевывают асбест, глину, кирпичи, железо; как рыба в воде, плавают в запутанном переплете совнархозов, трестов, синдикатов, комхозов, губторгов... проталкивают, смазывают... переметываются в медвежью глушь, встряхивают сонную киселеобразную провинцию, приводят в движение «многоуважаемые шкафы», тюфяки, перины, сперматоизируют дебелую Русь, ложатся спать поздно, встают рано – чтоб опять завертеть колесо винтовых лестниц, костяшек счетов, машинок, договоров, асбестов, кирпичей, поверстных столбов, пространств...

России понадобилось перегореть и переплавиться в тигле революции, чтобы родить этого нового героя наших дней, этого демобилизованного техника-строителя-красного купца³².

Среди тех немногих «заветов» старой интеллигенции, которые был готов принять и Лежнев, он особенно выделял народнический постулат о российском *своеобразии*³³. Порой аргументация Лежнева прямо перекликалась с евразийской в смысле солидарности нынешней России с восточными народами в едином антизападном фронте:

И недаром на Россию выпадает почетная роль поводыря колониального Востока.

Война и революция взболтнули чан нашего застоявшегося русского бытия. Верхушечные слои выплеснулись наружу, вон. Со дна на поверхность поднялись силы, таившиеся под спудом и веками накапливавшие в незримых глубинах могучий творческий заряд. Поднялась к жизни, к завоеванию материальных благ и материальной культуры новая творческая раса, пробудился дух инициативы, развернулся ландшафт приисков, упорного и подчас авантюрного искательства добычи. Пошел новый об-

мен социальных и культурных кровей³⁴.

Но исходным для сближения России с Востоком у Лежнева все же был фактор социальный, а не культур-органицистский, как у евразийцев. Он особенно много писал о происходящей после революции в России демократизации культуры, новой «культурной смычке верхов и низов», о выработке нового культурного типа – вполне схожего с деловито-прагматичным американским. Но своим³⁵. Споря с Устряловым как с «правым» единомышленником, Лежнев вполне сходил с ним в смысле крайне настороженного отношения к западным интересам относительно России и ее ресурсов (если вспомнить неприязненные отзывы о «союзниках» времен Колчака):

Мы потенциально закабаленная страна, и экономическая защита наших недр, наших магнитных залежей, нашего угля, нашей нефти, наших крупнейших фабрик от напора иностранного капитала так же настоятельна, как военная защита страны от напора иностранного оружия³⁶.

Тут бывший меньшевик Лежнев решительно расходился с некоторыми российскими интеллигентами 1920-х, позиция которых (лояльность новой власти и сознание самостоятельных социальных задач) задним числом может казаться очень близкой к программе «Смены вех», а именно с бывшим эсером Александром Чаевым. Крупнейший специалист по аграрной экономике, находясь в 1923 году в европейской командировке, писал коллеге Е.Д. Кусковой, не оглядываясь на советскую цензуру, вполне откровенно:

Надо твердо и определенно развести Россию и СССР. Надо признать живые процессы в народном хозяйстве, даже содействие этим процессам интеллигенции, работающей с советской властью. Если мы этого не сделаем, то будем выброшены и останемся навсегда в стороне от России. Наши писания будут пустозвонством, никто и нигде не будет нам верить. Нужна объективность, при которой препятствия советской власти роста народного хозяйства выявятся еще ярче, что мы и должны делать, доколе будем иметь возможность. [...] Надо создать такое внутреннее настроение, при котором можно было бы через СССР видеть Россию и ее живые силы...

Прочтите, я буду писать про интервенцию, но не военную, а экономическую. Мне представляется неизбежным и в будущем проникновение в

Р[оссию]. Эта интервенция, как я упомянул выше, идет и теперь в наиболее разорительных для России формах [...]

Так нельзя ли нам также использовать эти экономические возможности, открывающиеся перед Западом? Нельзя ли к экономическим концессиям Запада присоединить наши политические концессии? ... К концессиям Запада для их получателей интересно получить политические гарантии, которые могут заключаться в том, что один по одному в состав сов[етской] власти будут входить несоветские люди, но работающие с Советами.

Как все это практически осуществить? Надо договориться самим – т.е. всем, кто понимает, что делается в России, кто способен принять новую Россию. Надо частное воздействие на зап[адно]евр[опейских] полит[иче-ских] деятелей – необходим с ними сговор и некий общий фронт³⁷.

Авторы публицистики «Новой России» – фактически единственного разрешенного неофициального «толстого» журнала – постоянно «держали перед глазами» фигуру потенциального адресата их продукции: пореволюционного интеллигента, который, вопреки известному присловью, ничего не забыл, но многому научился. Вместе с тем стоит весьма скептически воспринимать попытки видеть в журнале Лежнева прямое выражение взглядов этого социального слоя (чем особенно грешили немногочисленные советские работы о сменовеховстве³⁸). И в «Новой России», и в тогдашних публичных дебатах об интеллигенции (с участием Луначарского, Бухарина³⁹) мы – даже применительно к относительно либеральным нэповским годам – имеем дело уже с «отфильтрованной» картиной, прошедшей через сито внутренней (и все более явной внешней) цензуры. Реконструировать взгляды нэповской интеллигенции, их систему мотиваций и оценок правящей власти, опираясь на Богораза (бывшего противника большевизма времен Гражданской) или авторов лежневского журнала, было бы сегодня опрометчиво⁴⁰. Тот же Чайнов был явно не одинок в конечном неприятии советского строя, в который был достаточно хорошо интегрирован. И Лежнев, споря с Устряловым в середине 1920-х, исходил из абсолютно иных предпосылок:

Новая Россия не только нация, но (по международному социальному положению и заданиям) и класс, **не только класс, но и нация**. И в этой неразрывной слиянности национального с социальным – все неповтори-

мое историческое своеобразие нашего времени. А вместе с тем и нашего **нового** русского патриотизма.

Вам своеобразие положения представляется иначе. Вам кажется, что российская государственность под флагом интернационала контрабандой провозит националистическое барахло (*passé moi le mot*)...

В действительности же секрет успеха в том, что наш **национальный** флаг есть, вместе с тем, и красный флаг, – флаг восстания против империализма, против цивилизованных эксплуататоров. И именно в этом – наша сила для всего закабаленного Востока. ...Дело идет об освобождении от империалистического гнета самого внушительного отдела человечества, о национально-экономическом раскрепощении. Вот в чем общность судеб всей Евразии. **Не только одна Россия, но и весь Восток, вся Евразия – огромная нация-класс, противостоящая Западной Европе**⁴¹.

Интересно, что концепция нации-класса (ярко развернутая у писателя-шовиниста Энрико Коррадини) уже была опробована в годы Первой мировой войны в Италии как своеобразный идеологический мостик от активистского социализма образца Сореля и синдикалистов к новому, интегральному и социально «нагруженному» национализму – таким был путь Муссолини⁴². Поразительной оказалась и дальнейшая карьера Лежнева. После того как в 1926 году «Новая Россия» была все-таки закрыта, Лежнев был отправлен на работу в берлинское торгпредство (что было своеобразной формой высылки⁴³), а в 1930-м вернулся в Москву и написал самое масштабное к тому времени произведение – первый том «Записок современника» (1934), выполненный в характерном для того времени жанре «самоотчета-исповеди»⁴⁴. В этом своеобразном идеологическом мемуаре Лежнев наглядно продемонстрировал процесс личной самоперековки – от еврейского юноши – социал-демократа через фазис «буржуазного» идеолога времен НЭПа к убежденному советскому публицисту и литературоведу.

На страницах книги мы узнаем прежних героев, но уже переодетыми в правильное советское платье:

Деревенские девушки, в былое время основной кадр «господской прислуги», пошли в слесаря и токаря, в электротехники и трактористы, носят стриженные волосы и комсомольскую гимнастерку с ремнем через плечо, заговорит о политике – берегись, интеллигент, как бы в лужу не посади-

ла и не прилепнула сверху по лысине. Пионерия, комсомолия, младшие возрасты партактива, курсанты и красноармейцы, – все поколение до 25 и даже до 30 – возвращено и воспитано революцией. «По улице мостовой» (тесны стали тротуары) ходят молодые стайки парней и девушек не с пьяными песнями, а с песнями новыми, да с горячими спорами о блюмингах и вальцовках. На заиндевелых окнах трамвая вычерчивают не похабные слова и не любовные сердца, пронзенные стрелами, а алгебраические формулы и квадратные уравнения. ...Красных институтов в Москве почти столько же, сколько пивнушек в Берлине – на каждом перекрестке. Общее впечатление от охватившего страну поветрия учебы – огромная мансарда на шестую часть света, студенческая пора человечества, с той же студенческой лихорадочной тягой к знанию, но только вместо маменькиных сынков – рабоче-крестьянский молодняк, да вместо Gaudeamus'a – «Интернационал»: «Это есть наш последний и решительный бой!» И роль профессуры и старостата во всесветной рабоче-крестьянской студенческой мансарде играет партия, учитель и организатор советской общест-венности⁴⁵.

Книга так понравилась на самом веру, что Лежнев был не только принят в ВКП(б)⁴⁶, но и назначен главой литературного отдела «Правды» и находился на этом посту в годы Большого террора (снят он был лишь в 1939 году). Лежнев остался жив. Он умер в 1955 году, пережив Сталина. Его поздние работы, опубликованные в специальном томе «Избранных статей» в 1960 году, ничем не отличаются от обычной литературоведческой продукции позднего сталинизма: стандартный и предсказуемый материал подогнан в них под трафаретно-ортодоксальные выводы. Некоторой иллюстрацией к идейной эволюции Лежнева можно считать и путь Горького от критики большевистского экспериментаторства в «Несвоевременных мыслях» до его же сервильно-возвышенной публицистики середины 1930-х годов (с той же характерной хамелеонской игрой исходной раздвоенности и окончательного правоверия, что и в неоконченной «Жизни Климса Самгина»⁴⁷). Большая поздняя книга Исаия Лежнева о Шолохове также показательна – по тому полному идейному перевороту, что совершил этот сугубо городской автор, весьма неприязненно высказывающийся во времена НЭПа в «Новой России» о низовой стихии и опасности аграризации. Теперь же этот

позавчерашний меньшевик прославлял творца «Тихого Дона» как создателя нового советского эпоса⁴⁸. Похоже, прежнее виталистское увлечение Лежнева энергичными образами сильных людей «из низов» наконец обрело тут свой подобающий и идеологически правильный объект.

Путь Устрялова «в Каноссу» (название статьи С. Лукьянова в «Смене вех») оказался куда более долгим – он явно считал, что пример довольно быстрого перерождения сменовеховцев уже дал ему необходимый и значительный урок, да и сближение с СССР (буквальное «растворение» и физическое уничтожение в конечном счете) он пережил не в революционно-романтическом подъеме начала 1920-х, а в середине 1930-х, в момент укрепления сталинского великодержавия, поворота к традициям и откровенного отречения от раннебольшевистского «национального нигилизма»⁴⁹. Оговорки, возражения и приверженность к идеалистической философии истории он сохранял до конца, даже вернувшись в Советскую Россию. На слабое место телеологической аргументации Устрялова о большевистском термидоре (который поможет самоликвидации революции, когда Советская власть наконец явно станет крестьянско-«мещанской») указывал один из его корреспондентов конца 1920-х годов:

Признание за большевиками «исторической миссии» «собирания земли русской» должно обязательно гармонировать с предположением за ними способности благополучно уйти, в порядке эволюционного процесса. Последнее же положение крайне спорно... Хотя Вы, господин профессор, и пишете в одном месте по Козьме Пруткову «сон уже не тот», но увы, сон (в смысле исключительности и цепкости власти), к сожалению, все тот же. «Что-то готовится и кто-то идет» – это несомненно, но мавр слишком долго топчется перед выходными дверями и этим культивирует «бестолковщину» [...] Сам он этой святой способности – исчезнуть в тот момент, когда история этого требует, – не проявляет⁵⁰.

В первой половине 1930-х прежнее влияние оставшегося в Харбине Устрялова заметно ослабло – его голос почти терялся в общем хоре эмигрантских идеологов, так или иначе ориентированных на заведомо неравноправный диалог с Советской Россией – будь-то евразийцы, троцкисты, близкие к фашистам младороссы, «утвержденцы», невозвращенцы вроде С. Дмитриевского (эти две последних

группы были наиболее интересны Устрялову⁵¹). Он сам, как показывает опубликованная относительно недавно переписка с бывшим коллегой из штата КВЖД Г.Н. Диким (1888–1961), вполне трезво оценивал пределы и возможности своего влияния:

Теперь менее чем когда-либо вижу я необходимость менять наши установки. И стиль, и содержание наших откликов должны быть насыщены эпическим драматизмом происходящего. Прошло время, когда можно и нужно было пытаться публицистикой оказать непосредственное воздействие на ход событий. Все слова такого типа, в сущности, сказаны. Но остаются большие анализы подлинно «национал-большевистского» покроя, в коих русская революция должна обрести свое место и свой положительный смысл. Они в корне отличны, эти анализы, от всякой миллюковщины и по природе своей должны быть проникнуты философски-историческим спокойствием⁵².

В начале 1930-х он прекрасно сознавал масштабы и характер наступления на интеллигенцию, степень оскудения официально разрешенной (после ниспровержения Троцкого или Бухарина) мысли. Но ему казалось, что все это пусть и прискорбные, но все же преходящие феномены на исторически величественном пути; к середине 1930-х автор «Смены вех» явно ревизовал прежние свои «правоуклонистские» симпатии:

...Я прихожу к заключению, что нужно окончательно снять специфические «устряловские» лозунги эпохи НЭПа. В области внешней политики наша взяла: Сталин – типичный национал-большевик. В области внутренней политики удастся этатизировать все народное хозяйство: назовем это социализмом, дело не в словах. Так или иначе, страна крепнет⁵³.

Логическим выводом из этих настроений, а не только личным выбором харбинского изгнанника было сознательное решение о возвращении домой летом 1935 года. Своего рода завещанием Устрялова, подводящим итог его двадцатилетней свободной интеллектуальной деятельности, стало его обширное исповедальное письмо Г. Дикому, из которого мы позволим себе привести обширные цитаты:

Возвращение фактически было возможно и раньше, но психологически и идеологически оно оставалось затруднительным[,] покуда круг идей моего национал-большевизма не был изжит диалектикой революции, поку-

да генеральная линия, преодолев тенденции перерожденческого термидора, не заложила реально хозяйственных основ советского социализма – с одной стороны, и не вступила на путь положительной государственной внешней политики – с другой. Да, теперь исчезает смысл «самостоятельной» политической линии, противоположаемой государственному курсу, и возвращение становится уже не только фактически возможным, но и принципиально необходимым. Возвращение – для надлежащей работы под знаком и в пределах правительственной политики, возрождающей и перестраивающей страну. Предоставление своих сил в распоряжение государства. Это, можно сказать, – имманентный и естественный вывод «устряловщины», ее последний, завершающий акт, осуществляющий и вместе с тем упраздняющий ее.

[...] Ибо в основном и главном нет уже речи о сомнении, неверии, послушании со стиснутыми зубами, а есть живое и сознательное, активное приобщение к государству. Если это даже и своеобразный акт самосожжения, то в духе евангельского афоризма: потерявший душу свою найдет ее.

[...] Государство ныне строится, как в годы Петра, суровыми и жесткими методами, подчас на костях и слезах. В своей публицистике я осознал этот процесс, уясняя его смысл и неоднократно призывал понять и оправдать его. Тем настоятельнее необходимость сделать из этих ответственных призывов не только логический, но, когда нужно, и жизненный вывод. Ежели государству понадобятся и мои собственные «кости», – что же делать, нельзя ему в них отказывать⁵⁴.

Эта надобность возникнет довольно скоро: после недолгой работы профессором экономической географии Московского института инженеров транспорта (он успел напечатать в «Известиях» несколько статей о Пушкине, Герцене и новой Конституции) Устрялов был арестован в июне 1937-го и расстрелян в сентябре того же года⁵⁵; аналогичная участь постигнет и его соавторов по «Смене вех» – Ключников и Потехина, а также Чайнова и многих советских «сменовеховцев».

Процитированные выше трагические строки Устрялова уже были преданы гласности на гребне новой революции: в сборнике «Иное» (1995) специальную и очень личностно акцентированную статью о нем поместил сам инициатор этой новейшей антологии русского культурного самосознания – Сергей Чернышёв, автор на-

шумевшей на закате перестройки книги «После коммунизма» (опубликованной под псевдонимом С. Платонов)⁵⁶. Разумеется, эта сознательная переключка не была случайным избирательным сродством двух интеллектуалов очень разных формаций. На наш взгляд, их объединяла потребность переосмыслить произошедшие под универсалистскими и «абстрактными» лозунгами революции («коммунистическую» – 1917 года и «либеральную» – 1991-го) через их термидорианское самоотрицание, в горизонте решения национальных задач. Показательно и внимание к «устряловским» сюжетам крупного современного историка и политика Модеста Колерова: как специалист по прошлому он всегда особо интересовался сюжетами неожиданных пересечений марксистских, национал-государственных и либеральных идей (вроде истории еженедельника «Накануне»), как практикующий идеолог – был составителем сборника с показательным названием «Термидор» (и принимал участие в подготовке другого коллективного проекта – сборника «Новый режим»). Оба последних издания – с оглядкой на уроки постсоветской традиции – должны были соединить в устряловском духе и личностно-эссеистский стиль, и журналистский анализ текущей политики рубежа «ельцинской» и «путинской» эпох и историософию стратегических перспектив этой неустойчивой политики⁵⁷. Впрочем, теперь, из двойной экспозиции постсоветского и постреволюционного *брюмера*, эти аналогии современных интеллектуалов со сменовеховцами едва ли удивительны, особенно в свете нередких сравнений транзитивных процессов 1920–1930-х и 1990–2000-х годов. Риторика и семантические ореолы «особого пути» в обоих случаях оформляют и подготавливают переход от исходных критических национал-либеральных устремлений к почти безоговорочной апологии наличной сильной власти модернизаторов, за логикой действий которых нужно только уметь увидеть и прояснить стихийные и глубинные *патриотические* устремления «низов» и «масс»⁵⁸.

Однако «национальный» момент или программатика особого пути – не специфическая культурная матрица или исходная программа (которой предзаложено определенным образом реализоваться)⁵⁹. Важный урок трудов Устрялова и Лежнева, в отличие от их старших современников вроде Бердяева, Милокова или Каутского, – опыт практической социологии знания и анализа политических или куль-

турных идеологий, в частности: учет интересов и динамики разных групп, выявление общественной природы ценностей, характера культурных смыслов. Но, как мы видели, вне критической социальной саморефлексии (в духе Манхейма, неомарксизма или Бурдье) и этической дистанции сами по себе пластичность ума, мышление под знаком исторических перемен и внимание к органическому и законосообразному течению социального времени еще не гарантируют мысль от опасности быть захваченной этой самой анализируемой исторической органикой – и оказаться поглощенной *без остатка*.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См., в частности, недавние публикации: *Быстрицкая Л.А.* Мировоззрение и общественно-политическая деятельность Н.В. Устрялова (1890–1937) // Новая и новейшая история. 2000. № 5. С. 162–190; *Романовский В.К.* Жизненный путь и творчество Николая Васильевича Устрялова (1890–1937). М.: ТИД «Русское слово – РС», 2006; обширные материалы об Устрялове, размещенные в Интернете исследователем его творчества О.А. Воробьевым [<http://elib.clubdv.ru/home.html?letter=%D0%A3>].

2 *Бобринцев-Пушкин А.В.* Новая вера // Смена вех. Смоленск, 1922 [Прага, 1921]. С. 125.

3 См. хорошо документированную, но недостаточно аналитическую, на наш взгляд, монографию: *Квакин А.В.* Между белыми и красными: Российская интеллигенция 1920-х годов в поисках третьего пути. М.: Центрполиграф, 2006.

4 *Агурский М.С.* Идеология национал-большевизма. М., 2003.

5 См. недавнюю содержательную монографию: *Леонтьев Я.В.* «Скифы» русской революции. Партия левых эсеров и ее литературные попутчики. М.: АИРО-XX, 2007.

6 *Устрялов Н.* К вопросу о русском империализме // Проблемы Великой России. 1916. 15 (28) октября. № 15. С. 3 (Устрялов опубликовал множество статей в газете «Утро России» в 1916–1917 годах под псевдонимом П. Сурмин; их список см. в: *Квакин А.В.* Между белыми и красными. С. 377–378). Близкой была позиция будущего евразийца П.Н. Савицкого как автора статьи «Борьба за империю: империализм в политике и экономике» (Русская мысль. 1915. Кн. I–II). См. подробнее о контексте рождения идей раннего Устрялова: Национализм. Полемика 1909–1917. Сборник статей / Составление и примечания М.А. Колерова. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000.

7 См.: *Шлегель К.* Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1918–1945). М: НЛЮ, 2004; и том «Вуппертальского проекта» Л. Копелева: Германия и русская революция. 1917–1924. М.: Памятники исторической мысли, 2004 (особенно статьи Л. Дюпё и Л. Люкса).

8 См. подлинный гимн Макиавелли у Устрялова: *Устрялов Н.* Национал-больше-

визм. М.: ЭКСМО, 2003. С. 333–334 (а также интересное, хотя и апологетическое предисловие С. Сергеева «Страстотерпец самодержавия» к этому изданию).

9 Устрялов Н. Национал-большевизм. С. 51 (из книги «В борьбе за Россию»); ср. С. 387–389 («Интеллигенция и народ в русской революции»).

10 Устрялов Н. Национальная проблема у первых славянофилов // Русская мысль. 1916. Кн. X. О связи сменовеховства с религиозной философией начала века см.: Голлербах Е.А. К незримому граду: религиозно-философская группа «Путь» (1910–1919) в поисках новой русской идентичности. Исследования по истории русской мысли. СПб.: Алетейя, 2000. С. 405–411.

11 См. письмо Устрялова П.П. Сувчинскому (1926) из фондов ГАРФ: Политическая история русской эмиграции: 1920–1940 гг.: документы и материалы. Учебное пособие / Под ред. А.Ф. Киселева. М.: Владос, 1999. С. 202–205. Будучи явными соперниками в борьбе за эмигрантские умонастроения в первой половине 1920-х годов, евразийцы и сменовеховцы (точнее – уже практически один Устрялов с очень немногими единомышленниками) сблизили свои позиции десять лет спустя.

12 Кондратьева Т. Большевики-якобинцы и признак термидора. М., 1993; Краус Т. Н.В. Устрялов и национал-большевизм // Россия XXI. 1996. № 1–2; он же. Советский термидор. Духовные предпосылки сталинского поворота (1917–1928). М., 1998.

13 Устрялов Н.В. Обмирщение // Россия. 1923. № 9. С. 17 (выделение автора).

14 Агурский М. У истоков национал-большевизма // Минувшее. Вып. 4. М., 1991; К[олеров] М. О еженедельнике «Накануне» // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник. 1998. М., 1998. С. 305–309, 536–539 (ропись содержания).

15 См.: Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935). М.: Русский путь, YMCA-PRESS, 2004.

16 См.: Федотов Г. В плену стихии // Новый град. 1932. Вып. 4. С. 9.

17 Эти книги о фашизме (1928) и германском национал-социализме (1933) были переизданы в постсоветской России в конце 1990-х годов.

18 См. анализ иного, негиталитарного историцистского мышления на гегелевской подкладке (у Л.Я. Гинзбург) в те же 1930-е годы: Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // НЛЮ. 2004. № 68. С. 102–127.

19 См. его книгу: Ключников Ю.В. На великом историческом перепутье. Берлин, 1922 (переизд.: М., 2001).

20 О связях с советскими органами зарубежного сменовеховства пишет Х. Хардеман: Hardeman H. Coming to Terms with the Soviet Regime: the «Changing Signposts» Movement Among Russian Emigres in the Early 1920s. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1994; Динерштейн Е.А. Советская власть и эмигрантская печать (20-е годы) // Он же. Российское книгоиздание (конец XVIII – XX век). М.: Наука, 2004. С. 391–399.

21 Цит. по: Квакин А.В. Между белыми и красными. С. 84.

22 См. весьма тщательное исследование: Finkel S. On the Ideological Front: The Russian Intelligentsia and the Making of the Soviet Public Sphere. New Haven: Yale University Press, 2007.

23 О политической составляющей биографии этнографа см.: Кан С. «Мой друг в ту-

пике эмпиризма и скепсиса»: Владимир Богораз, Франц Боас и политический контекст советской этнологии в конце 1920-х – начале 1930-х гг. // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 191–230.

24 См.: Журналы «Вестник литературы» (1919–1922), «Летопись Дома литераторов» (1921–1922), «Литературные записки» (1922): Аннотированный указатель [содержания] / Отв. редактор А.Ю. Галушкин. М.: Наследие, 1996.

25 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 266. Подробнее о высылке см.: «Очистим Россию надолго...» Репрессии против инакомыслящих. Конец 1921 – начало 1923 г.: Документы / Под ред. А.Н. Артизова, В.С. Христофорова. М.: Материк, 2008.

26 См.: Мещеряков Н.Л. На переломе (из настроений белогвардейской эмиграции). М., 1922 (о «новых вехах» см. с. 38–61).

27 См., напр.: Бубнов А. Буржуазное реставраторство на втором году нэпа. Пг., 1923; На идеологическом фронте борьбы с контрреволюцией / Сб. статей. М., 1923.

28 Лежнев И. Об учредительном собрании и о НЭПе // Россия. 1922. № 4. С. 16–17. Этот устойчивый мотив – неминуемого «закабаления» России западными странами-победительницами в случае ослабления новой власти и «наступления анархии» – был общим для многих сменовеховцев (у Бобрищева-Пушкина, Устрялова и т.д.)

29 Тан[-Богораз В.Г.] Тяжелая индустрия // там же. С. 12.

30 Агурский М. Переписка И. Лежнева и Н. Устрялова // Slavica Hierosolymitana. 1981. Vol. V–VI.

31 Лежнев И. Госшопка // Новая Россия. 1926. № 1. Стб. 32–33. Лежнев писал, что в нэповской России «нужны одновременно диктатура и демократизм» (стб. 33).

32 Лежнев И. Катюшка перематывается // Россия. 1923. № 6. С. 11–12. Кетати, упоования Ю. Потехина на «новый человеческий материал» Устрялов осенью 1923 года (судя по нечастой переписке с ним) вовсе не разделял: С. 101, 110.

33 См.: Лежнев И. Живая и мертвая вода // Россия. 1923. № 8. С. 7.

34 Лежнев И. Письмо профессору Н.В. Устрялову // Россия. 1923. № 9. С. 8.

35 Там же. С. 10.

36 Там же. С. 8.

37 Письма А.В. Чаянова / Публ., вступ. заметка и коммент. Р.М. Янгирова // Минувшее. Т. 18. М., СПб., 1995. С. 509–510. Подробнее о позиции Чаянова, где национальный элемент был вполне важен, см.: Gerasimov I.V. Modernism and Public Reform in Late Imperial Russia. Rural Professionals and Self-Organization, 1905–1930. Houndmills: Palgrave, 2009.

38 Федюкин С.А. Борьба с буржуазной идеологией в условиях перехода к нэпу. М., 1977; Федорова О.П. Журнальная публицистика 20-х гг. как источник по истории советской интеллигенции. М., 1985 и др.

39 См. переиздание: Судьбы русской интеллигенции: материалы дискуссий 1923–1925 гг. Новосибирск, 1991.

40 См. общие источниковедческие замечания об интеллигенции 1920-х гг.: Измозик В.С., Павлов Б.В. Проблема секретности в отношении партийного аппарата и научно-педагогической интеллигенции в 20-е годы // На подступах к спецхрану / Отв. ред. М.Б. Конашев. СПб., 1995. С. 30–43; В жерновах революции. Российская интеллигенция между белыми и красными в пореволюционные годы: сборник доку-

ментов и материалов / Под ред. М.Е. Главацкого. М.: Русская панорама, 2008; и др. См. очень важные методологические соображения М.Ю. Сорокиной в комментарии к материалу: *Week-end в Болшево, или Еще раз «вольные» письма академика В.И. Вернадского* // *Минувшее*. Вып. 23. СПб., 1998. С. 295–344.

41 *Лежнев И.* Письмо профессору Н.В. Устрялову // *Россия*. 1923. № 9. С. 6 (выделение автора).

42 *Gregor J.A.* *Mussolini's Intellectuals: Fascist Social and Political Thought*. Princeton: Princeton University Press, 2005. P. 25–60.

43 См.: *Файман Г.* Смена вех как точная наука. 1926 год. Высылка Исаия Лежнева из России // *Независимая газета*. 1995. 18 октября; *Политическая история русской эмиграции*. С. 219–225.

44 *Чудакова М.О.* Судьба «самоотчета-исповеди» в литературе советского времени (1920 – конец 1930-х годов) // она же. *Литература советского прошлого*. М., 2001. С. 414–417.

45 *Лежнев И.* *Записки современника*. Т. 1. М., 1936. С. 275–276.

46 *Чудакова М.О.* Письмо И.Г. Лежнева Сталину // *Шестые Тыннинские чтения*. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, Москва, 1992. С. 247–250 (от 26 ноября 1933 года); менее чем через месяц постановлением Политбюро он был принят в партию (Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК–ОГПУ–НКВД о культурной политике. 1917–1953 гг. / Сост. А.Н. Артизов, О.В. Наумов. М.: Международный фонд «Демократия», 2002. С. 208).

47 Устрялов после возвращения в СССР встречался с Горьким летом 1935 года, о чем оставил в дневнике очень теплые заметки. См.: «Служить родине приходится костями...» *Дневник Н.В. Устрялова 1935–1937 гг.* // *Источник*. 1998. № 5–6. С. 14–15.

48 *Лежнев И.* Михаил Шолохов. М., 1948 (первая книга о Шолохове вышла у Лежнева еще в 1941 году).

49 В советском дневнике Устрялов радостно отмечал и официальную критику «национал-нигилистической» пьесы «Богатыри» Д. Бедного и низвержение Покровского в начале 1936 года («Служить родине приходится костями...» С. 29–30, 59–60). См. общий обзор: *Бранденбергер Д.Л.* Национал-большевизм: сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания, 1931–1956 гг. / Пер. с англ. СПб., 2009 (оригин. издание 2002 года).

50 Письмо Н.Н. Былова Устрялову от 20 марта 1928 года (цит. по: *Квакин А.В.* *Между белыми и красными*. С. 186).

51 См. опубликованные материалы его переписки: «В Сталина нужно стрелять». Переписка Н.В. Устрялова и Н.А. Цурикова 1926–1927 годов // *Вопросы истории*. 2000. № 2. С. 136–143; «Эмиграция все фантазирует и пальцем в небеса хватает». Переписка Н.В. Устрялова и С.В. Дмитриевского 1932–1933 гг. // *Исторический архив*. 2000. № 3. С. 82–89.

52 «Политическая эмиграция – не наш путь». Письма Н.В. Устрялова Г.Н. Дикому. 1930–1935 гг. / Публ. О.А. Воробьева // *Исторический архив*. 1999. № 1. С. 208 (письмо от 1 февраля 1931 года).

53 Там же. № 3. С. 138 (9 марта 1934 года). Итоговым для «позднего» Устрялова стал вышедший в Шанхае сборник «Наше время» (1934).

54 *Исторический архив*. 1999. № 3. С. 160–161 (22 апреля 1935 года).

55 См. документы советского периода деятельности Устрялова: «Служить родине приходится костями...» *Дневник Н.В. Устрялова 1935–1937 гг.* // *Источник*. 1998. № 5–6; *Быстрянцева Л.А.* Устремленный к истине. Протокол допроса Н.В. Устрялова // *Клио*. 1999. № 1 (7). С. 246–256.

56 *Чернышёв С.Б.* Кальдера Россия. Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. М., 1995.

57 Новый режим. М., 2001; Термидор. М., 2002. См. публикацию середины 1990-х: *Коллеров М.А.* К истории национал-большевизма. Письмо Н.В. Устрялова к П.Б. Струве (1920) // *Россия и реформы*. Сборник статей. Вып. 3. М., 1995. С. 155–158.

58 Такой утонченный и отрефлексированный синтез, конечно, весьма отличен от прямых и упрощенных попыток «подверстать» идеи Устрялова под нынешнюю национал-патриотическую идеологию, как, напр.: *Чернавский М.Ю.* Первый национал-большевик (Н.В. Устрялов как политический писатель) // *Наш современник*. 2004. № 10 и др.

59 См. удачный опыт анализа конструирования «национального»: *Intellectuals and the Articulation of the Nation* / R. Suny, M. Kennedy (eds.). Ann Arbor, 2001.

Леонид Люкс

«Особые пути» России и Германии на примере евразийства и «консервативной революции»

1

XX столетие, окончившееся в Европе победоносным шествием либерально-демократической системы, начиналось с бунта против плюралистически устроенных обществ и отстаиваемых ими ценностей. В своем радикализме бунт этот превзошел все предшествующие волнения подобного рода. Германия и Россия образовали центр этого восстания против ценностей, которые принято ассоциировать с Западом. Конечно, необходимо иметь в виду, что этот бунт в Германии, с одной стороны, и в России, с другой, вдохновлялся диаметрально противоположными идеями. В Германии антизападное восстание было направлено в первую очередь против идеалов Французской революции, против так называемых «идей 1789 года». Этим идеалам противостоял дух лета 1914 года. Казалось, что Германии удалось создать некую альтернативу западной модели: обновленное военной эйфорией 1914 года немецкое общество. В своем патриотическом воодушевлении немцы словно бы преодолели все политические, конфессиональные, социальные и региональные конфликты. Расколота прежде нация более «не знала никаких партий».

Несмотря на то, что Германия была частью западного мира, радикальная критика многих конститутивных для этого мира ценностей являлась традиционным элементом немецкой культурной истории. Гельмут Плеснер объясняет немецкий протест против Запада, достигший своей первой кульминации в 1914 году, среди прочего тем, что Германия «пустила» XVII век, эпоху, когда началось победное шествие просвещения и политического гуманизма. В немалой степени это «упущение» было виной тому, что Германия оказалась

«опоздавшей» нацией, превратившись в противника Запада и сформировавших Запад идей¹.

Иначе обстояло дело в начале XX века в России. Здесь отталкивание от Запада вдохновлялось западными же идеями, прежде всего идеями 1789 года. В 1917 году казалось, что России суждено стать новым прибежищем идеалов 1789 года, которые якобы предала западная буржуазия.

Во второй половине XIX и в начале XX века Россия относилась к тем сравнительно немногим европейским странам, где непрерывно усиливались социальные конфликты. В Западной и Центральной Европе они, напротив, утихали. Революционная эпоха там закончилась после неудавшейся революции 1848 года. Западные правительства, до 1848 года одержимые постоянным страхом перед призраком революции, теперь могли наконец вздохнуть спокойно. После событий 1848–1849 годов в западном мире усилился процесс общественной интеграции и консолидации. При этом национализм служил объединяющей идеей, успешно отвлекавшей все более широкие слои общества от внутренних конфликтов.

Какой контраст с Россией! Сорок восьмой год практически не затронул страну, поэтому здесь не наступило и разочарование в революционной идее. В то время как на Западе многие из прежних радикалов все больше склонялись к национальной идее, в России становился все привлекательней революционный идеал. Любая критика этого идеала воспринималась радикально настроенной частью российских образованных кругов как предательство, писал в 1924 году русский философ Семен Франк. В предреволюционной России требовалось немалое гражданское мужество, чтобы открыто признаться в приверженности политике компромиссов². Как утверждает историк Теодор Шидер, бескомпромиссность и абсолютизм революционных убеждений русской интеллигенции на Западе были практически неизвестны³.

То, что после «неудавшейся революции» 1905 года впервые в истории России было введено разделение властей, что страна сделала громадный шаг к созданию плюралистического общества, не произвело почти никакого впечатления на приверженцев радикальных социальных программ. Их интересовала не эволюция, а революция, решительное уничтожение старого общества, крах старого несовер-

шенного мира и создание социального рая на земле. В сторонниках либеральной модели, понимавших политику как искусство возможного, социальные утописты видели наиболее опасных врагов, куда опаснее консерваторов, защитников *Ancien régime*. Либералы старались смягчить классовые противоречия и приглушить народный гнев. Этим они, по мнению леворадикальных критиков либерализма, в первую очередь большевиков, лишь способствовали продлению жизни обреченного на гибель порядка. Большевики играли на глубоко укорененном в народных слоях стремлении к социальной справедливости, прежде всего к социальному равенству. Российская этика – эгалитаристская и коллективистская, указывал в этой связи русский историк и философ Георгий Федотов; из всех форм справедливости равенство стоит для русских на первом месте⁴.

Но не только эгалитаристский, но и антипетровский, т.е. антизападный, пафос вдохновлял массы, восставшие в 1917 году против существующего порядка.

Радикальные критики Петра, славянофилы и евразийцы, считали, что своей реформой он уничтожил тот фундамент, на котором покоилась мощь России. Ни одному из иностранных завоевателей еще не удалось до такой степени разрушить национальную культуру и формировавшийся веками национальный уклад, отмечал один из основоположников евразийства князь Николай Трубецкой⁵. Богослов Георгий Флоровский писал в 1922 году, когда он еще принадлежал к евразийскому движению, что Петр I перенял европейские начала, оставшиеся непонятными народу, поэтому русская революция – это суд над послепетровской Россией⁶.

Евразийцами не берется во внимание, что идеализируемая ими Московская Русь постепенно начала задыхаться от своей автаркии и самодовольства, что по крайней мере со времени террора Ивана Грозного начался беспрецедентный кризис российской идентичности. Чтобы преодолеть становящуюся все более глубокой культурную стагнацию, Россия срочно нуждалась в культурных побуждениях извне, и откуда они могли прийти, если не с Запада? Не случайно, говорит Владимир Вейдле, что Петр I открыл окно не в сторону Мекки, не на Лхасу, но в Европу. Правда, согласно Вейдле, петровский замысел имел исключительно технократическую природу. Петр отождествлял культуру с технократической цивилизацией. Тем

не менее он интуитивно выбрал – через восстановление культурного единства христианского мира – плодотворный для России путь развития. Беспрецедентные достижения петербургской России были следствием петровского переворота, продолжает Вейдле свои рассуждения, но Петр также косвенно виновен и в катастрофе, которая разрушила его построение.

Вейдле, как и евразийцы, осознает хрупкость фундамента, на котором была воздвигнута петербургская Россия. Но он не видит альтернативы петровской программе. Отход от Европы для России невозможен, потому что она в результате своей христианизации стала неотъемлемой частью европейской культуры⁷.

Анализируя русскую революцию, надо подчеркнуть, что она не ограничивалась спонтанным протестом масс против творения Петра. Парадоксальным образом это народное восстание соединилось с движением, стремившимся продолжить петровский замысел. Ведь большевики ставили своей целью превратить отсталую, «полуазиатскую» Россию в передовое, промышленное, европейское государство.

Хотя большевики и закрыли открытое Петром окно в Европу и беспощадно боролись при помощи «красного» и сталинского террора с приверженцами западного пути развития, они оставались своего рода «западниками», и за это их как раз критиковали антизападно настроенные круги русской эмиграции.

2

К самым радикальным критикам Запада в русском зарубежье принадлежало уже упомянутое евразийское движение, которое в 1921 году громко заявило о себе своим программным сборником «Исход к Востоку»⁸ и призвало русское образованное сословие пересмотреть свои традиционные мировоззренческие установки. Этим оно может быть в известной степени сопоставлено с появившимся двенадцатью годами ранее сборником «Вехи»⁹. Авторы «Вех» тоже пытались своим настоятельным призывом убедить российскую интеллигенцию в том, что путь, который прошли несколько ее поколений, вел в тупик. Но этим, по сути, и исчерпывается сходство обоих сборников, которые принадлежат к важнейшим памятникам русской

истории идей в XX столетии. «Вехи» появились как бы в последнюю минуту, незадолго до русской катастрофы, которую – как возможность – предвидели авторы «Вех» и которую они пытались предотвратить своей беспощадной критикой традиционного мировоззрения интеллигенции. Основатели евразийского движения, напротив, были уже свидетелями катастрофы, из которой они пытались извлечь определенные выводы. Выводы, вызвавшие в российском обществе бурю возмущений, которую вполне можно было бы сравнить со страстной полемикой вокруг основных тезисов сборника «Вехи».

В отличие от подавляющего большинства побежденных и принужденных к бегству противников большевиков евразийцы попытались найти в русском Апокалипсисе (В. Розанов) и положительные стороны. Этот Апокалипсис, по их мнению, выявил хрупкость и искусственность петербургской государственной и культурной модели и показал, что российский путь развития с начала петровского эксперимента был тупиковым.

В то время как авторы «Вех» в своих появившихся после 1917 года трудах объясняли русскую трагедию прежде всего революционным соблазном интеллигенции, который на рубеже веков распространился и на нижние слои общества, евразийцы видели главную причину распада России в европейском соблазне образованного сословия. На первый взгляд могло показаться, что они тем самым возвращались к старому российскому спору западников и славянофилов, который к началу XX столетия уже считался преодоленным. Но восходили ли идеи евразийцев действительно к идеям славянофилов и панславистов, как полагали некоторые из их критиков, например Бердяев, видевший в евразийстве лишь нечто эпигонское и малооригинальное?¹⁰ Надо отметить, что эти критики проглядели непреодолимую пропасть между евразийцами и их якобы предшественниками. Потому что в противовес славянофильским и панславистским течениям XIX столетия в случае евразийцев речь идет не о консервативном или консервативно-либеральном, а о революционном движении. Оно приветствовало важнейшие результаты русской революции, которые, на взгляд евразийцев, состояли в том, что была устранена пропасть между европеизированным образованным сословием и народными слоями, которые все еще жили идеями допетровской России. То, что устранение этой пропасти последовало как

результат уничтожения или изгнания большей части представителей высшего сословия, что в России, по словам В. Вейдле, произошло своего рода «изгнание варягов»¹¹, евразийцев не смущало. Хотя евразийцы сами как представители образованного сословия были затронуты этим «изгнанием варягов», они считали его неизбежным. По их мнению, этим был положен конец своего рода двойному отчуждению, в котором Россия жила со времени петровских преобразований: отчуждению народных слоев от их собственного государства и отчуждению образованного сословия от собственной традиции. Евразийцы считали, что в результате восприятия западной культурной модели российское высшее сословие отказалось от центральной идеи, на которой базировалась политическая культура России; больше того, ее идентичность как таковая – от религиозно инспирированной идеи избранности Святой Руси и Московского царства. После Петра эта идея считалась «варварской», «азиатской». Отныне лишь западная культура наделялась теми атрибутами, которые прежде применялись к «Москве – Третьему Риму»¹².

Если Освальд Шпенглер предсказывал близкий конец фаустовской (западноевропейской) культуры и цивилизации, то для одного из основоположников евразийства, кн. Николая Трубецкого, конец гегемонии Европы был отнюдь не очевиден. Трубецкой опасался, что триумфальное шествие Европы в мире будет продолжаться и впредь, ибо народы все больше поддаются под коварное очарование европейской культуры. Ни в духовном, ни в политическом, ни в экономическом отношении господство Европы не поколеблено. Даже большевистская Россия, по мнению Трубецкого, становится все более зависимой от Европы. Эту зависимость не могла бы устранить мировая социалистическая революция, о которой мечтают большевики, ибо тогда Россия оказалась бы в колониальной зависимости от более «прогрессивных» социалистических стран Запада¹³. Единственную возможность обрести самостоятельность Трубецкой видит в тесном сближении с освободительным движением колониальных стран. Будущее России, следовательно, не в том, чтобы возродиться в качестве европейской державы, а в том, чтобы возглавить всемирное антиевропейское движение¹⁴.

Здесь обнаруживается удивительное сходство взглядов Трубецкого с советской геополитической концепцией, какой она складыва-

лась после революции: Россия – центральная сила, противостоящая капиталистическому Западу. В обоих случаях предполагалось, что колониальные народы будут рассматривать Россию как себе подобную, неевропейскую, угнетенную и поднимающуюся нацию, которая не хочет иметь ничего общего с эксплуататорской Европой. Это предположение оказалось ложным. Для большинства незападных стран Россия по-прежнему оставалась европейской имперской державой. Обнаружилось, что не так легко порвать с Европой, как это представлялось и большевикам, и Н. Трубецкому.

Отрицание роли России как европейской державы означало, что евразийцы внесли новый элемент в традиционную тему русской историософии – критику Запада. Этот новый элемент соответствовал революционному характеру эпохи. В старой России редко высказывались мнения подобного рода.

Евразийцы стремились к преодолению большевизма путем эволюционного обновительного процесса, постепенного воздействия изнутри. Дело дошло до того, что один из их идеологов, Н. Чхеидзе, в 1929 году выразил надежду на превращение ВКП(б) в партию евразийцев¹⁵. И он был не одинок¹⁶. Все это показывает, как далеки были евразийские философы и политики от понимания природы советской тоталитарной власти, тоталитарных партий и режимов вообще, насколько эти идеологи недооценивали способность тоталитарного режима истреблять вокруг себя все «подрывные элементы», всякую тень инакомыслия.

Критики евразийства видели некоторое сходство между евразийцами и такими тоталитарными движениями, как большевизм или фашизм. Но политическая наивность евразийцев лучше всяких доводов говорит о том, что у них не было, в сущности, ничего общего с большевиками или фашистами, отлично владевшими современной технологией неограниченной власти. Значительно больше точек соприкосновения обнаруживается у евразийцев с другими «идеократическими» течениями, которые возникли между двумя мировыми войнами и точно так же провозглашали максималистские идеи, вполне пренебрегая вопросом о власти. Особенно поразительно сходство евразийства с так называемой *консервативной революцией*, которая сыграла немалую роль в разрушении возникшей после Первой мировой войны Веймарской республики.

С этим политическим течением, противопоставившим себя либерализму и демократии, евразийцев сближала прежде всего стратегическая идея – овладеть изнутри тоталитарной партией, с тем чтобы привлечь ее приверженцев к осуществлению своих собственных целей. Вообще отношение евразийцев к большевизму очень напоминает позицию идеологов «консервативной революции» по отношению к национал-социализму¹⁷.

Определенный параллелизм заметен в политической структуре обеих группировок. Оба течения носили подчеркнуто элитарный, «аристократический» характер; оба основывались на вере во всемогущество идей. Евразиец Савицкий писал в 1923 году о том, что народы будут управляться идеями, а не учреждениями, что коммунизм можно преодолеть лишь при помощи другой, еще более высокой и всеобъемлющей идеи. Подобные высказывания о власти идей могли бы принадлежать таким ведущим представителям «консервативной революции», как Ганс Церер, Меллер ван ден Брук или Эдгар Юнг, убитый в 1934 году во время путча Рэма. Так же как немецкая «консервативная революция», движение евразийцев было восстанием молодежи против идей и целей старшего поколения. Ко времени возникновения евразийского движения Трубецкому было всего 30 лет, Савицкий и Сувчинский были еще моложе. И в обоих случаях – как у немцев, так и у русских – восстание молодых принимало неожиданные, нетрадиционные формы. В XIX веке было обычным делом, что сыновья оказывались левее отцов. После событий 1917–1918 годов это правило не соблюдалось. Теперь сыновья нередко правее своих отцов – либералов или умеренных консерваторов. На это обстоятельство указывал Трубецкой, одновременно подчеркивая, что речь идет отнюдь не о реставрации, не о тоске по старине. Нужны новые пути, ибо традиционные – левые – идеологии потерпели фиаско. Новые идеологии, писал Трубецкой, в действительности ни левые, ни правые, ибо они находятся в иной плоскости отсчета. Радикально новое есть не что иное, как обновление глубокой древности, другими словами, новая идеология ориентирована не на вчерашний день¹⁸. Евразийцы отвергают петербургскую Россию во имя Святой Руси.

Тут видна аналогия с некоторыми группировками «консервативной революции», которые отвергали Вильгельмовскую Германию во имя средневекового рейха¹⁹.

Подобно евразийству, «консервативная революция» насчитывала в своих рядах немало рафинированных умов и блестящих стилистов. В отличие от нацистских демагогов они подкапывались не только под политический, но и под духовный фундамент первой немецкой демократии. Хотя у консервативных революционеров были кое-какие предтечи (непрямые предшественники были и у евразийцев), как особое явление «консервативная революция» приобрела отчетливые черты лишь в связи с событиями 1918–1919 годов. Без «переживания войны», без Версаля и Веймара подобный идеологический феномен едва ли был возможен.

Само по себе обозначение «консервативная революция», оксюморон, составленный из несовместимых понятий, говорит о необычности, парадоксальности того, что под ним подразумевалось. «Национальная спесь, не желающая... смириться с военным поражением, – пишет в этой связи политолог Ганс Бухгейм, – пока что еще не могла двинуться на своего врага и потому ополчилась против собственного государства, как если бы ликвидация этого государства была первым условием национального возрождения»²⁰.

Отвращение к Западу и либерализму у консервативных революционеров приняло, пожалуй, еще более решительные формы, чем у евразийцев. Несомненно, это было вызвано тем, что в Германии радикальные идеологи обратили свою критику прежде всего против внутривластного противника – политического строя, установившегося после 1918–1919 годов. Евразийцы же рассматривали своего политического контрагента внутри страны – большевизм – при всех оговорках все-таки как альтернативу западной демократии²¹.

Многое из того, что присуще было советскому режиму, – террор и в особенности культурную политику советской власти – евразийцы не принимали. Пропагандируемая большевиками так называемая пролетарская культура, говорили они, на самом деле – лишь примитивное подражание все той же западной культуре. Вместе с тем евразийцы считали особой заслугой большевиков то, что те сумели в значительной мере восстановить распавшуюся в 1917 году Российскую империю. С сочувствием отнеслись евразийцы и к солидариза-

ции советского государства с колониальными народами в их борьбе против европейских метрополий²².

Что касается консервативных революционеров, то их отношение к собственному государству было непримиримым. Заимствованный у Запада либерализм был объявлен смертельным врагом немцев – да и всего человечества. Для Мёллера ван ден Брука либерализм – «моральный недуг народов»: он являет собой свободу от убеждений и выдает ее за убеждение²³. Здесь отчетливо слышится характерная для певцов «консервативной революции» наставительная, морализаторская нота. Гуманизм для авторов, находящихся под впечатлением несправедливого Версальского договора и потому готовых разрушить весь европейский порядок, – это предмет насмешек, что не мешает им, не моргнув глазом, обвинить либералов и либерализм в нравственном индифферентизме.

Неудивительно, что этот морализирующий аморализм, который дает незамедлительное отпущение грехов собственным неправедным деяниям, а противника клеймит как неисправимого злодея, так притягательно действовал на многих.

Вовлечение Германии в круг либерально-демократических государств – результат интриг коварного Запада, считает Мёллер ван ден Брук. Сам-то Запад, продолжает идеолог «консервативной революции», к либеральному яду нечувствителен, на самом деле никто там не верит всерьез в принципы либерализма. А вот в Германии их принимают за чистую монету. Не видят, что либерализм несет с собой разложение и гибель. Западные державы не сумели одолеть немцев в честном бою и теперь пытаются погубить Германию с помощью революционной и либерально-пацифистской пропаганды. И глупые немцы покорно глотают эту отраву²⁴.

То, что немецкое Верховное командование в 1917 году обеспечило Ленину беспрепятственный проезд в Россию, то, что оно рассматривало экспорт революции как законное средство борьбы с противником, попросту сбрасывалось со счетов. Нужно было любой ценой отвлечь внимание от собственной вины и собственной несостоятельности. Тем громче и назойливее были инвективы против мнимого врага. Герман Раушнинг, в прошлом сторонник консервативной революции, находил позднее, что мифы и легенды, которыми было окутано поражение Германии в мировой войне,

довели страну до состояния, близкого к массовому помешательству. По его словам, самые благородные планы и начинания не в силах удержать нацию, находящуюся в подобном состоянии, от движения к пропасти²⁵.

«Упоение» собственными национальными бедами объединялось у консервативных революционеров с безграничной манией величия. Теперь оказывалось, что единственное средство утолить страдания немцев – это мировое господство. «Владычество над землей – таково средство сохранить жизнь, предоставленное... народу перенаселенной страны, – считает Мёллер ван ден Брук. – Вопреки всем противоречиям, устремления людей в нашей перенаселенной стране направлены к единой цели: нам необходимо пространство»²⁶.

О геополитическом переустройстве мира толковали и евразийцы. Однако их программа не имела ничего общего с мечтаниями веймарских интеллектуалов. Евразийцев интересовала не власть над миром, а идейная рама для единой многонациональной российской державы. Они понимали, что пролетарский интернационализм, на основе которого большевики сплотили заново развалившееся было государство, долго не продержится. Цементировать государство он не может. Сегодня мы видим, что их сомнения были оправданны. Национальные чувства у рабочих, как правило, выражены сильнее, чем классовая солидарность, утверждал в 1927 году Трубецкой. Чтобы оставаться единым государством, Россия должна найти другую основу для своей консолидации, и такой основой может быть только евразийство, апеллирующее к тому общему, что есть у всех российских народов²⁷.

4

Двадцатые годы – это время расцвета не только евразийства, но и идей «консервативной революции». Только что закончившаяся мировая война была событием, в котором консервативные революционеры видели начало новой великой эпохи. От войны они ожидали радикального обновления общества, возможность начать все заново. Для евразийцев же роль мировой войны сыграла русская революция. В 20-х годах национал-социалистическая диктатура еще не обозна-

чилась на политическом горизонте, сталинская диктатура только начала вырисовываться. Ни в России, ни в Германии политическая реальность еще не успела принять отчетливый тоталитарный облик, казалась «экспериментальной». Это был звездный час идеократических движений, стремившихся изменить мир с помощью идей, а не громоздких и неповоротливых бюрократических аппаратов или трудно контролируемых массовых движений.

Конечно, между евразийством и «консервативной революцией» существовали немалые различия. Например, в учении евразийцев очень важное место занимала религия. Трубецкой и его последователи стремились не только к восстановлению национального величия России, но и к религиозному обновлению. Для большинства же консервативных революционеров в Германии религия почти не имела значения. Чувство уязвленного национального самолюбия – вот что доминировало в их политическом мировоззрении и отодвигало на второй план все другие духовные вопросы. По-разному относились евразийцы и консервативные революционеры к насилию. Хотя евразийцы считали революцию и Гражданскую войну неизбежными, они, несомненно, были далеки от того, чтобы благословлять насилие и террор. У евразийцев почти не встречается эстетизация насилия, типичная для многих идеологов и певцов «консервативной революции». Наконец, евразийцы, в противоположность консервативно-революционным группировкам, действовали вне пределов своей страны, их проповедь никак не влияла на ее развитие. Правда, евразийцы придавали большое значение тому, чтобы их не воспринимали как «обычную» эмигрантскую организацию. Они внимательно следили за развитием событий внутри Советского Союза, им даже казалось, что их идеи находят отклик.

Желание участвовать в политическом развитии новой России было у некоторых евразийцев настолько сильным, что они впадали в тот же соблазн, за который сами еще в середине 20-х годов порицали сменовеховцев. Их отношение к большевистскому режиму становилось все менее критическим. По этому вопросу возникли резкие разногласия, которые в 1929 году привели к расколу движения. В Париже возникло просоветское крыло евразийцев под руководством С. Эфрона и Дм. Святополк-Мирского, объединившееся во круг журнала «Евразия»²⁸.

Когда в начале 30-х годов в СССР развернулись индустриализация и коллективизация сельского хозяйства, евразийцы были очарованы гигантским размахом этих преобразований. Евразиец Пейль писал в 1933 году о триумфе новой эпохи централизованной плановой экономики, пришедшей на смену устарелому хаотическому ведению хозяйства²⁹. Для Петра Савицкого это означало конец подражания Западу. В России возникла грандиозная общественно-экономическая модель, которая в конце концов завоюет Запад³⁰. (Стоит сравнить с этим «тотальную мобилизацию» и грезы о государстве рабочих и воинов Эрнста Юнгера.)

Кончились 20-е годы, кончилось и время идеологических экспериментов. Кончилась юность самих евразийцев. Их претензии, как и претензии консервативных революционеров, повлиять «изнутри» на сталинский (и соответственно нацистский) режим обнаружили свою утопичность. Слепое послушание и безоговорочное принесение себя в жертву тоталитарному государству были принципами, на которых строились эти режимы. Таким политическим силам, как евразийцы или консервативные революционеры, там не было места. Вскоре после окончательной победы Сталина и Гитлера оба движения распались.

Сходство между евразийцами и немецкими консервативными революционерами показывает, что несмотря на отрицание Запада, идеологические и политические установки евразийства соответствовали определенным западным явлениям. Идеи евразийцев были симптомом не только российского, но и общеевропейского кризиса. Да и сами евразийцы по своим духовным устремлениям были значительно ближе к западным европейцам, чем к своим соотечественникам. Большинству тогдашней советской интеллигенции, независимо от того, знала она или нет о существовании евразийства, были вполне чужды порывы и апелляции к «Святой Руси», поиски утерянных корней и т.д. В 20-е годы в России безраздельно господствовали оптимистические взгляды на будущее, вера в науку, преклонение перед техникой³¹. Культурпессимизм евразийства отражал, по сути дела, скорее западноевропейские, чем внутрироссийские процессы и умонастроения. Это же можно сказать о критике парламентарной демократии: и здесь евразийцы опирались не на русский, а на западноевропейский опыт. Несмотря на

все попытки евразийцев отмежеваться от Запада, они оставались представителями того европеизированного слоя русского общества, устранение которого революцией 1917 года, они с таким энтузиазмом приветствовали.

5

Критики евразийства, которые сравнивают это движение с большевизмом или фашизмом, недооценивают не только политическую наивность, но и сложность евразийской культурной модели, которую не так просто было использовать для демагогических целей. И еще одно обстоятельство недооценивается многими исследователями, а именно то, что евразийцы, вопреки своей революционности, своему словесному радикализму, одной ногой еще стояли в дототалитарном XIX столетии и чувствовали себя связанными теми нормами, которые выработала эта эпоха. Это было особенно очевидно в 30-е годы, когда сталинский террор положил конец распространенным в 20-е годы иллюзиям о так называемой «нормализации» большевизма. Часть евразийцев поддалась чарам сталинской революции сверху и начала служить целям режима, не в последнюю очередь в качестве его агентов. Однако основатели движения, прежде всего Николай Трубецкой и Петр Савицкий, в ужасе отвернулись от большевистской диктатуры, которую они в свое время расценивали как недостаточно радикальную. В 1937-м – судьбоносном году сталинского режима – Трубецкой опубликовал в 12-й тетради «Евразийской хроники» свою статью под названием «Упадок творчества». Хотя статья не содержит ни единого слова о терроре, она являет собой уничтожающую критику сталинизма. Согласно автору, репрессивная политика режима привела к параличу творчества в стране: «Люди, вынужденные долго молчать, в конце концов разучиваются говорить»³². В этой порожденной партией культурной стагнации Трубецкой видит причину неспособности сталинизма создать свой собственный культурный стиль. В Советском Союзе, пишет он, осуществляется всего лишь неуклюжее подражание полностью устаревшим культурным моделям, которые доминировали в дореволюционной России в 60–70-е годы XIX столетия.

Еще в середине 20-х годов евразиец Петр Сувчинский характеризовал советскую политику как политику большого стиля. Все, что противостояло большевикам в России, было, по его мнению, провинциальным и малозначительным³³. Тот факт, что Трубецкой десятилетиями позже упрекал сталинизм в полном отсутствии стиля, показывает, насколько низко упал большевизм за это время в глазах основателей евразийского движения. Это отрезвление евразийцев удивительно похоже на те процессы, которые происходили в тогдашней Германии, а именно в лагере «консервативной революции». Так же как евразийцы в 20-е годы недооценивали тоталитарный характер большевизма, подобное же делали в Веймарской республике сторонники «консервативной революции» в отношении национал-социализма. Они упрекали его в недостаточном радикализме. Так, они насмеялись над решением Гитлера провести «легальную революцию» в Германии с помощью избирательных бюллетеней. В конце 20-х годов Эрнст Юнгер считал попытку Гитлера парламентским путем прийти к власти «ослиной глупостью»³⁴. А другой критик Гитлера, Эрнст Никиш, добавил в 1932 году: «Тот, кто борется легальными методами, не затрагивает основ системы. Тот, кто уклоняется от пробы силы, как это делает Гитлер, уже побежден»³⁵. Несмотря на подобную критику, большинство консервативных революционеров с эйфорией приветствовали лавинообразные победы НСДАП в начале 30-х годов. Эрнст Никиш и его группа «Сопrotивление» принадлежали к немногочисленным скептикам. Между тем для большинства радикальных критиков веймарской демократии, принадлежавших к консервативно-революционному лагерю, триумфальные победы НСДАП в начале 30-х годов символизировали конец ненавистной либеральной эпохи, начало национального возрождения. Лишь постепенно они начали, подобно ученику чародея, реально понимать, каких духов они вызвали к жизни. Это была утрата иллюзий. Одни из тех, кто подготовил события 30 января 1933 года, пали жертвой национал-социалистской деспотии (Эдгар Юнг), другие ушли во внутреннюю эмиграцию (Эрнст Юнгер).

Но вернемся к отношению основателей евразийского движения к большевизму. В уже упомянутой статье «Упадок творчества» князь Трубецкой утверждал, что коммунизм обречен на угасание, поскольку он полностью истощил свой творческий потенциал. Однако в

действительности этой системе, скорый развал которой он предсказывал, предстояло еще столетия решающим образом определять ход мировых событий. Таким образом, Трубецкой недооценил политическую – но не культурную – витальность коммунизма. С необыкновенной проницательностью он увидел, что идеология, которая более не в состоянии вдохновлять культурную элиту, которая терпит лишь официальный художественный канон и драконовски карает всякое отклонение от него, в конечном итоге не имеет шансов на выживание. Основатели евразийского движения рано распознали эпигонское и обывательское бесплодие сталинистского понимания культуры, которому последователи Сталина вплоть до горбачевской перестройки оставались в общем верны. Когда занимаются поисками причин развала советского режима, то ни в коем случае не следует забывать диагноз Трубецкого. Не только хозяйственная неэффективность и технологическая отсталость, но и «упадок творчества», который наблюдался в России как следствие сталинской унификации, обусловили в конечном итоге закат советской империи.

Евразийцы мечтали о том, чтобы прийти на место истощившей себя коммунистической партии. В вышеназванной статье Трубецкой писал, что положение в Советском Союзе хотя и вызывает озабоченность, но не является безнадежным: «Исход состоит в замене марксизма другой идеей-правительницей»³⁶. Для Трубецкого не было никакого сомнения в том, что эта другая идея может быть только «евразийской».

В 1938 году Трубецкой умер, и его смерть символизировала конец классического евразийства. Как тогда казалось, оно окончательно покинуло политическую сцену. Несмотря на свое безграничное честолюбие евразийцы не смогли создать действенную альтернативу коммунистической идеологии. Учение евразийцев казалось странной и окончательно закрытой главой в истории идей российской эмиграции. Однако в мире идей царят законы, которые всегда готовы преподнести сюрприз. Евразийским идеям, вроде бы канувшим в Лету в конце 30-х годов, суждено было пятьюдесятью годами позже пережить неожиданный ренессанс. Уже в конечной стадии горбачевской перестройки, когда эрозия коммунистической идеологии становилась все более очевидной, многие защитники имперской русской идеи пустились на поиски новых объединяющих начал для всех

народов и религиозных сообществ советского государства и открыли при этом евразийские идеи. Однако анализ идеологии неоевразийства, зачастую причудливой и запутанной, выходит за рамки данной статьи.

6

Вернемся к дальнейшим судьбам немецкой «консервативной революции».

Мечты консервативных революционеров о национальной диктатуре, об упразднении либерального государства «без чести и достоинства», о Германии, готовой к войне, грезящей о безграничной экспансии, вплоть до господства над миром, их тоска по сильной руке, по завершающей историю «третьей империи» закономерно должны были воплотиться в фактически установленном 30 января 1933 года Третьем рейхе. В глазах большинства радикальных критиков веймарской демократии, принадлежавших к консервативно-революционному лагерю, взлет НСДАП означал, как уже было сказано, конец ненавистной им либеральной эпохи и начало национального возрождения. Вот почему в первое время после образования Третьего рейха они относились к новому государству – не без основания – как к собственному детищу.

Упразднение веймарской демократии и отмена ограничений, наложенных Версальским договором, большинство немецких консерваторов считали выдающимся успехом Гитлера. Заключение инакомыслящих в концентрационные лагеря и превращение евреев в людей второго сорта рассматривались как вынужденные издержки. Тенденция тоталитарного режима ко все большей радикализации, таящаяся в нем угроза в конечном итоге обратится и против тех, кто его поддерживал, даже против его основателей, недооценивалась консервативными союзниками Гитлера.

Национал-социалистический режим достиг вершины своей радикальности незадолго до своего краха. Почитатель Рихарда Вагнера Гитлер пытался инсценировать гибель Третьего рейха как «сумерки богов». Гитлер считал себя и «новый порядок» апогеем немецкой истории. С его смертью должна была завершиться и немецкая исто-

рия. В марте 1945 года Гитлер заявил в беседе с министром вооружений Шпеером:

«Если будет проиграна война, исчезнет и немецкий народ. Нет необходимости сохранять основы, которые нужны немецкому народу для продолжения примитивного существования. Напротив, лучше уничтожить сами эти основы. Ибо народ проявил свою слабость и будущее исключительно принадлежит более сильному восточному народу. Все, что останется после этой битвы, и без того неполноценно, ибо все наиболее ценные представители нации погибли на фронте»³⁷.

Так крах немецкого «особого пути», сопротивления западным идеям открытого общества, правового государства и суверенности человеческой личности ознаменовался беспрецедентным саморазрушением.

7

Можно назвать своего рода парадоксом тот факт, что самая стабильная в истории Германии демократия была создана после величайшей катастрофы в истории страны. Однако оба эти явления тесно связаны друг с другом. Так как Германия в 1945 году была совершенно разгромлена, здесь не мог, в отличие от 1918 года, появиться миф о «непобежденной на поле боя нации», у которой якобы в последнюю минуту была украдена победа. После разгрома Третьего рейха не возникла в Германии, в отличие от эпохи после Первой мировой войны, и зловещая легенда об «ударе ножом в спину», так как оппозиционных группировок, которые, согласно авторам этой легенды, в 1918 году якобы предали страну, в 1945-м не существовало. Они были разгромлены нацистами уже в 1933 году, сразу же после их прихода к власти. В отличие от 1918 года в 1945 году никто не сомневался в том, кто является главным виновником войны. Берлинский историк Генрих Август Винклер пишет: «Тот факт, что главная ответственность за войну лежит на руководстве Третьего рейха, был так очевиден, что легенды о якобы ни в чем не виноватой Германии не могли охватить массы»³⁸.

Таким образом, вторая немецкая демократия могла развиваться без балласта мифов и легенд, которые в свое время отравляли поли-

тическую культуру веймарской демократии и привели в конечном итоге к ее уничтожению.

Главным уроком, который создатели второй немецкой демократии извлекли из поражения первой, заключался в их выводе, что демократия должна уметь себя защищать. Член Парламентского совета, который разрабатывал Основной Закон будущей демократической Германии, социал-демократ Карл Шмидт, говорил в сентябре 1948 года о нетерпимости, которую демократия должна проявлять по отношению к тем, кто использует демократические свободы для того, чтобы уничтожить демократию, а коллега Шмидта из партии ХСС, Швальбер, критиковал Веймарскую конституцию за то, что она врагам свободы давала чуть ли не больше свобод, чем ее защитникам, что в конце концов и привело к уничтожению немецкой демократии легальным путем³⁹.

Стоит здесь вспомнить слова русского философа Федора Степуна, эмигрировавшего в 1922 году в Германию, который уже в 1934 году, будучи свидетелем уничтожения Веймарской республики, пришел к тем же выводам, которые сформулировали 14 лет спустя «отцы» немецкого Основного Закона. Степун писал: «Демократия ... должна быть лишь демократией для демократов. Против ханжества своих врагов ей приличествуют все формы действительной самообороны. Нельзя забывать, что демократия обязана защищать не только свободу мнения, но и *власть свободы*. Если эта власть не защитима словом, то ее надо защищать мечом. Это по нашему времени положения элементарные и очевидные»⁴⁰.

Опустошительный опыт Второй мировой войны привел к коренному изменению политической культуры не только в Германии, но и на всей западной половине европейского континента. В конце концов стало понятно, что обожествление так называемого здорового национального эгоизма, характерное для XIX и первой половины XX века, ведет к катастрофе. Этот опыт лег в основу европейских процессов интеграции, которые привели к созданию Европейского сообщества, а впоследствии и Европейского союза. Принципом ЕС является добровольный отказ его членов от некоторых прерогатив национального суверенитета. Внутренняя политика ЕС – это бесконечный поиск компромиссных решений, связанный с непрерывны-

ми кризисами и конфликтами. Однако все эти конфликты решаются за столом переговоров, а не на полях сражений, как в прошлом. И уже один этот факт показывает, как невероятно изменилась политическая культура континента, в истории которого мирные эпохи были, как правило, всего лишь короткими передышками между двумя разрушительными войнами.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Plessner H. Die verspätete Nation. Stuttgart, 1974.
- 2 Франк С. Крушение кумиров. Берлин, 1924. С. 15f.
- 3 Schieder T. Das Problem der Revolution im 19. Jahrhundert, in: Staat und Gesellschaft im Wandel unserer Zeit. Studien zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. 2. Aufl., München, 1970. S. 11–57.
- 4 Федотов Г. Народ и власть // Вестник РСХД. 1969. № 94. С. 89.
- 5 I.R. (Н. Трубецкой). Наследие Чингис Хана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. Берлин, 1925. С. 35–39.
- 6 Флоровский Г. О патриотизме праведном и греховном // На путях. Утверждение евразийцев. Книга вторая. Москва – Берлин, 1922. С. 230–293.
- 7 Вейдле В. Задача России. Нью-Йорк, 1956.
- 8 Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. София, 1921.
- 9 Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909.
- 10 Бердяев Н. Евразийцы // Путь. 1925. № 1. С. 134–139.
- 11 Вейдле В. Указ. соч. С. 81.
- 12 Ср.: Савицкий П. Поворот к Востоку // Исход к Востоку. С. 1–3; Трубецкой Н. Об истинном и ложном национализме // Там же. С. 71–85; Трубецкой Н. Верхи и низы русской культуры // Там же. С. 86–103; Флоровский Г. Указ. соч. С. 231–292; Евразийство. Опыт систематического изложения. Париж, 1926. С. 29 и сл.
- 13 Трубецкой Н. Русская проблема // На путях. Утверждение евразийцев. С. 294–316; он же. Европа и человечество // Трубецкой Н. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 55–113.
- 14 Трубецкой Н. Русская проблема. С. 302–306; N.S. Trubetzkoy's Letters and Notes. Prepared for publication by Roman Jakobson. The Hague, Paris, 1975. P. 15.
- 15 Чхеидзе К. Евразийство и ВКП (б) // Евразийский сборник. 1929. № 6. С. 38–40.
- 16 См.: Сувчинский П. Идеи и методы // Евразийский временник. 1925. № 4. С. 61–63; Савицкий П. О внепартийности // Евразийская хроника. 1927. № 9. С. 10; Евразийство // Евразийская хроника. 1927. № 9. С. 6–8; Трубецкой Н. Общеевразийский национализм // Евразийская хроника. 1927. № 9. С. 28–30; Алексеев Н.Н. Евра-

зийцы и государство // Евразийская хроника. 1927. № 9. С. 31–39.

17 На тему «консервативной революции» см.: *Rauschning H.* The Conservative Revolution. New York, 1941; *Mohler A.* Die Konservative Revolution in Deutschland. Der Grundriss ihrer Weltanschauung. Stuttgart, 1950; *Sonthheimer K.* Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. München, 1968; *Sonthheimer K.* Der Tatkreis // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 6/1958. S. 229–260; *Kuhn H.* Das geistige Gesicht der Weimarer Republik // Zeitschrift für Politik. 8/1961. S. 1–10; *von Klemperer K.* Konservative Bewegungen. Zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. München, 1962; *Stern F.* Kulturpessimismus als politische Gefahr. Bern, 1963; *Breuer S.* Anatomie der Konservativen Revolution. Darmstadt, 1993; *Luks L.* “Eurasier” und “Konservative Revolution”. Zur antiwestlichen Versuchung in Russland und in Deutschland // Koenen G., Kopelew L., Hrsg: Deutschland und die Russische Revolution 1917–1924. München, 1998. S. 219–239.

18 *Трубецкой Н.* У дверей реакция? Революция? // Евразийский временник. 1923. № 3. С. 18–29.

19 См.: *Winkler H.A.* Der lange Weg nach Westen. Erster Band. Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik. München, 2002. S. 524.

20 *Vuchheim H.* Das Dritte Reich. Grundlagen und politische Entwicklung. München, 1958. S. 54.

21 См.: *Luks L.* Die Ideologie der Eurasier im zeitgeschichtlichen Zusammenhang // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 34 (1986). S. 374–395.

22 См.: *Трубецкой Н.* Мы и другие // Евразийский временник. Книга четвертая. Берлин, 1925. С. 77.

23 *Moeller van den Bruck A.* Das Dritte Reich.

24 Ibid.

25 *Rauschning H.* The Conservative Revolution. New York, 1941.

26 *Moeller van den Bruck A.* Op. cit. S. 63, 71–72.

27 *Трубецкой Н.* Общеевропейский национализм // Евразийская хроника. 1927. № 9. С. 24–30.

28 См.: *Böss O.* Die Lehre der Eurasier. Ein Beitrag zur russischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts, Wiesbaden, 1961. S. 118–123; *Wiederkehr S.* Die eurasische Bewegung. Wissenschaft und Politik in der russischen Emigration der Zwischenkriegszeit und im postsowjetischen Russland. Köln, 2007. S. 58–69; *Laruelle M.* Russian Eurasianism. An Ideology of Empire. Baltimore, 2008. P. 21–25.

29 *Пейль В.* За идеократию и план // Новая эпоха. Идеократия. Политика. Экономика. Обзоры. Нарва, 1933. С. 3–5.

30 *Савицкий П.* Очередные вопросы экономики Евразии // Новая Эпоха. С. 11–12. См. также: Евразийство. Декларация, формулировки, тезисы. Издание евразийцев. 1932. С. 16–17; Тридцатые годы. Утверждение евразийцев. Книга VII. Издание евразийцев. 1931. С. II.

31 *Федотов Г.* Новая Россия // Современные записки. 1930. № 42. С. 296–298.

32 *Трубецкой Н.* История. Культура. Язык. С. 446.

33 *Сувчинский П.* К пониманию современности // Евразийский временник. 1927. № 5. С. 20.

34 См.: *Bastian K.-F.* Das politische bei Ernst Jünger. Diss. Heidelberg, 1963. S. 59.

35 *Niekisch E.* Hitler – ein deutsches Verhängnis. Berlin, 1932.

36 *Трубецкой Н.* История. Культура. Язык. С. 448.

37 См.: *Thamer H.-U.* Verführung und Gewalt. Deutschland 1933–1945. Berlin, 1986. S. 760.

38 *Winkler H.A.* Der lange Weg nach Westen. Zweiter Band. S. 122.

39 Ibid. S. 132–133.

40 *Степун Ф.А.* Сочинения. М., 2000. С. 501.

Юрген Царуски

Некоторые аспекты идеологии «особого пути» в правовом дискурсе двух диктатур – национал-социализма и сталинизма

В своей статье я рассмотрю проявления идеологии «особого пути», особой трактовки права, характерной для двух разновидностей тоталитарных режимов. Речь идет о национал-социализме и сталинизме.

В обоих режимах существовали судебные системы и правовой дискурс, отличающиеся от европейской традиции и одновременно в чем-то схожие с ней. В соответствии с концепциями истории культуры (М. Фуко и др.) под дискурсом я понимаю определенное мышление, нашедшее выражение в текстах и соответствующей социальной практике. Правовые дискурсы обеих диктатур можно назвать особыми, если их сопоставлять с европейской традицией права. В рамках данной статьи представляется возможным проанализировать и сравнивать особые правовые дискурсы только в самых общих чертах. Я попытаюсь это сделать в виде ответа на пять вопросов.

1. Были ли заложены в историческом развитии России и Германии возможности эволюции права и правового дискурса в общеевропейском русле?

В целом, да. Правовой дискурс уже давно является общеевропейским¹. В эпоху Средневековья в Западной и Центральной Европе произошла рецепция римского права. Со времен Петра I Россия стала участником европейского правового дискурса, правда, преимущественно в качестве реципиента и без достижения положительных результатов. В XVIII веке ни одна из многочисленных комиссий, которым российские самодержцы поручали разработку

современного русского права, не справилась с этой задачей. Тем не менее заметно, что, например, в основе «Наказа» Екатерины II лежали идеи таких выдающихся философов и правоведов эпохи Просвещения, как Монтескье, Беккариа, Дидро и Д'Аламбера². Один из самых известных российских юристов XIX века Михаил Сперанский в 1812 году предложил гражданский кодекс по примеру Кодекса Наполеона, но впоследствии вынужден ограничиться кодификацией существующего русского права. При этом следует сказать, что «Свод законов», который вышел в свет в 1832 году, стал большим достижением³.

Вершиной развития российской правовой системы, несомненно, является судебная реформа при Александре II. Главной новацией в рамках этой реформы стал суд присяжных. В Германии введение этой системы юрисдикции было одним из основных требований либерального движения, которое было выполнено только вследствие революции 1848 года⁴. В отличие от России, где реформами юридической системы преимущественно занимались либерально мыслящие чиновники, в Германии на развитие правовой системы влияли также представители гражданского общества. На эту особенность формирования правового государства в Германии обращал внимание немецкий историк Томас Ниппердей. Он подчеркивал, что и представители государства, и представители гражданского общества были юристами, выпускниками одних и тех же университетов⁵.

2. Существовали ли предпосылки отклонения от европейской традиции права в обеих странах до установления тоталитарных режимов?

Что касается России, то три основных фактора можно рассматривать в качестве предпосылки появления особого тоталитарного правового дискурса. Первый из них – тот факт, что развитие правовой системы до революции 1917 года было ограничено условиями абсолютной монархии, в официальном правовом дискурсе которой не было места ни для идей конституционализма, ни для концепций прав человека. Второй фактор – низкий уровень правового сознания российской интеллигенции, на что обращал внимание, к примеру, Богдан Кистяковский в статье «В защиту права» в известном сбор-

нике «Вехи» 1909 года⁶. Следует добавить, что восприятие права исключительно в качестве инструмента господства, наиболее полно проявившееся в мышлении В. Ленина и большевиков, отражает общее состояние правосознания в России дореволюционного периода. Третий фактор – проблема имплементации правовых реформ в столь большой, многообразной стране с многонациональным, преимущественно крестьянским и в значительной мере неграмотным населением⁷. Именно вследствие этого попытка созданной после Февральской революции правительственной комиссии, в которой участвовал известный юрист А.Ф. Кони, завершить начатую еще в XIX веке либеральную реформу юридической системы не увенчалась успехом⁸.

Германия к тому времени давно была правовым государством. Как могла на такой основе вырасти одна из самых кровавых диктатур в истории? Уже в 1930 году немецкий правовед и социал-демократ Герман Геллер, анализируя угрозу фашизма, отмечал, что «закон» и «правовое государство» в Германии все больше воспринимаются только в техническом, но не в нормативном смысле⁹. Яркий пример этого можно найти в одном из важнейших комментариев к уголовному кодексу Веймарской республики, где автор, мюнхенский профессор Р. Франк, определяет понятие «конституция» как синоним «фундаментальных институтов государства», исключая из перечня этих институтов (норм) свободу прессы и свободу религии, хотя они были гарантированы статьями 118 и 135 Веймарской конституции¹⁰. Подобный образ мысли не был редкостью среди юристов того времени, став существенной предпосылкой приспособления большинства немецких правоведов к нацистскому режиму и его политике.

3. Куда ведут «особые пути» развития?

Ханна Арендт отмечала, что тоталитарный режим воспринимает себя исполнителем неподвластных людям законов. У коммунистов это законы истории и классовой борьбы, у нацистов – расистские «законы» мнимой биологии. Отсюда – пренебрежение правом и законом¹¹. «Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насильем пролетариата над буржуазией,

власть, не связанная никакими законами», – писал юрист Ленин в ответ «ренегату» Карлу Каутскому¹², который критиковал Октябрьскую революцию и большевистскую диктатуру с правовых, демократических позиций¹³. В правовом дискурсе нацистской Германии также можно найти весьма специфический, особый взгляд на право. В статье «Германское правовое государство Адольфа Гитлера» правовед и юрист Карл Шмитт, с одной стороны, утверждал, что Германия является правовым государством, ссылаясь при этом на высказывания разных высокопоставленных нацистских политиков, а с другой – резко критиковал даже чисто техническое понятие правового государства как явление «бесцеремонного индивидуализма либеральной эпохи». При этом он имел в виду, что всякий закон связывает обе стороны – и власть, и подданных, что противоречило его взглядам¹⁴. Достаточно явно его позиция была выражена в статье, опубликованной им в «Газете немецких юристов» (*Deutsche Juristenzeitung*) после «ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года, когда по поручению Гитлера были убиты более 70 членов «штурмовых отрядов» и оппонентов из консервативного лагеря. Статья вышла под заголовком «Фюрер защищает право»¹⁵. И неслучайно тот же Шмитт восхвалял пресловутые расовые «Нюрнбергские законы», называя их «конституцией свободы»¹⁶.

Цена произвола такого рода – потеря рациональности. Нельзя забывать, что современная правовая система рождалась совместно с наукой. Обе функционируют по принципу рациональности и саморефлексивности. Именно отсутствием саморефлексивности отличаются псевдорациональные дискурсы марксизма-ленинизма и нацизма, несмотря на большие различия между ними. Разрыв с принципом рациональности позволяет конструировать образ «объективного врага». Возможно, это является неизбежным следствием подобного шага. «Объективный враг» – понятие Ханны Арендт, которым она описывает тех людей, которых тоталитарная власть считает врагами, в то время как они относятся к ней в принципе лояльно или, по меньшей мере, с ней не борются¹⁷. Примеров «объективных врагов» в истории XX столетия, к сожалению, миллионы. В первую очередь это жертвы сталинского террора и почти шести миллионов евреев, убитых нацистами в годы Второй мировой войны. В сталинском терроре судебные процессы играли значитель-

ную, хотя и не самую важную роль. В массовом терроре нацизма, особенно в ходе Холокоста, роль правовой системы была второстепенной. Но даже лишение большой группы населения всех прав является частью правового дискурса, и юристы уделяли этому внимание в то время. Современные правоведы этим занимаются до сих пор в процессе восстановления прав, реабилитаций, разных форм компенсаций и т.п., что можно трактовать как возвращение к совместному пути правового развития. Если смотреть на человека через призму права, то геноцид также можно проанализировать, используя правовые категории. Виднейший историограф Холокоста Рауль Хильберг именно так поступал, анализируя разные степени лишения прав¹⁸.

4. Чем отличались друг от друга «особые» правовые дискурсы России и Германии?

Здесь мы имеем дело с контрастами. С одной стороны, Германия была намного больше интегрирована в общеевропейские процессы модернизации, в том числе и правовые. С другой – существовали газовые камеры в Освенциме, Трешлинке и других фабриках смерти, где людей убивали, как на конвейере, только потому, что они являлись представителями неполноценных – с точки зрения нацистов – рас, в первую очередь еврейской. Никогда прежде История не знала такого абсолютного стремления к уничтожению определенной массы людей. В то время в Германии шли политические процессы против различного рода оппозиционеров. Национал-социалистическая юстиция отличалась крайней жестокостью и несправедливостью, но при этом не была фикцией. Она оказалась не в состоянии так ловко бороться с «объективными врагами», как это виртуозно делали сталинские юристы, доказывавшие абсолютно все, в том числе и совершенно невозможное. Потребность стабильного функционирования немецкого общества и легитимации нацистского режима создала определенные границы использованию юрисдикции как инструмента политической борьбы.

Таких границ в Советском Союзе эпохи Сталина в принципе не существовало. Как не было и столь четко определенных категорий жертв. Решение вождя могло повлечь за собой смертный приговор

практически для каждого, даже для всем известных высокопоставленных функционеров партии. Но главной жертвой сталинского террора стал не «правлящий слой», а народ – крестьяне, рабочие, служащие. Самая большая группа жертв – миллионы умерших от голода 1932–1933 годов. До сих пор трудно оценивать эти события. Теория целенаправленного геноцида против украинского народа не является убедительной. Сталинское руководство, несомненно, несет ответственность за миллионы жертв голода по всей стране, но степень преднамеренности этой политики пока еще не в полной мере установлена¹⁹. Что касается нацистской «политики голода», то совершенно ясно, что блокада Ленинграда имела своей целью обречение его населения на смерть. Гитлер даже запретил принимать гипотетическую капитуляцию осажденного города²⁰.

Без всякого сомнения, Большой террор в значительной мере был запланированным массовым убийством. Жертвы выбирались на основе довольно широких критериев. Сравнение с образцами нацистского террора приводит к важному отличию: в рамках нацистской программы «окончательного решения еврейского вопроса» стремились убить каждого еврея, несмотря на пол или возраст. Целью было убить всех до последнего, потому что на каждого еврея нацисты смотрели как на носителя враждебных и опасных биологических свойств. Этим определялся особый статус евреев в нацистском мышлении. Если на другие народы или так называемые «расы» нацисты глядели с презрением, то на евреев – еще и с почти метафизическим страхом.

Псевдобиологический расизм во многом обуславливал безграничный радикализм нацистской системы. Модель нацистского общества – выстроенная по расовому принципу пирамида и «арийский сверхчеловек» на самой вершине ее, который никогда не будет затронут расистским террором. Поскольку обратной связи не было, расистский террор мог все больше развиваться.

В марксизме-ленинизме идеи биологического носителя враждебных свойств не существовало. Поэтому даже члены советской элиты могли превратиться и превращались в «объективных врагов», тогда когда «ариец» в Третьем рейхе мог стать врагом только на основании собственного выбора, определявшего его отношение к режиму. В то же время при сталинском режиме существова-

ла определенная возможность восстановления в правах детей репрессированных и других категорий врагов. В принципе – хотя далеко не всегда на практике – при Сталине «сын за отца не отвечал», в то время как в нацистской идеологии даже маленький ребенок из еврейской семьи рассматривался как смертельная угроза. Поэтому массовый целенаправленный террор являлся неотъемлемой составной частью нацизма – в отличие от режимов советского типа.

5. Чем заканчиваются «особые пути»?

«Особый путь» Третьего рейха закончился в мае 1945 года полной катастрофой нацистского режима. Нацизм мог существовать только в период подготовки войны и самой войны, в условиях которой мог полностью развиться его тоталитарный потенциал. Вина нацистского режима перед народами была так велика, что для него существовала только альтернатива победы или полного уничтожения. Сам Гитлер выразил подобную мысль в беседе с Геббельсом накануне нападения на Советский Союз.

Политические заключенные в тюрьмах и концлагерях, уцелевшие евреи из многих стран, угнанные на принудительные работы, были освобождены солдатами армий антигитлеровской коалиции.

Потом начался длинный и сложный путь по преодолению прошлого.

Динамика советского режима была другой. После смерти Сталина начался процесс отхода от идеологии и практики террора. Уже при Н. Хрущеве в Советском Союзе при сохранении партийной диктатуры установился посттоталитарный режим без культа вождя и массового террора против «объективных врагов». Почему стало возможным, что один генсек коммунистической партии занимался инсценировкой показательных процессов и руководил массовым террором, а другой – сделал ставку на демократию, которая «нам нужна как воздух»? По моему мнению, одной из важных причин этого является амбивалентность марксистского утопизма.

Цель марксистской утопии – общество равных и свободных людей, живущих в полном изобилии. Это не имеет ничего общего с фашистской идеологией, поскольку отражает в специфической форме идеалы Просвещения и гражданского общества. Но марксизм,

особенно марксизм-ленинизм, не признал концепцию прав человека, рассматривая ее как выражение буржуазной идеологии. Полюсы амбивалентности марксизма-ленинизма определялись созданием принципиально гуманистического образа человека, с одной стороны, и отсутствием этической и правовой концепции, которая могла бы защищать от инструментализации каждого человека в целях «классовой борьбы», – с другой. Конец «особого пути» Советского Союза был достигнут, когда этот утопизм утратил силу и генеральный секретарь ЦК КПСС М. Горбачев признал приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Häberle P. Europäische Rechtskultur. Versuch einer Annäherung in zwölf Schritten. Frankfurt a. M., 1997; Küpper H. Einführung in die Rechtsgeschichte Osteuropas. Frankfurt a. M., 2005. S. 15.

2 Смыкалин А.М. История судебной системы в России. М., 2010. С. 63.

3 Küpper H. Op. cit. S. 143, 146–148.

4 Blasius D. Der Kampf um die Geschworenengerichte im Vormärz // Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.), Sozialgeschichte Heute. Festschrift für Hans Rosenberg zum 70. Geburtstag. Göttingen, 1974. S. 148–161.

5 Nipperdey T. Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. II: Machtstaat vor der Demokratie. München, 1992. S. 182.

6 Kistjakovskij B. Zur Verteidigung des Rechts // Vechi, Wegzeichen. Zur Krise der russischen Intelligenz. Eingeleitet und aus dem Russischen übersetzt von Karl Schlögel. Frankfurt a. M., 1990, S. 212–250. (Вехи. М., 1909); статья также опубликована в Интернете: [http://www.kursach.com/biblio/0010016/413_1.htm#_ftn1].

7 Baberowski J. Autokratie und Justiz. Zum Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Rückständigkeit im ausgehenden Zarenreich. Frankfurt a. M., 1996.

8 Browder R.P., Kerensky A.F.(eds.) The Russian Provisional Government 1917. Documents, Bd. 1, Stanford, 1961. P. 210 ff.

9 Heller H. Rechtsstaat oder Diktatur. Tübingen, 1930. S. 11.

10 Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich nebst dem Einführungsgesetz hrsg. und erläutert von Reinhard Frank. Tübingen, 1931. S. 251 ff.

11 Arendt H. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus. 8. Aufl. 2001. S. 957 f. (Первое немецкое издание: Frankfurt a. M., 1955.)

12 Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский. М., 1918 [<http://libelli.ru/works/37-7.htm>].

13 *Salvadori M.L.* Sozialismus und Demokratie. Karl Kautsky 1880–1938. Stuttgart, 1982; *Zarusky J.* Demokratie oder Diktatur: Karl Kautskys Bolschewismuskritik und der Totalitarismus // Schmeitzner M. (Hrsg.): Totalitarismuskritik von links. Deutsche Diskurse im 20. Jahrhundert. Göttingen, 2007. S. 49–68.

14 *Schmitt C.* Der Rechtsstaat // Frank H. (Hrsg.) Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung. München, 1935. S. 3–10.

15 *Schmitt C.* Der Führer schützt das Recht. Zur Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 13. Juli 1934 // Deutsche Juristenzeitung Heft 15 vom 1. August 1934, Spalten 945–950.

16 *Gross R.* Carl Schmitt und die Juden. Frankfurt a. M., 2000. S. 117.

17 *Arendt H.* Op. cit. S. 878 f.

18 *Hilberg R.* Die Vernichtung der europäischen Juden. Frankfurt a. M., 1990.

19 *Sapper M., Weichsel V., Gebert A.* (Hrsg.) Vernichtung durch Hunger. Der Holodomor in der Ukraine und der UdSSR. Berlin 2004 (= osteuropa 54. Jahrgang/Heft 12/Dezember 2004).

20 *Ganzenmüller J.* Das belagerte Leningrad 1941–1944. Die Stadt in den Strategien von Angreifern und Verteidigern. Paderborn, 2005.

Сергей Магарил

Мифология «Третьего Рима» в российском образованном сообществе

*Интеллигенция – это слово не точно; значит не то,
что хочет обозначать. Почему бы не остановиться на
старом и привычном понятии «образованный человек»?*

В.О. Ключевский. Об интеллигенции

Характерная особенность России XX века – двукратный распад государственности, последовательный крах имперского и социалистического проектов. Первый русский Нобелевский лауреат И. Павлов утверждал: «Судьбу наций определяет ум интеллигентский». Из этого следует: какова интеллигенция – таково и государство. Действительно, кто учил будущую государственную бюрократию, если не университетская интеллигенция? А каково государство – такова и судьба народа. Таким образом, для будущего России основополагающей является именно проблема интеллигенции, претендующей на роль хранителя национального интеллекта, гуманистических идеалов и ценностей. Какое же влияние оказывает образованное сообщество России на ее историческую судьбу?

В течение XX века российская интеллигенция дважды была инициатором масштабных социальных сдвигов. В обоих случаях действительность оказалась бесконечно далека от ее ожиданий: основная масса интеллигенции была вытеснена на социальную обочину, маргинализована и обращена в аутсайдеров. Приходится признать, что базовые представления образованных групп общества о российском социуме не соответствуют реальным закономерностям существования и исторического движения этого социума. Отсюда возникает необходимость попытаться разобраться в истоках и причинах столь неадекватных социально-исторических концепций, в том числе и концепции «особого пути» России.

1. Истоки русского мессианства

Со времен Средневековья центральной идеей российского мировидения и миропонимания являлось утверждение уникальной исторической роли России: «Москва – Третий Рим». Считается, что эту доктрину сформулировал в первой трети XVI века старец псковского Елеазарова монастыря Филофей. В послании к царю Ивану III он писал: «... вся христианская царства снидошася въ твое едино, яко два Рима падоша, а третей стоять, а четвертому не быти».

Ортодоксальное сознание книжников средневековой Московии увидело неопровержимую причинно-следственную связь между двумя историческими событиями – падением Константинополя в 1453 году под ударами магометан (турок) в результате отступления Византии от чистоты православной веры и освобождением Руси от гнета магометан – татаро-монгольского ига в 1480 году.

Как иронизирует В. Ключевский, «сметливый ум русского книжника» нашел внутреннюю связь между крушением Константинополя и возвышением Москвы: «В Византии пало истинное благочестие, а Русь засияла паче Солнца во всей поднебесной, и ей суждено стать вселенской преемницей Византии... Русская земля, еще недавняя идолослужительница, темное захоlustье Вселенной, явилась в глазах самодовольного русского книжника последним и единственным в мире убежищем правой веры и истинного просвещения; Москва, до которой не дошел ни один апостол, как-то оказалась Третьим Римом, московский царь остался единственным христианским царем во всей Вселенной, а сам он, этот московский книжник, еще недавний “новоук” благочестия, вдруг очутился единственным блюстителем и истолкователем истинного христианства, весь же остальной мир погрузился в непроницаемый мрак неверия и суемудрия»¹.

От прежнего смирения русского образованного человека мало что осталось. «Из скромной и трудолюбивой пчелы, – по мнению Ключевского, – он превратился в кичливого праздношлота, исполненного “фразерства и гордыни”, проникнутого нехристианской нетерпимостью. Не находя истинного православия нигде за пределами Русской земли, он неправославных христиан не хотел удостоить даже звания христиан, тогда как его предшественник, русский образованный летописец XII века, немцев-католиков, ходивших в Третий Крестовый поход биться за Гроб Господень, не усомнился

признать «святыми мучениками, проливавшими кровь свою за Христа... Читать книги – доброе дело, писали на Руси в XI веке. Высшей похвалой для образованного русского человека было сказать о нем, что он “муж книжен и философ”... Во время Мономахов и Мстиславов в Киевской Руси были училища с языками латинскими и греческими. А в правление Иоаннов в Московии не стало хватать школ начальной грамотности»².

Важнейшая причина столь печального положения – трагическая отсталость образования, за что ответственность несет Русская православная церковь (РПЦ), не исполнившая в средневековом обществе роль его просветителя. Действительно, «из эпохи монгольского ига РПЦ вышла крупнейшим собственником, сосредоточив в своих руках треть земельных фондов Великого княжества Московского. Она была самым активным предпринимателем и самым богатым ростовщиком в стране. Землевладельцы завещали ей земли на помин своих душ. Она захватывала, покупала, отсуживала, отбирала за долги все новые и новые земли, “обеляя” их своими неприступными иммунитетами. Она становилась все богаче...»³

В домонгольский период общее число монастырей и монашеских общин было относительно невелико. По данным летописей, в XI–XIII веках на Руси насчитывалось около 70 монастырей. В период татаро-монгольского ига их количество значительно возросло (к середине XV века – более 180). Однако, несмотря на огромные материальные возможности, РПЦ не озаботилась восстановлением обучения народа грамоте, существовавшего до монголов.

О состоянии народной грамотности свидетельствует архиепископ Новгородский Геннадий: «Приведут ко мне посвящать в попы мужика. Я приказываю ему читать апостол, а он и ступить не умеет; приказываю дать ему псалтырь, а он и по той еле бредет. Я отказываю, а на меня жалобы; земля, Господине такова, что не можно найти, кто бы горазд был в грамоте»⁴. И это происходит в Новгороде, о котором академик В. Янин, опираясь на данные многолетних археологических раскопок, пишет: «Новгородец в своей массе был грамотнее русских людей из других областей России»⁵.

В XVI веке положение лишь усугубилось. Появились учителя, наставлявшие юношество не читать много книг, страшая последствиями этого опасного занятия. Теперь образованный человек хвас-

тался своим незнанием философии и презрением к ней. «Братия! – поучал он. – Не высокоумствуйте; если кто тебя спросит, знаешь ли философию, ты отвечай: “Эллинских борзостей не знах, ни ритарских астрономов не читах, ни с мудрыми философами не бывах, философию ниже очима видех”»⁶. Прежде русский книжник любил переведенные с греческого статьи по разным отраслям знания: по минералогии, логике, медицине, риторике. Теперь же русский книжник неистово вопил: «Богомерзостен перед богом всяк любя геометрию; не учен я словом, но не разумом, не обучался диалектике, риторике и философии, но разум Христов в себе имею»⁷.

По мнению Ключевского, этот «самонадеянный грамотей и оказался новым типом русского интеллигента. Его характерные особенности – гордость личная и национальная; не столько разумение жизни, сколько притязание на разумение. А осенявшая русскую землю пятивековая православная старина была признана светильником, долженствующим и впредь освещать исторический путь русскому обществу... Объявив себя единственным в мире обладателем правой веры и благочестия, образованный русский человек XVI века решил, что и далее русское общество должно довольствоваться умственным и нравственным запасом, накопленным в предшествующие пять веков, с его недодуманными, расколотыми представлениями, хаотическими ощущениями, со всем его праздничным и будничным двоемыслием»⁸.

Творца Вселенной русское общество представляло своим собственным русским Богом, никому более не принадлежащим и никому более не ведомым⁹. Самонадеянные претензии на духовное и нравственное превосходство московитов непостижимым образом сочетались с массовым упадком нравов. Иван IV предъявил на Стоглавом соборе иерархам Русской церкви обличительный доклад, из которого следовало: «Православные миряне не научены никакому благочестию, не умеют молиться, в церкви ведут себя, как в корчме: стоят в шапках, празднословят, шумят и смеются, ругаются так, что и у иноверцев не творится такого бесчиния, заражены пороками, которые и называть противно, что и пастыри не лучше своей паствы, сами живут во всяком безчинии и пьянстве, церковные службы совершают не по уставу, в церквах на глазах мирян, пьяные сквернословят и дерутся, грамоте плохо знают, что еще хуже – и учат, бого-

службные книги не умеют переписать правильно, в монастырях все зло совершаются»¹⁰.

«Позднее, когда начали править испорченный невеждами текст богослужебных книг, поднялось много вопросов, касавшихся не только грамматики, риторики, но и философии, и богословия, а русский интеллигент не знал этих наук и, стоя перед новыми задачами, или оставался нем, связан безгласием и пленен неразумием, или злился и кричал без толку о гибели древнего благочестия, о вторжении латинских ересей в церковь Христову. Он знал возвышенную легенду о нравственном падении мира и о преображении Москвы в Третий Рим. Он мог по пальцам пересчитать все ереси римские и лютторские... а вопиющих домашних пороков не знал или притворялся не замечающим», – отмечает Ключевский¹¹.

Церковь не без оснований опасалась европейского рационально-критического знания. Во многом именно благодаря ее «стараниям» первый российский университет опоздал по сравнению с первым европейским на 700 лет. Если на период монгольского завоевания приходится 250 лет, то остальные 450 – по большей части, результат противодействия Церкви и находившихся под ее влиянием государей.

В Европе XII–XIV века стали периодом массового учреждения университетов – подлинной школы национального самообразования и рационально-критического мышления. К XV веку здесь насчитывалось 65 университетов, где, помимо богословия, изучали римское право, медицину, искусство, а в дальнейшем и естественные науки. Большинство университетов возникло на основе монастырских школ¹².

В университетах переиздавали классиков античной мысли. Причем уже типографским способом, что весьма способствовало распространению знаний в обществе. Университетам с самого их основания принадлежала важнейшая роль в формировании рациональной правовой системы Запада; опирающегося на право государства и массового правосознания. Тем самым университеты внесли важнейший вклад в преобразование вчерашних варваров в законопослушных граждан правовых государств современной Европы.

Иное в России. Русская православная церковь отнюдь не стремилась воспитать в народе понимание ценности образования. Опасаясь «западного, католического религиозного влияния и латинской обра-

зованности, она не осуществила своевременно реформирование системы образования с учетом потребностей времени... Московская Русь в лице духовенства долго и упорно сопротивлялась распространению западной... образованности, основы которой составляла экспериментальная наука, естествознание и философия. Церковные иерархи полагали, что обращение к достижениям человеческого разума вместо Священного писания вовлечет Россию во тьму поганьских наук, поскольку ценность человеческого разума несовместима с духовными ценностями православия»¹³. Английский посланник Флетчер (XVI век) отмечает: священники «всеми средствами стараются воспрепятствовать распространению просвещения»¹⁴.

Верным союзником церкви в противодействии просвещению была и светская власть. В книге Ключевского «Сказания иностранцев о Московском государстве» ни в одном из 12 разделов, описывающих различные стороны жизни Московской Руси XV–XVII веков, не говорится об образовании – нет свидетельств. Зато есть свидетельства прямо противоположного свойства. Упомянутый Флетчер в одном из писем в Лондон пишет, что «цари... не позволяют подданным выезжать из отечества, боясь просвещения, к коему россияне весьма способны, имея много ума природного»¹⁵.

Воинствующая ортодоксия церкви препятствовала формированию в массовом сознании представлений о ценности образования. Первый русский политэконом из крестьян Иван Посошков в «Книге о скудости и богатстве», написанной для Петра I, сетуя на неграмотность крестьян, советовал реформатору «поневолять крестьян», чтобы детишек учили грамоте. В «цыфирные школы», открытые по указу Петра I, недорослей набирали с превеликим трудом, и через 15 лет по смерти императора эти школы прекратили свое существование. Противодействие образованию РПЦ оказывала и в дальнейшем. Недаром, проектируя в 1760 году привилегии Петербургского университета (при Академии наук), М. Ломоносов был вынужден включить статью: «Обязать духовенство не ругать наук в проповедях»¹⁶.

Извечные ограничения, чинимые властями в деле образования, а также общественные нравы первой трети XIX века весьма выразительно изобразил Н. Карамзин: «Гнушаясь бессмысленным правилом удерживать умы в невежестве, чтобы властвовать тем спокойнее, он (Александр I. – С.М.) употребил миллионы для основания уни-

верситетов, гимназий, школ... К сожалению, видим более убытка казне, нежели выгод для Отечества. Выписали учителей, не приготовив учеников... число их так невелико, что профессора теряют охоту ходить в классы. Вся беда от того, что мы образовали свои университеты по немецким, не рассудив, что здесь иные обстоятельства. В Лейпциге, в Геттингене надобно профессору только стать на кафедру – зал наполнится слушателями. У нас нет охотников для высших наук. Дворяне служат... купцы желают знать существенно арифметику или языки иностранные для выгод своей торговли. В Германии сколько молодых людей учатся в университетах для того, чтобы сделаться адвокатами, судьями, пасторами, профессорами! Наши стряпчие и судьи не имеют нужды в знании римских прав; наши священники образуются кое-как в семинариях и далее не идут»¹⁷.

Иначе смотрел на образование Николай I. Его взгляды характеризует эпизод, относящийся к началу царствования. По распоряжению императора, желавшего уяснить причины восстания декабристов, Пушкин написал записку, так и не увидевшую свет при жизни поэта. По прочтении Николай соизволил глубокомысленно на ней начертать: «... Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению... безнравственному и бесполезному»¹⁸.

Императору вторил министр народного просвещения А. Шишков. Он полагал, что «обучать грамоте весь народ или несоразмерное числу оного количество людей, принесло бы более вреда, нежели пользы. Наставлять земледельческого сына в риторике было бы приуготовлять его быть худым и бесполезным или еще вредным гражданином»¹⁹. Стоит ли удивляться, что в 1840-е годы из гимназического курса были исключены последние остатки философских и общественных наук, а от статистики отсечены «рассуждения, имеющие связь с политическими науками»²⁰.

О вреде элементарной грамоты для русского народа порой высказывались люди весьма достойные, чье мнение немало значило в обществе. Вот суждение классика: «Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки... есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени... Народ наш не глуп, что бежит как от черта, от всякой письменной бумаги... По-настоящему ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых»²¹. И дей-

ствительно, народ считал «чтение грамоты между смертными грехами»²².

Менее всего было сделано Министерством народного просвещения для начального образования и приходских училищ. Заботы о просвещении крепостных крестьян целиком были предоставлены помещикам. Рескрипт 1837 года предписывал, «чтобы в училищах, кои существуют или могут быть заведены помещиками для обучения крепостных их людей... сохраняемы были те же пределы, какие поставлены для училищ низших. Уездные предводители дворянства обязаны иметь за сим самый точный надзор, донося под их ответственность по инстанциям о всяком отступлении, какое будет замечено»²³. В итоге «грамотным ко времени освобождения крестьян было менее 10% населения»²⁴.

В 1850 году во всех университетах России учились всего 3018 студентов. При утверждении программ курсов требовалось, чтобы в лекциях «не было ничего, не согласного с учением православной церкви». Министр народного просвещения князь Ширинский-Шихматов был убежден: «Польза философии – не доказана, а вред от нее возможен». «Впредь все науки должны быть основаны не на умствованиях, а на религиозных истинах, связанных с богословием». И потому преподавание философии было прекращено, а преподавание логики и психологии возлагалось на профессоров богословия²⁵.

Как писал цензор и академик А. Никитенко, «дело Петра Велико-го и теперь имеет врагов не меньше, чем во времена раскольничьих и стрелецких бунтов... Просвещение застывает, цепенеет, разлагается»²⁶. Столь же печально мнение знаменитого историка С. Соловьева: «Начиная с Петра и до Николая, просвещение всегда было целью правительства. Век с четвертью толковали только о благодетельных плодах просвещения, указывали на вредные последствия невежества в суевериях. По воцарении Николая просвещение перестало быть за-слугой, стало преступлением в глазах правительства»²⁷.

Десятилетия спустя Ф. Степун напишет о попечении умственно-го развития народа: «Министерство народного просвещения проявляло упорную заботу о том, чтобы русский народ как можно медленнее продвигался по путям просвещения... Народ вплоть до революции был огражден от влияния культуры не только историче-ски сложившимся убожеством своих хозяйственных форм, но, сверх

того, еще и просветительной политикой власти, стремившейся по своим корыстно-династическим соображениям держать Россию в темноте. В результате, при слабости русской буржуазии и догниваю-щем на корню дворянстве, решающую роль в революции сыграло культурно никак не воспитанное, культурно бесформенное... убо-гое... определенно религиозное мужичье сознание»²⁸.

Не заблуждался по поводу установленных им порядков и сам Николай I. С прямолинейностью фельдфебеля на троне он отчека-нил: деспотизм «составляет сущность моего правления, но он согла-сен с гением нации»²⁹.

Острые наблюдения о той эпохе оставила Анна Тютчева. Дочь поэта, фрейлина Марии Александровны, супруги наследника пре-стола, а затем императора Александра II, она выразительно обрисо-вала общественную атмосферу, насаждаемую императорским дво-ром в тридцатилетнее правление Николая I. По мнению Тютчевой, император

...был Дон Кихотом самодержавия, Дон Кихотом страшным и зловред-ным, потому что обладал всемогуществом, позволявшим ему подчинять все своей фантастической и устарелой теории и попирает ногами самые законные стремления и права своего века.

От своего народа он требовал безусловную пассивную покорность... Его самодержавие было для него догматом и предметом поклонения... С глубоким убеждением и верою великого жреца этой религии он стремил-ся сохранить этот догмат во всей чистоте на Святой Руси, защищая его от посягательств рационализма и либеральных устремлений века... Как у всякого фанатика, умственный кругозор его был паразитически ограничен его нравственными убеждениями... Повсюду вокруг него в Европе под ве-янием новых идей зарождался новый мир, но этот мир индивидуальной свободы и свободного индивидуализма представлялся ему во всех своих проявлениях лишь преступной и чудовищной ересью, которую он был призван побороть, подавить, искоренить...

В течение трех десятилетий император был для России тираном и де-спотом, систематически душившим в управляемой им стране всякое про-явление инициативы и жизни. Угнетение, которое он оказывал, не было угнетением произвола, каприза, страсти; это был самый худший вид уг-нетения – угнетение систематическое, обдуманное, самодовлеющее, убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только

на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, его совесть и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки. Отсюда в исходе его царствования всеобщее оцепенение умов, глубокая деморализация всех разрядов чиновничества, безвыходная инертность народа в целом.

Николай нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груды колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью, и ни общественное мнение, ни частная инициатива не имели права на них указывать, ни возможности с ними бороться³⁰.

Поражение в Крымской войне (1853–1856) наглядно продемонстрировало техническую и социально-экономическую отсталость Российской империи. Экспедиционный англо-французский корпус нанес поражение русской армии на ее территории, находясь за тысячи километров от своих баз. Тютчева пишет:

В самом начале Восточной (Крымской. *С.М.*) войны армия – эта армия, столь хорошо дисциплинированная с внешней стороны, – оказалась без хорошего вооружения, без амуниции, разграбленная лихоимством и взыточничеством начальников, возглавляемая генералами без инициативы и без знаний; оставалось только мужество и преданность ее солдат, которые сумели умирать, не отступая там, где не могли победить вследствие недостатка средств обороны и наступления. Финансы оказались истощенными, пути сообщения через огромную империю непроездными, и при проведении каждого нового мероприятия власть наталкивалась на трудности, создаваемые злоупотреблениями и хищениями³¹.

Характерна запись фрейлины о боях за Севастополь:

Севастополь в опасности! Укрепления совершенно негодны, наши солдаты не имеют ни вооружения, ни боевых припасов; продовольствия не хватает. Какие бы чудеса храбрости не оказывали наши несчастные войска, они будут раздавлены материальным превосходством наших врагов. Вот 30 лет, как Россия играет в солдатики, проводит время в военных упражнениях и в парадах, забавляется смотрами, восхищается маневрами. А в минуту опасности она оказывается захваченной врасплох и беззащитной. В головах этих генералов, столь элегантных на парадах, не оказалось

ни военных познаний, ни способности к соображению. Солдаты, несмотря на свою храбрость и самоотверженность, не могут защищаться за неимением оружия и часто за неимением пищи... Все так привыкли беспрекословно верить в могущество, в силу, в непобедимость России. Говорили себе, что если существующий строй тягостен и удушлив дома, он, по крайней мере, обеспечивает за нами во внешних сношениях и по отношению к Европе престиж могущества и бесспорного политического и военного превосходства. Достаточно было дуновения событий, чтобы рушилась вся постройка... Мелочи, на которые мы потеряли тридцать лет, привели только к тому, что мы оказались неспособными к решению серьезных стратегических вопросов³².

Вскоре после окончания Крымской войны, в августе 1856 года, Тютчева запишет в своем дневнике: «Я не могла... не задавать себе вопроса, какое будущее ожидает народ, которого высшие классы проникнуты глубоким растлением благодаря роскоши и пустоте и совершенно утратили национальное чувство и особенно религиозное сознание... Низшие же классы погрязают в рабстве, в угнетении и систематически поддерживаемом невежестве»³³. Дальнейший ход истории наглядно продемонстрировал: опасения умной и проницательной фрейлины были более чем правомерны.

2. Славянофильская версия идеи «Москва – Третий Рим»

При чтении подобных свидетельств современников о характере социально-властных отношений в России первой половины XIX века возникают естественные вопросы.

Как в этой общественной атмосфере оказались возможны представления славянофилов о той выдающейся роли интеллектуального и духовного лидера Европы, которую они в обозримом будущем пророчили России?

Каким образом архаика многомиллионного населения, о котором К. Кавелин писал: «огромная, несметная масса мужиков, не знающих грамоте, не имеющих даже зачатков религиозного и нравственного наставления»³⁴, могла, в представлении славянофилов, трансформироваться в потенциал общеевропейского духов-

но-нравственного обновления? При этом мышление самих идеологов славянофильства – И. Киреевского, А. Хомякова, А. Кошелева, Ю. Самарина – оказалось, по мнению М. Гершензона, тем каналом, через который «в русское общественное сознание хлынуло веками накопившееся... мироощущение русского народа»³⁵, мироощущение, созданное вековыми напластованиями невежества, косности, предрассудков, православного «обрядоверия и ритуала» (Н. Бердяев).

По мнению П. Маслова, выходца из крестьян, сумевшего получить университетское экономическое образование, российское крестьянство XIX века жило представлениями XV–XVI веков³⁶.

На средневековое сознание миллионов безграмотных крестьян последней трети XIX века, не способных строить новую европеизированную Россию, указывал и Г. Федотов³⁷.

Славянофилы предлагали Европе вернуться в ее прошлое?

Выразительны наблюдения посла Франции в предреволюционной России М. Палеолога: «Социальный строй России проявляет симптомы грозного расстройств и распада. Один из самых грозных симптомов – та пропасть, которая отделяет высшие классы русского общества от масс. Никакой связи между двумя этими группами; их разделяют столетия»³⁸.

С чем могла прийти в Европу Русская православная церковь – субкультура догматического типа с ее неприятием Католической церкви и просвещения? Какие нравы могла принести РПЦ, в монастырях которой «вместе с монахами жили миряне с женами и с детьми, а в иных монастырях живут черницы и миряне – холостые и с женами... В других монастырях чернецы и черницы живут вместе. Во всех монастырях – пьянственное питье безмерное среди игуменов, чернецов и мирских попов. По кельям инде женки и девки небрежно, не скрываясь, приходят, а робята молодые по всем кельям живут невозбранно»³⁹.

Каким общественно-историческим проектом Россия могла привлечь Европу? Самодержавием, против которого, даже в его умеренной форме, неоднократно поднимала восстания Польша; а одно из таких восстаний – в 60-х годах XIX века – поддержало общественное мнение Европы?

Чему могла научить европейцев Россия, не освоившая, как пока-

зал XX век, ни идеалов христианского гуманизма, ни идеи права, ни идеи развития? Малочисленные образованные группы российского общества создали величайшую культуру, всемирно признанную русскую литературу. Однако это оказалось отнюдь не тождественно освоению этой же культуры многомиллионным народом России. И потому закономерно, что выдающаяся отечественная гуманистическая литература XIX века не оказала существенного гуманизирующего влияния на российский XX век.

Славянофилы надеялись, что Европа добровольно признает «превосходство» России? И это после того, как из группы юношей, посланных Борисом Годуновым в Европу для обучения, не вернулся ни один? Как позднее писал Г. Котошихин, «для науки... в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благу, начали б свою веру отменять и приставать к другим и о возвращении к домам своим никакого бы попечения не имели и не мыслили...»⁴⁰

Приведенные соображения неизбежно вызывают вопрос о том, какие методы, способы, приемы видели и намерены были использовать славянофилы для того, чтобы неграмотная Россия сумела убедить в своем превосходстве существенно более образованную, культурно и технически продвинутую, но, по их мнению, «загнивающую» Европу? Не оставляющие сомнений ответы дают сами носители идеи «особой исторической судьбы», особого предназначения России. Осмысливая носившиеся в общественной атмосфере идеи панславизма, Ф. Тютчев с присущим ему поэтическим блеском напишет:

Москва, и град Петров, и Константинов град
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы –
На север, на восток, на юг и на закат?

Грядущим временам судьбы их обличат...
Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

1848 (1849)

И своды древние Софии
 В возобновленной Византии
 Вновь осенят Христов алтарь
 Пади пред ним, о царь России,
 И встань как всеславянский царь.

1850

Подобные соображения об особой миссии России опирались на патриотические воспоминания о военных успехах России со времен Петра I, в том числе о победоносных русско-турецких войнах в период правления Екатерины II. Однако в XIX веке никакие государства – ни на Ганге, Евфрате или Босфоре, ни даже на Эльбе и Дунае – уже не изъявляли желания добровольно войти в состав Российской империи. И если принять во внимание действия России в Царстве Польском, то единственным способом основать всеславянское православное царство со столицей в Константинополе оставалась военная экспансия. Отнюдь не случайно известный историк М. Погодин вопрошал: «Может ли кто состязаться с нами и кого не принудим мы к послушанию? Не в наших ли руках судьба мира, если только мы захотим решить ее?»⁴¹

Подлинным идеологом вселенского превосходства русских был гениальный Ф. Достоевский. Устами одного из своих героев – Шатова – он заявил: «Если великий народ не верует, что в нем одна истина (именно в нем одном и именно исключительно), если не верует, что он один призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал... Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве и даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою... Но истина одна, а стало быть, только единый из народов может иметь Бога истинного... Единый народ-богоносец – русский народ»⁴².

Правда, в дальнейшем представления о русском народе как народе глубоко и искренне приверженном православию, носителе высокой нравственности и духовности подверглись переосмыслению. По мнению академика Пивоварова, реально столкнувшись с целым рядом «коренных исторических черт, психологических комплексов, утопий и пр. русского человека», интеллигенции при-

шло сполна убедиться в «невысоком моральном качестве русского народа»⁴³.

Тот же Достоевский с бесстрашной откровенностью сформулировал и стратегические цели славянофилов: «Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки... Россия будет владеть Константинополем и его необходимым округом, равно Босфором и проливами, будет содержать в нем войско, укрепления и флот, и так должно быть... И займет теперь Россия Константинополь... единственно потому, что у ней, в задачах ее и в назначении ее, есть кроме славянского и другой вопрос, самый великий для нее и окончательный, а именно Восточный вопрос, и что разрешиться этот вопрос может только в Константинополе»⁴⁴.

Эта стратегема была изложена писателем в начале Русско-турецкой войны на Балканах 1877–1878 годов. Но эти же цели присутствовали и среди мотивов предшествовавшей ей Крымской войны 1853–1856 годов. Однако результаты обеих кампаний продемонстрировали несостоятельность притязаний России, пытавшейся во второй половине XIX века реализовать геополитические идеи славянофилов. Не смогла Россия разрешить Восточный вопрос и в XX веке, хотя стремление получить контроль над проливами, согласно секретным протоколам союзников, было среди мотивов ее вступления в Первую мировую войну. Но условия для успеха подобной экспансии остались в прошлом. Ни захватить Константинополь, ни установить контроль над проливами так и не удалось. Более того, стремление реализовать утопические цели привело к краху самой Российской империи.

Отмеченное устойчивое воспроизводство нежизнеспособных утопий нуждается в объяснении. Одно из возможных – связано с многовековым опозданием России с учреждением университетского образования. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, англичанин Т. Шанин отметил: «Одной из особенностей России, которая особенно видна мне как иностранцу, является та мера, в которой российская интеллигенция думала через литературу – больше через литературу, чем через социальные науки. В XIX веке очень многое из того, что в англосаксонских странах определялось через социальные науки: социо-

логию, экономику и так далее, в России определялось через русскую литературу»⁴⁵.

Этому замечанию во многом созвучно мнение О. Малиновой: «Работы современных российских авторов изобилуют цитатами из трудов П. Чаадаева, славянофилов, К. Кавелина, Ф. Достоевского, Н. Данилевского, В. Ключевского, К. Леонтьева, Н. Бердяева и других мыслителей XIX – начала XX века, рефлексировавших... в русле исторических традиций русской общественной мысли с присущей им умозрительностью, принципиальной неориентированностью на процедуры верификации...»⁴⁶

3. Республика Советов – модификация идеи «Третьего Рима»

Казалось бы, итог идейному развитию славянофильства указал еще В. Соловьев, утверждавший, что «глубочайшей основой славянофильства была не христианская идея, а только зоологический патриотизм... делающий из нации предмет идолослужения»⁴⁷.

Однако идее «особого пути» России предстояла еще не одна метаморфоза. Потерпев неудачу в реализации мессианской идеи в ее имперско-православной ипостаси, средневековая высокомерная концепция «Москва – Третий Рим», совершив очередную мутацию, возродилась в социалистической версии: «Советский народ – авангард прогрессивного человечества»; «Советский народ – строитель коммунизма – светлого будущего всего человечества».

Все 74 года диктатуры «пролетариата» пришедшая к власти контрэлита насаждала в обществе мифологическое сознание. В сопровождении то искреннего энтузиазма, то массового террора и постоянной угрозы государственного насилия выходцы преимущественно из маргинальных слоев вели многомиллионный народ России от утопии к утопии: ожидание мировой революции – построение социализма – созидание коммунизма – и вновь социализма, но уже с человеческим лицом. История все эти социальные проекты отвергла. Крушение СССР с трудом поддается осмыслению: советская сверхдержава рассыпалась в условиях мирного времени, в отсутствие критически значимых внешних угроз, защи-

щенная мощным ракетно-ядерным потенциалом и обладая неоспоримым государственным суверенитетом. С тяжестью и остротой внутренних проблем не справилась ее монополярная система управления. Утопические социально-властные отношения оказались не реформируемы.

Известно, что общество программирует свое будущее через систему образования. Если этот тезис корректен, то неблагополучие России начала XXI века во многом обусловлено качеством советского образования второй половины XX столетия. Большинство россиян, однако, едва ли с этим согласятся. Прочно сформировалось мнение: в СССР был реализован выдающийся образовательный проект, который и сегодня обеспечивает приемлемое качество образования. Заместитель директора Института прикладной математики РАН Г. Малинецкий полагает, что советское образование было «проектом мирового класса» и стремилось «всех учить так, как в мире учат только элиту»⁴⁸. А ректор Российского нового университета В. Зернов убежден, что «наше образование концептуально по-прежнему одно из лучших в мире, и граждане России сохранили в значительной мере в образовании имперское мышление»⁴⁹. Последнее лишь подчеркивает актуальность вопроса о качестве той социогуманитарной подготовки, которую будущая элита получает в стенах отечественной высшей школы. Особенно если учесть, что в XX веке обе версии российской государственности во главе с имперски мыслящими элитами не выжили.

В то же время способность общества создавать и эксплуатировать сложные технические системы свидетельствует о должном качестве советского естественно-научного и технического образования. На излете СССР высшее образование имели порядка 19 млн человек, из них 10 млн – инженерное. Однако это не спасло вторую сверхдержаву.

Крах советского социалистического проекта наглядно продемонстрировал: никакого обновления Европы со стороны России, как о том грезили славянофилы, не произошло. Более того, уже к концу XX века претензии на «особость» выглядели крайне двусмысленно. Россия проходила и проходит те же исторические этапы, что и другие европейские страны: формирования централизованного государства; утверждения и отмены крепостного права;

перехода от аграрного общества к индустриальному; урбанизации; секуляризации; ликвидации неграмотности и создания системы высшего образования; массового овладения технико-технологическими знаниями; создания современных средств коммуникации и т.п.

«Особость» российского пути проявляется в основном в стремлении уклониться от общеевропейской траектории восходящего исторического развития, в периодической потере темпа развития и сваливании в ловушку застоя. К реформам приступали с большим опозданием, нередко после военного поражения. С учреждением университетского образования в сравнении с Европой опоздали на многие столетия; реформы носили половинчатый, а потому затянутый характер. Почти сплошь неграмотное население новшеств опасалось и намерениям реформаторов противилось. Недаром Петр I был убежден: «Наши люди ни во что сами не пойдут, ежели не приневолены будут»⁵⁰.

Действительно, социальные слои, обладающие столь различным потенциалом социокультурной адаптации, в принципе не способны развиваться в едином историческом темпе, что закономерно породило мощные силы, разорвавшие социум. Провозглашенных целей реформы, как правило, не достигали, и через весьма непродолжительное время – 30–35 лет «отстающего развития» – вновь возникала потребность в «догоняющей модернизации». Фактически в России сформировался двухтактный исторический цикл: «рывок – застой». И если до середины XX века он обеспечивал нашей стране пребывание в числе мировых лидеров, то, начиная с 1970-х годов, Россия все дальше откатывается на периферию. Реформаторам, будь то имперская бюрократия, большевики или постсоветские радикал-либералы, ни разу не удалось запустить самоподдерживающийся процесс технико-технологической и социально-экономической динамики, обладающий необходимой устойчивостью и эффективной внутренней мотивацией.

4. Мифологическое сознание современной российской элиты

Семь десятилетий социальной некомпетентности, принудительно поддерживаемой коммунистическим режимом, не прошли бесследно. К концу XX века даже образованные люди России имели по преимуществу неадекватные представления о советском обществе и возможных пределах его трансформации⁵¹. И потому большая часть российской интеллигенции оказалась политически незначима. Дезориентированная и политически аморфная, она очень быстро утратила способность влиять на ход событий и политику властей. Социальная мифология, деформируя не только массовое сознание, но и сознание образованных групп, не проходит бесследно⁵². Результаты постсоветских преобразований убедительно засвидетельствовали: бюрократия за ширмой демократических лозунгов осуществила реформы в интересах собственного обогащения, успешно заместив ими интересы национального развития при полной беспомощности общества, в том числе его образованных групп.

В очередной раз подтвердился известный тезис политических наук: социальные группы, неспособные сформулировать отчетливую политику в защиту своих интересов, сформировать мощные политические структуры для реализации этой политики, неизбежно отесняются на социальную обочину, подвергаются эксплуатации и деградируют. Именно это и произошло с массовой российской интеллигенцией. Более того, она оказалась не в силах противодействовать повороту 2000-х годов в авторитарную, исторически бесперспективную колею.

Стремясь сохранить приемлемый жизненный уровень и не имея возможности из-за общественно-политической разобщенности противостоять аморализму, транслируемому с верхних этажей социальной пирамиды, массовая интеллигенция встала на путь негативной адаптации. Об этом свидетельствуют поборы в средней школе и системе медицинского обслуживания, взятки в суде, правоохранительных органах и даже... в святая-святых интеллигенции – высшей школе. Кто же в таком случае может и должен предложить массовым слоям населения образцы социально одобряемого поведения и общественные идеалы?

Корни явления уходят в далекие послереволюционные годы. Изгнание советской властью выдающихся отечественных ученых-гуманитариев, признание «единственно верным учением» марксизма-ленинизма, репрессии против интеллигенции – все это привело к тому, что рационально-критические социальные науки были полностью замещены псевдонаучной догматикой и апологетикой очередных утопий советской власти. Общественная наука России оказалась под сильнейшим давлением антинаучных представлений о грядущем коммунистическом обществе.

Десятилетиями это ложное знание навязывалось обществу; защищались диссертации; присваивались ученые степени. Носители этих «научных» регалий самонадеянно заявляли, что им ведомы подлинные законы развития общества. Однако их представления и утверждения, больше похожие на заклинания, не спасли от краха советское государство, столкнувшееся в конце XX века с острейшими историческими вызовами.

Важнейшим качеством образованного слоя большевики считали политическую благонадежность и преданность советской власти. Известны циничные проекты Н. Бухарина: «Нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер... Мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их как на фабрике»⁵³. Не обошлось и без масштабного участия в «воспитательном процессе» репрессивных органов. Тот же Бухарин в восторге писал в 1929 году: «ГПУ совершило величайшее чудо всех времен – оно сумело изменить саму природу русского человека»⁵⁴.

«Качество» подготовки выпускников советских вузов в области общественных наук оценил И. Берлин. Сотрудник посольства Великобритании в Москве с 1945 по 1955 год, он писал: «В молодежи скорее поощряется интерес к научным и техническим знаниям, чем к гуманитарным, и чем ближе к политике, тем слабее образование. Хуже всего поставлено оно у экономистов, историков современности, философов и юристов»⁵⁵.

Итак, в течение всего XX века Россия не имела критического социального знания, осмысляющего отечественное развитие и западный опыт. В то время как на Западе были выпущены многочисленные труды по проблемам модернизации, в России и за годы

постсоветских реформ появилось мало работ на эту тему. К тому же подлинно глубокие публикации российских ученых не стали значимым фактом общественной жизни⁵⁶.

Когда-то К. Манхейм подметил, что «занимающиеся социальными науками обладают в своем знании большей ясностью и точностью... но, начиная с определенного момента, совсем не стремятся дать ответ на те вопросы, которые вызывают действительное беспокойство»⁵⁷.

Типологически подобные процессы происходили и происходят в России. Характеризуя состояние российского общества спустя четверть века после реформ Александра II, Н. Страхов писал: «Общественное сознание почувствовало, что в путях прежних прекрасных реформ был какой-то существенный недостаток, что их следовало бы чем-то восполнить. И движение остановилось, потому что прежние пути оказались опасными, а нового пути никакого не видно; кажется, что мы вернулись назад, к той точке, с которой начались преобразования. Этот опыт, продолжавшийся четверть века, как будто ничему не научил нас; по крайней мере, мы его не умеем извлечь из поучения.

Растерянность общественной мысли очевидна; эта мысль несколько не созрела, потому что вовсе и не работала над вопросами об основах нашей государственной жизни, и хотя прошлое царствование, казалось бы, давало сильнейшие поводы к занятию этими вопросами, наши понятия о таком существенном деле не продвинулись вперед ни на шаг»⁵⁸.

По прошествии 120 лет известный социолог академик Г. Осипов, анализируя причины неудачи постсоветских реформ, утверждает: «К сожалению, российская социальная наука... оказалась не на высоте... Социальная наука: фальсифицирует прошлое (главным образом, историю); мифологизирует настоящее (понуждает людей действовать во имя реализации несбыточных мифов, будь то сплошная коллективизация или сплошная приватизация, тотальное планирование или абсолютно свободный рынок); мистифицирует будущее (призывает жертвовать счастьем и нормальными условиями жизни ныне живущих во имя “построения” утопического счастливого будущего для отдаленных поколений)»⁵⁹.

Действительно, что могут предъявить обществу в качестве результатов своей профессиональной деятельности носители социо-

гуманитарного знания? Политическая культура населения находится на крайне низком уровне; правосознание не воспитано; способность к самоорганизации, созданию структур гражданского общества и цивилизованным солидарным действиям – в зачаточном состоянии; взаимное доверие людей существенно ниже, чем в европейских странах; историческая ответственность за общенациональное будущее большинством населения отторгается; духовность, понимаемая как гуманистические идеалы и ценности, массово не освоена. Более того, социогуманитарной интеллигенции не удалось вырастить высоко интеллектуальную политико-административную элиту, способную взять на себя ответственность за историческое будущее России в XXI веке.

Стремясь удержать власть и порождаемую ею собственность, сегодняшние «элиты» настойчиво возвращают страну к авторитарным методам правления. Однако в долгосрочной перспективе подобные методы не обеспечивают национальное развитие: судьба СССР – тому подтверждение. И потому будущее России и сопряженные с ним системные риски вызывают глубокое беспокойство.

У России тяжелая наследственность. Из истории известны четыре случая распада ее государственности: в XI веке – Киевская Русь; в XVII веке – Великое княжество Московское; в начале XX века – Российская империя, и наконец, в конце XX века – Советский Союз. Исторический интервал от распада к распаду последовательно сокращается: 600 лет – 300 лет – 74 года.

Указанной исторической динамике необходимо противопоставить действенную политику инновационно-демократической модернизации, перехода с инерционной траектории движения общества на траекторию национального развития. В связи с этим возникает проблема социального субъекта реформ. К сожалению, приходится согласиться с теми, кто утверждает: в безгражданском обществе нет субъекта перехода к новому состоянию (В. Дахин).

Отсюда – настоятельная задача российской интеллигенции, и прежде всего ее социогуманитарной корпорации: наращивание рационального знания о российском социуме и настойчивая трансляция этого знания в общество. Наличное качество социогуманитарного знания, предлагаемого студенческой аудитории, не обеспечивает решение важнейшей социально-исторической задачи

– воспитания граждан, а не подданных. Нередко это так называемые пиар- и политтехнологии, использование которых в обществе полухарактерной политической культуры неизбежно вырождается в манипулирование профанным сознанием. Однако никому и нигде не удалось утвердить демократию в отсутствие необходимого множества демократически мыслящих граждан. Модернизация общественного сознания в ходе освоения технико-технологических знаний, начатая в период индустриализации 1930–1960 годов, должна быть продолжена в сегменте социогуманитарного знания.

В данном контексте уместно привести слова М. Сперанского: «Самые благотворные усилия политических перемен нередко сопровождаемы неудачами, когда образование гражданское не предуготовило к ним разум». И потому так важно, чтобы студенты получали знания, позволяющие рационально осмысливать общественно-политические проблемы России. Молодежь должна знать, что без реальной политической конкуренции невозможно создать эффективную систему государственного управления, а потому и обеспечить поступательное, восходящее развитие общества.

Современная ситуация внушает немалые опасения. Согласно данным Аналитического доклада ИКСИ РАН, воспитывать у детей демократические ценности считают важным лишь в 1% российских семей, а формировать гражданственность и убеждения – менее чем в 7% семей⁶⁰. Ежегодно высшая школа выпускает порядка миллиона специалистов. Теперь вместо истории КПСС, научного коммунизма и марксизма-ленинизма им читаются курсы политологии, социологии, отечественной истории, права, культурологии. Полки книжных магазинов ломаются от серьезной аналитики и публицистики. Казалось бы, студенческая молодежь должна обрести гражданское самосознание. Однако на излете второго десятилетия реформ апатичное общество, понукаемое «силовиками», вновь послушно повернуло в привычную, исторически тупиковую авторитарную колею. Теоретически были возможны и другие сценарии трансформации, однако в соответствии с принципом Лейбница «для иного развития событий не оказалось достаточных оснований». И одно из таких отсутствующих оснований – уровень отечественных социальных наук и производное от него качество социогуманитарной подготовки выпускников высшей школы. Дезориентация

вузовской интеллигенции влечет за собой особо тяжелые последствия.

В данном контексте представляет интерес сравнение российской интеллигенции и западных интеллектуалов. В общественном мнении России широко распространено представление, согласно которому коренное отличие названных групп состоит в том, что интеллигенция озабочена проблемами общества, а интеллектуалы – лишь собственным благополучием. Однако это не соответствует действительности. Интеллектуалы Запада совместно с представителями других социальных групп сумели создать влиятельные политические партии. Это позволяет им активно воздействовать на формирование законодательства с учетом общественно значимых интересов и тем самым обеспечивать решение актуальных проблем социума, поддерживать макросоциальный баланс интересов, а потому и социально-политическую стабильность общества. Российской интеллигенции еще предстоит освоить этот общедемократический образ мысли и действия.

Анализируя причины, повлекшие гибель российской многопартийности в начале XX века, исследователи констатируют глубокую аналогию современным реалиям: отсутствие массовой социальной базы политических партий. Партии не стали значимым фактором политической жизни. Вместо многопартийности вновь возникла мелкопартийность. Лидеров партий отличает та же неспособность и нежелание находить компромиссы с целью создания устойчивых политических союзов⁶¹.

У России острый дефицит исторического времени для эффективного ответа на вызовы XXI века. Но существует, пусть и незначительный, исторический шанс. В книге М. Острогорского «Демократия и политические партии»⁶² дан анализ политической системы США последней трети XIX – начала XX века. Это почти точная копия современной России: продажность политиков, коррупция, откаты чиновникам за предоставление городских и муниципальных контрактов, «крышевание» полицией частного бизнеса, продажа должностей и т.п. Что позволило Америке принципиально изменить социально-властные отношения?

Как пишет российский журналист М. Таратута, «это было трудное время. Не окажись тогда у руля президент Теодор Рузвельт,

вполне возможно, первым полигоном для большевистской революции стала бы не Россия, а лет за десять до нее – Соединенные Штаты. Рузвельт очень точно уловил главный вызов своего времени. Либо все продолжится как есть, и тогда последует взрыв, который Америка пережить не сможет, либо надо круто ломать сложившуюся модель жизни, когда несколько десятков монополий владеют чуть ли не всей страной. И сломал, заложив на десятилетия вперед новый вектор развития страны. Как никто другой, Рузвельт понимал, что именно является главной пружиной свободного рынка или, говоря иначе, что следует считать первым законом капитализма. Речь идет о свободной конкуренции»⁶³.

Приведенные свидетельства демонстрируют, сколь несовершенной была американская политическая система. Однако реальная политическая конкуренция, обеспечившая масштабную ротацию элиты и продвижение к управлению государством ее лучших представителей; дальновидная политика президентов США, прежде всего Теодора и Франклина Рузвельтов; а также постепенное повышение политической культуры населения привели в конце концов к оздоровлению политической системы Америки. Следует особо подчеркнуть: этих национальных лидеров, выдающихся интеллектуалов, вырастила американская система образования. В равной мере это относится и к членам их политических команд, включая правительство, куда входила либеральная профессура США.

Политическая система России начала XXI века своими существенными чертами весьма напоминает американскую модель вековой давности. Но нет оснований утверждать, что мы неспособны ее усовершенствовать. Решающие условия демократического транзита: повышение уровня массовой социально-политической компетенции, воспитание гражданственности, что в решающей степени зависит от качества социогуманитарного образования; вовлечение граждан в общественно-политический процесс и формирование на этой основе подлинно конкурентной политической системы.

Американский сценарий потребовал немало исторического времени. Неочевидно, что оно есть у России. У Российской империи и Советского Союза времени не хватило – государство рассыпалось раньше. Как известно, массовый образ мысли определяет массовый образ действий. К сожалению, российская демократическая

интеллигенция проиграла и продолжает проигрывать бюрократии состязание за умы соотечественников. В период диктатуры общество не могло приблизиться к правовому государству. XX век оставил России социально некомпетентное население. Модернизировать отечественное массовое сознание – социальную базу авторитаризма – мы едва ли успеваем. Но мы еще можем успеть воспитать высокоинтеллектуальную и ответственную политическую элиту. И потому усилия следует сосредоточить на гражданском просвещении и воспитании студенческой аудитории, насыщая социогуманитарные курсы актуальной проблематикой, не ограничиваясь отвлеченными академическими теориями. Шансов объективно немного. Но есть ли альтернатива просветительской работе?

5. Эпилог

Значимость обсуждаемых проблем для череды российских поколений иллюстрирует трагическая судьба старинного рода Аксаковых. Братья Иван и Константин Аксаковы, видные идеологи славянофильства, полагали: власть в России, в противоположность европейской, есть непосредственный, христианский, а потому нравственный союз народа и самодержца. Взаимное доверие между ними не нуждается ни в каких формальных обеспечениях – договорах и конституциях. Тем самым в принципе отвергалось политическое участие общества, правовое государство и само право как важнейшая цивилизационная и цивилизующая ценность; как универсальный институт согласования социальных интересов и предотвращения революционных потрясений.

И. Аксаков утверждал: «Народ смотрит на царя, как на самодержавного главу всей пространной русской православной общины, который несет за него все бремя забот и попечений о его благосостоянии; народ вполне верит ему и знает, что всякая гарантия только нарушила бы искренность отношений и только связала бы без пользы руки действующим, наконец, что только то ограничение истинно, которое налагается на каждого христианина в отношении к его ближним духом Христова учения»⁶⁴.

Ивану вторит брат Константин: «Гарантия не нужна! Гарантия есть зло. Где нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в ко-

торой нет добра, чем стоять с помощью зла. Вся сила в идеале. Да и что стоят условия и договоры, коль скоро нет силы внутренней? ... Вся сила в нравственном убеждении. Это сокровище есть в России, потому что она всегда в него верила и не прибегала к договорам»⁶⁵.

Однако истории угодно было наглядно продемонстрировать потомкам пагубность подобных утверждений. 30 апреля 2010 года по телеканалу «Россия.К» был показан документальный сериал «Аксаковы. Семейные хроники». Трагический водоворот революции и Гражданской войны начала XX века захватил и многочисленных представителей рода Аксаковых. Одни погибли, воюя на стороне белых; другие уцелели и сумели эмигрировать, их разметало по всему свету – от Австралии до Аргентины; кто-то остался в Советской России и впоследствии был репрессирован.

Внимание автора настоящей статьи особо привлекла судьба Сергея Сергеевича Аксакова, остаток дней прожившего в Аргентине. Он встретил революцию гардемаринном на вспомогательном крейсере «Орел». Команда «Орла» сошла на берег и влилась в армию адмирала А. Колчака. Сергей Аксаков воевал в составе частей, освобождавших Екатеринбург и предпринимавших отчаянные попытки отбить у красных царскую семью.

Впоследствии, как рассказывает его вдова Марина Александровна, Сергей Сергеевич говорил: «Ужаснее всего это Гражданская война. Ведь там брат убивал брата! С содроганием вспоминал, как им, 19-летним юношам, приказывали расстреливать пленных. Он, когда мог, уклонялся от этого, но не было тыла, и их некуда было отправлять. То же было и у красных. В конце жизни Сергей Сергеевич свою вечернюю молитву заканчивал словами: “Господи, упокой всех убитых мною и из-за меня”. Теперь, молясь за Сергея Сергеевича, я добавляю: “И всех, им поминавшихся”».

Рассказала Марина Александровна, со слов самого Сергея Сергеевича, и о другом эпизоде Гражданской войны. Годы спустя после ее окончания он случайно узнал о судьбе своего младшего брата Василия, который в 1918 году погиб в неполных 13 лет. Обоз белых, в котором служил мальчишка, был захвачен красными. Василия подвергли чудовищным пыткам: тело было обезображено до неузнаваемости, язык отрезан, по живому телу вырезаны погоны. Проявление столь нечеловеческой ненависти потрясло выдавшего виды боевого офицера...

Таковы страшные реалии острейшего гражданского конфликта в обществе, не освоившем право и политико-правовые механизмы поддержания компромисса между разнонаправленными интересами больших социальных групп. Судьба старинного дворянского рода ясно показывает историческую связь между убеждениями Ивана и Константина Аксаковых и трагедией их потомков. Отвергая в качестве влиятельных идеологов правовые начала в жизни русского общества XIX века, братья Аксаковы во многом преопределили судьбы своих наследников в XX столетии. За ошибки прадедов история сполна рассчиталась с правнуками. Нам бы не повторить заблуждений наших предшественников. В. Ключевский недаром предупреждал: отечественная история не учит ничему; она только наказывает за невыученные уроки.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Ключевский В.О. Об интеллигенции // Неопубликованные произведения. М.: Наука, 1983.
- 2 Там же.
- 3 Янов А. Тень грозного царя. М.: КРУК, 1997. С. 36–37.
- 4 Из послания Новгородского архиепископа Геннадия (между 1498 и 1504 годом) // Высшее образование в России: очерк истории до 1917 года. Под ред. Кинелева В.Г. М.: НИИ ВО, 1995.
- 5 Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. Языки славянских культур. М., 2008. С. 343–344.
- 6 Ключевский В.О. Указ. соч.
- 7 Там же.
- 8 Там же.
- 9 Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1904–1910. Т. 3. С. 383.
- 10 Ключевский В.О. Об интеллигенции.
- 11 Там же.
- 12 Культурология. Под ред. Г.В. Драча. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. С. 230.
- 13 Там же. С. 427, 522–523.
- 14 Флетчер Д. О государстве русском // Проезжая по Московии. М.: Международные отношения, 1991.
- 15 Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 3 М., 1983. С. 146.

- 16 Сухомлинов М. Материалы по истории просвещения в России // Журнал Министерства народного просвещения. 1865. Октябрь. С. 42.
- 17 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении [http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_0120.shtml].
- 18 Гудзенко А. Русский менталитет. М.: АиФ-Принт, 2003. С. 120.
- 19 Записки, издаваемые от Департамента народного просвещения. СПб., 1825. Кн. 1. С. 49.
- 20 Народное образование в России. Исторический альманах. М.: Народное образование, 2000.
- 21 Гоголь Н. Русский помещик. Собр. соч. М.: Русская книга, 1994. Т. 6. С. 127–128.
- 22 Сперанский М.М. Проекты и записки. М.-Л., 1963. С. 45.
- 23 Высшее образование в России. Исторический очерк. Под ред. В.Г. Кинелева. М.: НИИВО, 1995. С. 60.
- 24 Пушкин Б.С. Две России XX века. 1917–1993. Москва: Посев, 2008. С. 18.
- 25 Высшее образование в России. С. 84–86.
- 26 Никитенко А.В. Дневник. В 3 томах. М., 1965. Т. 1. С. 261.
- 27 Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других. СПб., 1914. С. 118.
- 28 Степун Ф.А. Мысли о России // Новый мир. 1991. № 6. С. 223–224.
- 29 Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826–1865 гг. СПб., 1908. С. 142.
- 30 Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. М.: Мысль, 1990. С. 34–36.
- 31 Там же. С. 36.
- 32 Там же. С. 71–72.
- 33 Там же. С. 146–147.
- 34 Кавелин К.Д. Собр. соч.: В 4 т. СПб., 1897–1900. Т. 1. Стлб. 154.
- 35 Цит. по: Ахмезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Т. 1. От прошлого к будущему. Новосибирск: Новосибирский хронограф, 1997. С. 222.
- 36 Маслов П.П. Аграрный вопрос в России. Т. 2. Кризис крестьянского хозяйства и крестьянское движение. СПб., 1908. С. 73.
- 37 Федотов Г.П. Россия и свобода // Психология элиты. 2009. № 3. С. 11.
- 38 Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1990. С. 31.
- 39 Архангельский А.С. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев. СПб., 1882. Т. 1. С. 194.
- 40 О России в царствование Алексея Михайловича. Сочиненье Григория Котошихина. Изд. 4-е. СПб., 1906. С. 53. С. Соловьев объяснил причину подобных поступков: «Русский человек, выехавший за границу, принявший чужие обычаи, изменял вместе и вере отеческой, ибо о вере этой он ясного понятия не имел» (Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1866. Т. 10. С. 474).
- 41 Погodin М.П. Сочинения. Т. 4. Б. д. С. 7.
- 42 Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 30 т. Т. 10. Л., 1947. С. 199–200.
- 43 Пивоваров Ю.С. Истоки и смысл русской революции // Правовая и политическая культура России: прошлое, настоящее, будущее. Новосибирск: СИБАГС, 2008. С. 56, 62.
- 44 Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 30 т. Т. 26. С. 83.

- 45 Шанин Т. Лекция «История поколений и поколенческая история России». Прочитана 17.03.2005 в дискуссионном клубе интернет-портала «Полит.ру» [<http://www.polit.ru/lectures/2005/03/23/shanin.html>].
- 46 Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском научном и публицистическом дискурсе // Полис. 2006. № 5. С. 113.
- 47 Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. М., 1889. Т. 1. С. 630–631.
- 48 Малинецкий Г. Учитель, ученик и шанс для России // Компьютера. № 42. 2005. 15 ноября. С. 31–32.
- 49 Зернов В.А. Качество отечественного образования как условие инновационного развития и конкурентоспособности // Цивилизация знаний: российские реалии. Труды Восьмой Всероссийской научной конференции. Ч. I. М.: РосНОУ, 2007. С. 11.
- 50 Цит. по: Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. СПб., 1912. С. 207.
- 51 Недаром хорошо информированный председатель КГБ СССР Ю. Андропов заявил: «Мы не знаем общества, в котором живем».
- 52 Эпоха строительства коммунизма, начавшаяся под циничным лозунгом «Грабь награбленное!», закономерно завершилась масштабным ограблением самих строителей коммунизма.
- 53 Огонек. 1990. № 50. С. 18.
- 54 Радзинский Э.С. Сталин. М., 1997. С. 257.
- 55 Берлин И. Советская интеллигенция (1957 г.) // История свободы. Россия. Новое литературное обозрение. М., 2001. С. 501.
- 56 Федотова В.Г. Уроки «Вех» // Анархия и порядок. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 57–59.
- 57 Манхейм К. Человек и общество в эпоху преобразования // Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 343.
- 58 Страхов Н.Н. Новое время. 1886. № 3599.
- 59 Оситов Г.В. На рубеже веков. Социально-политические императивы реформ // Глобальный кризис западной цивилизации и Россия. М.: ИСПИ РАН, URSS, 2008. С. 181–182.
- 60 Богатые и бедные в современной России. Аналитический доклад. М.: ИКСИ РАН, 2003.
- 61 Сморгунов Л., Семенов В. Политология. СПб., 1996. С. 170–171.
- 62 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. М.: РОССПЭН, 1997.
- 63 [<http://www.echo.msk.ru/blog/taratuta>]
- 64 Аксаков И.С. О служебной деятельности в России (письмо к чиновнику) // Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 28.
- 65 Аксаков К.С. О том же. Об основных началах русской истории // Аксаков К.С. Собр. соч. Т. I. М., 1889. С. 18.

«Особый путь»:
современные российские реалии

Александр Кубышкин, Александр Сергунин

Проблема «особого пути» во внешней политике России

(90-е годы XX века – начало XXI века)

Распад СССР, возникновение России как новой политической и государственной общности, не имевшей четко определенного социального идеала и ориентиров развития, вновь возродили интерес к идее российского «особого пути», периодически возникающей в отечественном общественно-политическом дискурсе, начиная с XIX века. На протяжении последних двух десятилетий сложились несколько направлений (школ)¹, активно разрабатывавших эту тематику, предлагавших свои варианты построения российского внешнеполитического курса и по-своему объяснявших место России в общемировой цивилизации.

Первым направлением, которое попыталось более или менее стройно обрисовать «особый путь» России в мировой политике, было *неоевразийство*. Оно возникло в значительной степени как реакция на преобладавший во внешней политике новой России в первые годы правления Б.Н. Ельцина российский вариант *атлантизма* с его однозначной ориентацией на всестороннее сотрудничество с Западом (прежде всего с США).

Основные постулаты внешнеполитического курса атлантистов были выражены в следующих формулах:

- национальные интересы не играют определяющей роли во внешней политике и в мировой политике в целом;
- ключевую роль в международной политике играют международное право и международные организации;

Работа выполнена в рамках научного проекта СПбГУ (тема НИР № 17.0.36.2009).

- Запад – естественный партнер России, следовательно, концепция многополярного мира для России неприемлема;
- основные угрозы для России сосредоточены не на Западе, а на Востоке.

Однако когда выяснилось, что Запад не торопится принять Россию в свои экономические и военно-политические организации, не относится к Москве как настоящему партнеру (ни равноправному, ни младшему) и, более того, игнорирует ее при решении важнейших вопросов мировой политики (своеобразным мериллом стал кризис на Балканах в 90-е годы), в российской политической элите начался поиск альтернативных атлантизму концепций, одной из которых и стало неоевразийство – своеобразная смесь геополитики с так называемым «цивилизационным» подходом.

Несмотря на многочисленные теоретические и политические разногласия между собой, неоевразийцы в целом были единодушны в том, что России уготована особая историческая миссия. В силу своего геополитического (евразийского) положения и особенностей историко-культурного развития Россия, по их мнению, «обречена» на роль «моста» между двумя цивилизациями – Востоком и Западом². Россия соединяет в себе черты обеих цивилизаций и потому в современных условиях естественным образом выдвигается на роль посредника между ними и – одновременно – гаранта евразийской стабильности.

Отметим, однако, что некоторые неоевразийцы, в основном принадлежавшие к славянофильской традиции (Э. Поздняков, А. Дугин), считали, что Россия – не просто «мост» между Востоком и Западом, а сама является особой («третьей») цивилизацией, развивающейся по своему уникальному пути.

Неоевразийцы утверждали, что однозначная ориентация России на Запад в период господства атлантистов являлась стратегической ошибкой и что Москва должна строить свою внешнюю политику по обоим геополитическим направлениям. Неоевразийцы были согласны с либералами, что от Востока исходит немало угроз России и поэтому необходимо уделять самое пристальное внимание этому региону в плане обеспечения национальной безопасности. Однако в отличие от атлантистов они видели в Востоке не только угрозу, но

и возможность для России сыграть свою роль в мире и получить от сотрудничества со странами этого региона многочисленные выгоды в экономической, военно-политической, культурной и прочих областях. Неоевразийцы подчеркивали, что со многими вновь образовавшимися государствами Кавказа и Средней Азии Россия издавна связана, а их экономики и общества тесно переплетены. Учитывая, что развитые страны Запада не торопятся принимать Россию в свое сообщество, было бы неразумным терять традиционные связи с бывшими советскими республиками, а также развивающимися странами Азии и Африки. К тому же на Востоке расположены не только слаборазвитые страны, но и так называемые новые индустриальные страны (Южная Корея, Тайвань, страны АСЕАН), а также такие экономические гиганты, как Япония и Китай.

Неоевразийцы одними из первых стали утверждать, что для России СНГ должно стать геополитическим приоритетом номер один³. Они приветствовали создание как самого СНГ, так и его военно-политических структур, включая Ташкентский договор о коллективной безопасности 1992 года и последующие соглашения в этой области. Они критиковали «команду» Ельцина – Козырева за недостаток внимания к этой организации и за медленные темпы развития военно-технического сотрудничества в рамках СНГ. Они также постарались привлечь внимание как политиков, так и общественности к положению русскоязычного населения на постсоветском пространстве, требуя от российского руководства защитить соотечественников за рубежом⁴.

Несомненной заслугой неоевразийцев было и то, что они одними из первых ввели в оборот и постарались расшифровать такие базовые понятия для теории международных отношений (ТМО), как «национальные интересы» и «национальная безопасность». Предшествующие школы, включая атлантизм, не уделяли должного внимания этим категориям.

Вместе с тем неоевразийская интерпретация этих понятий зачастую страдала ненаучностью и имела некий налет романтизма. Так, один из «отцов-основателей» неоевразийства С.Б. Станкевич (в ту пору советник президента по политическим вопросам) с одной стороны, вполне справедливо полагал, что национальные интересы страны определяются ее географическим положением, историей,

культурой, этническим составом и политическими традициями и среди них можно выделить постоянные и временные интересы. Однако наряду с этим традиционным для ТМО пониманием национальных интересов он попытался увязать это понятие с другим – не совсем научным – понятием «национальной идеи». В одной из своих работ он отмечает: «Между теми фундаментальными интересами, которые являются неизменными, и теми, которые меняются постоянно, находится набор интересов, который отражает то, что можно назвать “национальной идеей”. Национальная идея – это самоидентификация нации. Это очень эмоциональная тема, тема, затрагивающая меняющийся ход истории нации. Это не научно обоснованная система ценностей, а совокупность представлений о прошлом и будущем нации»⁵. Не совсем понятно, почему национальная идея находится между постоянными и временными интересами и почему она не может включать в себя и те и другие. Также непонятно, почему проводится различие между идентичностью нации и ее системой ценностей, хотя в действительности они тесно связаны. Почему ценности всегда «научно обоснованны», а не могут быть результатом длительного историко-культурного развития народа (в том числе эмоционального восприятия своего прошлого и будущего)?

Довольно абстрактной является и характеристика самой российской «национальной идеи». По мнению С.Б. Станкевича, она включает в себя демократию, федерализм и патриотизм. Возникает вопрос, в чем же заключается евразийская специфика России? С таким же успехом на роль «моста» между цивилизациями могут претендовать США, ФРГ, Канада, Индия и многие другие страны, разделяющие демократические принципы и имеющие федеративное устройство.

В то же время нельзя не согласиться с неоевразийцами, когда они (опять-таки одними из первых) увязывали между собой внутренние и внешние аспекты национальной безопасности и подчеркивали, что ключ к ее обеспечению находится прежде всего внутри самой России, а именно – в достижении ее внутренней стабильности⁶.

Как уже отмечалось, среди неоевразийцев не было единства по ряду серьезных мировоззренческих и тактических вопросов. Условно можно выделить два самых крупных течения – *демократическое*

(или умеренное) и *славянофильское* (или радикальное), которые порой достаточно остро конфликтовали друг с другом.

Демократические неоевразийцы одно время были близки к администрации Б.Н. Ельцина и занимали ряд влиятельных постов в различных правительственных учреждениях и общественно-политических организациях. Идеи неоевразийства были довольно популярны и в академической среде.

В отличие от славянофилов неоевразийцы-демократы не были против сотрудничества с Западом, если оно будет строиться на принципах равноправия и не будет вредить интересам России на Востоке. По выражению одного из сторонников неоевразийства, «партнерство с Западом, несомненно, усилит Россию в ее отношениях с Востоком и Югом, в то время как партнерство с Востоком и Югом даст России независимость в ее отношениях с Западом»⁷. По мнению С.Б. Станкевича, давно пора преодолеть историческую дилемму Восток – Запад во внешней политике России и развивать сотрудничество по обоим направлениям⁸.

Неоевразийцы-демократы оказали влияние не только на ход общественных дискуссий середины 1990-х годов, но и на доктринальные основы российской внешней политики. Так, первая постсоветская концепция внешней политики РФ (1993) явно носит на себе следы воздействия со стороны неоевразийства. Это особенно чувствуется в разделах, посвященных геополитическим приоритетам России: отношения с СНГ стояли на первом месте; Азиатско-Тихоокеанский и Ближневосточный регионы также были упомянуты среди важнейших⁹.

В отличие от демократической, *славянофильская* версия неоевразийства делала акцент не столько на географической, сколько на цивилизационной специфике России. По выражению одного из лидеров этого течения Э.А. Позднякова, «геополитическое положение России не просто уникально (это характерно для любого государства), оно является поистине роковым как для нее самой, так и для всего мира... Важный аспект этой ситуации заключается в том, что Россия, будучи расположенной между двумя цивилизациями, всегда была естественным хранителем цивилизационного равновесия и мирового баланса сил»¹⁰. Для выполнения этой исторической миссии Россия должна иметь сильную государственность и прово-

дить внешнюю политику, строго отвечающую ее национальным интересам.

Славянофилы-неоевразийцы полагали, что Россия не должна ставить вопрос об интеграции ни в восточную, ни в западную цивилизацию. Она должна идти своим путем. По словам Э.А. Позднякова, «если Россия хочет сохранить свою великую будущность, она должна остаться Россией. Ей незачем ставить перед собой цель стать Европой или присоединиться к ней. Цель эта столь же абсурдна и ирреальна, как если бы она вздумала присоединиться к Китаю, к Индии или к Японии»¹¹. Славянофилы считали, что в своей внутренней и внешней политике Россия должна опираться только на свои собственные силы (тем более что она богата людскими и материальными ресурсами). По этой причине они возражали против западной помощи России и чрезмерного сближения с какой-либо (особенно западной) международной организацией, если это будет ограничивать свободу маневра в сфере внешней политики.

По ряду причин к середине 1990-х годов наступил кризис неоевразийства (обеих его версий)¹² и оно практически полностью исчезло с политико-интеллектуального «горизонта» России. Большая часть неоевразийцев (особенно демократов) перешла в лагерь так называемого политического реализма, славянофилы же оказались в лоне геополитической школы¹³.

Российская *геополитика* (Э.А. Поздняков, А.Г. Дугин, А.А. Нартов и пр.)¹⁴ перехватила у неоевразийства «эстафету» в дискуссиях вокруг «особого пути» и российской «самобытности». Парадоксально, правда, что в качестве источников своего вдохновения они берут не «исконно русских» мыслителей (как это делали неоевразийцы), а все больше западные геополитические теории (А. Мэхэн, Х. Маккиндер, К. Хаусхофер, Н. Спайкмен и пр.).

Особым вниманием у российских геополитиков пользовалась теория Х. Маккиндера о Хартленде (сердцевинном регионе), поскольку России, традиционно контролировавшей большую его часть, здесь отводится ключевая роль. Как известно, Маккиндер сформулировал суть своей теории в трех знаменитых максимах: «Кто правит Восточной Европой, тот господствует над Хартлендом. Кто правит Хартлендом, тот господствует над Мировым островом. Кто правит Мировым островом, тот господствует над миром»¹⁵.

Исходя из этой теории, Х. Маккиндер считал, что морские державы не должны допустить контроля над Хартлендом со стороны континентальных держав. На практике это вело к постоянным войнам и переделу сфер влияния. Россия же, занимая срединное место в данной геополитической конструкции, поневоле оказывалась вовлеченной в глобальное соперничество.

Поскольку Россия заплатила в XVIII–XX веках немалую цену за эти геополитические «игрища», современные российские геополитики предлагали такой мировой порядок, который бы прекратил бессмысленное и дорогостоящее соперничество и превратил бы Хартленд в средство стабилизации системы международных отношений. Разумеется, России было бы отведено центральное место в обеспечении безопасности в данном регионе и во всем мире. Развивая теорию Маккиндера, Э.А. Поздняков предложил собственную формулировку геополитической максимы и одновременно системы глобальной безопасности: «Тот, кто имеет контроль над Хартлендом, тот владеет средством эффективного контроля над мировой политикой, и прежде всего средством поддержания в мире геополитического и силового баланса. Без последнего немислим стабильный мир»¹⁶.

Российские геополитики считали, что Запад совершил большую ошибку, взяв курс на передвижение геополитической границы на Восток и раздробление Хартленда. Э.А. Поздняков подчеркивал, что Хартленд не может выполнять свою балансирующую роль в сфере международной безопасности, если он раздроблен на части. В этом случае он сам окажется в состоянии дисбаланса и хаоса, которое может распространиться на остальной мир. По словам российского теоретика, «отсюда проистекает геополитическая роль и задача России как центра Хартленда; здесь лежат истоки ее фундаментальных национально-государственных интересов»¹⁷.

При всей кажущейся привлекательности геополитических теорий им присущи серьезные методологические просчеты, и к тому же они оказываются зачастую далекими от реальности. Так, дорогая сердцу многих поколений геополитиков теория Хартленда, создававшаяся в начале XX века в соответствии с тогдашними географическими, экономическими, научно-техническими, коммуникационными, военными и политико-идеологическими услови-

ями, даже в подновленном виде вряд ли подходит для нынешних реалий. Нелишне упомянуть, что само понятие Хартленда возникло потому, что это была территория, прежде всего стратегически неуязвимая для ударов со стороны морских держав. В эру же ракетно-космического оружия, современных транспортных и коммуникационных средств никто и ничто не может считаться неуязвимым.

Тот факт, что Евразия (особенно Европа) на протяжении большей части XX века была средоточием мировой политики, где сталкивались интересы великих держав, еще не говорит о вечной стратегической значимости этого региона. Уже Н. Спайкмен (американский последователь Маккиндера), создававший свою концепцию будущего мирового порядка в разгар Второй мировой войны, считал, что после ее окончания геополитический «разлом» будет проходить не столько по Хартленду, сколько по периметру Евразии – Римленду (от англ. rim – ободок, край)¹⁸. Его соотечественник Р. Страус-Хюпе вообще настаивал на том, что Северная Америка (прежде всего США) – это ключевой геостратегический регион, который выполняет роль стабилизатора глобального баланса сил¹⁹. С. Коэн, другой американский геополитик, выделял уже не один или два, а несколько стратегически значимых регионов и даже пытался произвести их дальнейшую дифференциацию²⁰.

После распада СССР, мировой социалистической системы и окончания холодной войны геополитические приоритеты мировой политики сменились еще раз: ныне ведущие державы мира все больше утрачивают интерес к России и Хартленду в маккиндеровском смысле, их взоры обращены на динамично развивающиеся государства Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанский регион в целом, а также регионы, излучающие нестабильность, – Ближний Восток, Центральную и Южную Азию.

Представляется искусственно надуманным принятое в геополитике деление мира на «морские» и «сухопутные» (континентальные) державы, которые почему-то должны вечно враждовать между собой.

В современном мире морское и сухопутное измерения вообще теряют свое былое значение и на передний план выходят другие – глобальные средства коммуникации и связанная с ними проблематика. Если и говорить о соперничестве, то оно идет прежде всего в

сфере высоких технологий (особенно информационных), а не за примитивный контроль за географическим пространством.

В 2000-е годы в отечественной литературе по проблемам внешней политики России и ее внутреннего развития возникает некая *гибридная* версия²¹ российской «самостийности», которая, с одной стороны, вобрала в себя багаж идей неоевразийства и геополитики, а с другой – добавила некоторые новые элементы. От неоевразийства новый вариант концепции «особого пути» России взял восприятие нашей страны как особой цивилизации, обладающей общемировой культурно-исторической миссией и имеющей равновеликие интересы как на Западе, так и на Востоке (при этом, конечно же, собственные российские интересы должны быть доминирующими, а сама Россия не должна растворяться в других цивилизациях).

От геополитики «гибрид» заимствовал идею о вековом стремлении Запада (и других «полюсов силы») унижить и расчленить Россию. Задача же Москвы состоит в том, чтобы отразить очередное наступление внешних врагов и восстановить геополитический баланс на выгодных для России условиях.

Добавим, что адепты «динамического консерватизма» унаследовали также из классического евразийства многие мировоззренческие установки и клише о необходимости создания «сверхнациональных» (сверхгосударственных) институтов, введения строжайшей и детальной регламентации всех сторон политической, экономической, общественной и культурной жизни, вплоть до упорядочивания деятельности цирков (!), борьбы с безусловно враждебной политической Западом в целом и особенно США в отношении России и т.п.

Что касается неких новых элементов в «гибридном» варианте доктрины «особого пути», то его сторонники стали делать больший акцент на необходимости духовного возрождения, прежде всего русского этноса (и других славянских народов), на основе ценностей православия. Данный концепт нельзя назвать грубой версией национализма, поскольку, в конечном счете, это направление политической мысли выступает за процветание всех народов России и формирование в стране наднациональной государственной идентичности (единственно возможной в многонациональной и многоконфессиональной стране). Дело в том, подчеркивают эти авторы, что именно русский народ больше всего пострадал от разрухи по-

следних десятилетий, и возрождение надо начинать именно с него, с тем, чтобы он стал своего рода «локомотивом» для развития всего государства в целом.

Еще один новый момент. Предшественники нынешних сторонников «самобытности» (будь то неоевразийцы или геополитики) в основном (за редким исключением) ограничивались кабинетным философствованием и абстрактными обращениями к политикам, которые, как правило, оставались глухими к этим призывам. В отличие от них, новое поколение сторонников «гибридной» концепции, пройдя школу практической деятельности в различных сферах государственной, политической и общественной деятельности (бизнес, исполнительная и законодательная ветви власти, государственная служба, СМИ, неправительственные организации и пр.), уже не ограничиваются благими пожеланиями, а предлагают вполне конкретные программы действий. Примером может служить так называемый «Сергиевский проект», результатом которого стала некая «Русская доктрина», в которой подробно на большом, хотя и эклектичном историческом материале описываются причины краха советского «проекта», анализируется нынешняя ситуация и содержится детальная программа действий на будущее по выведению страны из кризиса и укреплению ее мировых позиций – так называемый Пятый проект²².

Подчеркнем, что это поколение сторонников «особого пути» делает ставку на современные технологии «социальной инженерии» – сетевой принцип управления и взаимодействия, стратегии целеполагания, манипулирования массовым общественным сознанием, использование IT-технологий и пр.²³. Условием успеха реформ в России они считают (как и нынешнее российское руководство) активное внедрение инновационных технологий, причем не только в экономике, но и в системе социального управления. В отличие от официального подхода позиция сторонников этой школы заключается в том, что управление инновационными проектами не должно находиться в руках коррумпированных и часто малокомпетентных чиновников, а должно подвергаться строгому общественному контролю и основываться на привлечении имеющих высокую репутацию менеджеров из частного сектора.

В этом смысле нынешняя версия концепции «особого пути» России – это не просто очередной вариант теории «консервативного

элитизма», но и серьезная заявка если не на доминирование в отечественном общественно-политическом дискурсе, то на превращение из маргинальной в достаточно влиятельную школу, от которой так просто отмахнуться уже не удастся. Как подчеркивает ряд видных российских экспертов (кстати, в целом не разделяющих саму эту концепцию), было бы большой ошибкой просто объявить представления об «особом пути» предрассудком или пережитком прежних «имперских времен»²⁴. За этими взглядами стоят прочно укоренившиеся в нашем общественном сознании традиции и стереотипы, которые нельзя упрощать или игнорировать. Поэтому к ним нужно относиться всерьез, изучать и размышлять, как повернуть подобные настроения в более конструктивное русло.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 О дискуссиях на эту тему в 1990-е годы см. подробнее: *Сергунин А.А.* Российская внешнеполитическая мысль: проблемы национальной и международной безопасности. Н. Новгород: Издательство Нижегородского государственного лингвистического университета, 2003.

2 *Станкевич С.* Держава в поисках себя // Независимая газета. 1992. 28 марта. С. 4; *Stankevich S.* Russia in Search of Itself // *The National Interest*. 1992. Summer. P. 47–51.

3 *Travkin N.* Russia, Ukraine, and Eastern Europe // *S. Sestanovich (ed.)*. Rethinking Russia's National Interests. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 1994. P. 34–35.

4 *Travkin N.* Op. cit. P. 34–35; *Pleshakov K.* Russia's Mission: The Third Epoch // *International Affairs (Moscow)*. 1993. January. P. 22–23.

5 *Stankevich S.* Toward a New «National Idea» // *S. Sestanovich (ed.)*. Rethinking Russia's National Interests. P. 24.

6 *Ibid.* P. 28.

7 Цит. по: *Malcolm N.* New Thinking and After: Debate in Moscow about Europe // *N. Malcolm (ed.)*. Russia and Europe: An End to Confrontation? London and New York: Pinter Publishers for the Royal Institute of International Affairs, 1994. P. 167.

8 *Stankevich S.* Toward a New «National Idea». P. 25–26.

9 Концепция внешней политики Российской Федерации // *Дипломатический вестник*. 1993. Январь. С. 3–23.

10 *Pozdnyakov E.* Russia is a Great Power // *International Affairs (Moscow)*. 1993. January. P. 6.

- 11 Поздняков Э.А. *Философия политики*. М.: Палей, 1994. Т. 2. С. 102.
- 12 О причинах кризиса неоевразийства подробнее см.: *Сергунин А.А.* Указ. соч. С. 28–31.
- 13 Впрочем, славянофильское направление не исчезло до конца. Оно несколько трансформировалось, сделав акцент на позиционировании России не столько как евразийской, сколько «православной цивилизации», единственной и настоящей защитницы православных ценностей во всем мире. К этому направлению относятся работы Н.А. Нарочницкой. См., напр.: *Нарочницкая Н.А.* *Россия и русские в современном мире*. М.: Алгоритм, 2009.
- 14 Поздняков Э.А. Указ. соч.; *Дугин А.Г.* *Основы геополитики*. М., 1997; *Дугин А.Г., Нартов А.А.* *Геополитика*. М., 1999.
- 15 *Mackinder H.J.* *Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction*. New York: Henry Holt, 1919. P. 186.
- 16 Поздняков Э.А. Указ. соч. Т. 2. С. 282.
- 17 Там же.
- 18 *Spykman N.J.* *The Geography of the Peace*. New York: Harcourt, Brace, 1944. P. 43.
- 19 *Strausz-Hupe R.* *Geopolitics. The Struggle for Space and Power*. New York: Putnam's, 1942. P. 195.
- 20 *Cohen S.B.* *Geopolitics in the New World Era: A New Perspective on an Old Discipline* // George J. Demko and William B. Wood (eds.). *Reordering the World: Geopolitical Perspectives on the 21st Century*. Boulder: Westview Press, 1994. P. 28.
- 21 Некоторые представители этой школы предпочитают называть свою доктрину «динамическим консерватизмом» (*Русская доктрина / Под ред. А.Б. Кобякова и В.В. Аверьянова*. М.: Яуза-пресс, 2008. С. 842).
- 22 Русская доктрина.
- 23 Современные сторонники концепции «особого пути» имеют собственные веб-сайты, блоги, интернет-издания и пр. В сентябре 2009 года нашумел случай с открытым письмом одного из лидеров этой школы Максима Калашникова (Владимира Кучеренко) президенту РФ Д.А. Медведеву, которое он направил по электронной почте непосредственно главе государства и в котором предлагал ряд инициатив по развитию инновационного потенциала России [<http://m-kalashnikov.livejournal.com/141905.html>].
- 24 *Пантин В., Семенов И.* *Трансформация национально-цивилизационной идентичности современного российского общества // Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в российском массовом сознании в контексте модернизации*. М. С. 39; *Кортунов С.В.* *Современная внешняя политика России: стратегия избирательной вовлеченности*. М.: Издательский дом ГУ – ВШЭ, 2009. С. 92.

Александр Верховский, Эмиль Паин

Цивилизационный национализм: российская версия «особого пути»

В статье мы рассматриваем весьма распространенную в России разновидность идеологии «особого пути», использующую в качестве доказательства невозможности полноценного демократического развития России идею об особой российской цивилизации. Почему мы назвали такую идеологическую модель *цивилизационным национализмом*? Существует множество определений национализма, но если ограничиться теми, которые приняты в политической науке, то можно сказать, что в наиболее широкой трактовке под национализмом понимается такое направление в политике, базовым принципом которого является признание народа (нации) источником власти и основным субъектом политической системы. При этом одни политические силы понимают под нацией этническую общность (этнический национализм), а другие – граждан государства вне зависимости от их этнических, религиозных или расовых особенностей (гражданский национализм). В идеологических же системах вариаций национализма больше. Национализм как идеология постулирует, что человечество то ли по законам природы, то ли в силу социально-исторических причин поделено на автономные единицы, которые отличаются набором объективных характеристик, включая и неизменные или слабо изменяющиеся ментальные особенности. В XIX веке в качестве таких единиц признавали в основном нации, в конце XX века основной социокультурной единицей, хранящей некие особые ментальные фреймы (целостные образы мира) все чаще стали называть наднациональные общности – *цивилизации*. Существует неисчислимое множество попыток клас-

сифицировать цивилизации по различным основаниям: по религиозному принципу (христианская, исламская, буддистская и другие цивилизации); по макрорегиональному признаку (европейская, азиатская, африканская, латиноамериканская и др.); по месту в мировой системе (центральные и периферийные цивилизации), по расовому признаку (например, цивилизации белой расы); по странам (пример – российская цивилизация).

В науке предпринималось множество попыток типологии цивилизаций по сочетанию разных показателей (это типологии Н. Данилевского, Ф. Бэбби и Ф. Броделя, А. Крабера, К. Леви-Строса, А. Тойнби, О. Шпенглера, Э. Хантингтона, С. Хантингтона и др.), однако все варианты подобных типологий грешили отсутствием строгости и практически полной произвольностью предлагаемых сочетаний признаков. По мнению известного российского философа Г. Дилигенского, сама идея цивилизации «принадлежит к числу тех понятий научного и обыденного языка, которые не поддаются сколько-нибудь строгому и однозначному определению. Если попытаться как-то объединить различные его значения, мы, очевидно, получим скорее некий интуитивный образ, чем логически выверенную категорию»¹. Однако несмотря на всю неопределенность самого понятия цивилизации оно широко используется в российской политике, как правило, в тех же целях, в каких обычно используется этнический национализм. Прежде всего для консолидации общества на основе представлений об общей историко-культурной сущности, а также для противопоставления своей особой, уникальной общности «чужим». В статье мы пытаемся дать панораму современных политических сил, использующих в той или иной мере новый национализм – цивилизационный, а также анализируем причины и возможные последствия для России растущего интереса различных политических сил к такому национализму.

Маятник общественных настроений

В начале 1990-х годов большинство россиян (более 2/3) были охвачены ожиданиями позитивных перемен и возвращения «в семью цивилизованных наций», на торный путь общемирового развития – модернизации, демократии и либерализма. Эти настроения сохранялись сравнительно долго. Лишь к концу 1990-х общественные оценки изменились. В это время уже 67% опрошенных отмечали, что «чужой» опыт нам не подходит, поскольку у «России свой особый путь»². К началу 2000-х годов поддержка идеи «особого пути» стала почти тотальной, число ее сторонников возросло до 78%³. При этом мало кто из наших сограждан представляет, в чем же конкретно проявляется специфика «особого пути». Их оценки основаны преимущественно на противопоставлении «в России не так, как на Западе». Одновременно в обществе усилились настроения культурной предопределенности: «Россия иначе не может – таков наш менталитет».

Разумеется, перемены в общественных настроениях во многом были обусловлены реальными трудностями адаптации россиян к новой экономике, новой политической системе и новым границам, появившимся после распада СССР. Однако одинаковые социальные оценки не могут рождаться одновременно в головах миллионов людей. Вначале их формирует узкий слой экспертов, которых принято называть интеллектуальной элитой, «производителями новых смыслов», а затем уже эти идеи проникают в массовое сознание.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов властителями дум в России были западнически настроенные (в широком диапазоне либеральных и социал-демократических идей) мыслители. Они оказывали огромное влияние на общественное мнение и гордо именовались «прорабами перестройки». Читающая публика передавала из рук в руки и бурно обсуждала сборник статей с броским названием «Иного не дано»⁴. Его авторы провозглашали неизбежность поворота СССР, а затем и России от сталинизма к демократии, от плановой экономики к рынку, от конфронтационного мышления к союзу с западными демократиями. Как раз в это время в постсоветской России ошеломляющим успехом пользовался философский трактат «Конец истории» американского политического философа Фрэнсиса Фукуямы. В нем провозглашалось завершение многовековой борьбы во-

круг политических идеологий и полная, безоговорочная победа либеральной демократии⁵. Вот вам один из вариантов идеи предопределенности исторического пути.

Прошло около 20 лет, и от былой уверенности в неизбежной победе либерализма и демократии в России не осталось и следа. С начала 2000-х годов лишь иногда возникало некоторое оживление либеральной мысли. Но в целом нынешнее состояние либерализма в России может быть описано словами Михаила Ходорковского: «Фактически сегодня мы ясно видим капитуляцию либералов... “Свобода слова”, “свобода мысли”, “свобода совести” стремительно превращаются в словосочетания-паразиты. Не только народ, но и большинство тех, кого принято считать элитой, устало отмахиваются от них»⁶.

На освободившееся место идейного мейнстрима всегда есть много претендентов – это могут быть идеи левые, традиционалистские или иные, да еще в разных сочетаниях. В нашей статье мы будем говорить только о тех из них, которые прямо или косвенно наследуют тем идеям «особого пути», которые известны в России с XIX века.

В этих идеях нет ничего специфически российского, они были заимствованы из немецкой философии того времени. Позднее, уже в начале XX века, Томас Манн сформулировал основные социальные цели и признаки идеологии «особого пути»: защитить национальную культуру от надвигающейся с Запада угрозы механицизма и засилья «массы», а выполнить эту миссию способно лишь авторитарное полицейское государство⁷.

Стоит отметить, что такая идеология не обязательно предлагается собственной стране. Их можно предлагать и извне, в том числе и России. Ричард Пайпс в книге, опубликованной еще в 1974 году, в разгар холодной войны, но лишь через 20 лет изданной в России⁸, пишет, что истоки как коммунистического режима в Советском Союзе, так и нынешнего авторитаризма нужно искать в далеком прошлом России. Зародившиеся в средневековой Московии исторические особенности страны передаются по традиции, поскольку вошли в русскую национальную культуру. Главную из таких особенностей историк сформулировал так: «Русским нужен правитель»⁹.

Такие взгляды на прошлое, настоящее и будущее России, естественно, симпатичны сторонникам любого действующего авторитар-

ного режима, но не менее симпатичны эти взгляды и адептам какого-то другого авторитаризма, особенно – антизападного по лозунгам и антимодернизационного по сути. Впрочем, представление о цивилизационной предопределенности (вообще или именно для России) нетрудно встретить и среди тех, кому это представление «невыгодно», то есть среди сторонников свободы и демократии. Такова сила инерции, созданной талантливыми адептами «особого пути» России, начиная со славянофилов и Ф. Тютчева.

С начала 2000-х годов идея культурной, цивилизационной предопределенности «особого пути» России стала активнее распространяться государственными средствами массовой информации. Например, весной 2006 года она была отражена в 12-серийном цикле телевизионных передач А. Кончаловского под общим названием: «Культура – это судьба». Затем получила широкое распространение в официальной российской политике. «Культура – это судьба. Нам Бог велел быть русскими, россиянами», – это уже из лекции В. Суркова в Президиуме РАН в июне 2007 года¹⁰. В ней первый заместитель главы Администрации президента России указывает гражданам, что культура определяет *вечные* особенности политического строя. В российском случае это централизованная власть, при которой роль персон важнее законов.

Кремлевская канонизация идеи особой тысячелетней цивилизации, предопределяющей «особый путь» России, постепенно возводит ее в ранг официального «единственно верного учения», призванного заменить марксизм-ленинизм. Армия штатных и внештатных пропагандистов разрабатывает эту золотую жилу, превращая теоретическую концепцию в политическую технологию. Эта идея прежде всего призвана легитимировать своеобразное понимание суверенитета (при котором, как когда-то в понятии «самодержавие», смешиваются внешняя независимость и внутренний авторитаризм) и чрезмерно персонализированный характер системы политической власти¹¹.

Эта же идеология должна решать задачи политической терапии. Людям внушается бессмысленность и вредность привычки сравнивать положение России с развитыми странами, поскольку Запад для нас не указ – это другая цивилизация. Внедрение в массовое сознание идей об «особой цивилизации» и ее «особом пути» должно вы-

полнить функцию санитарного кордона, препятствующего проникновению в Россию «чуждых» ей либеральных и демократических веяний. Получается это, правда, плохо, поскольку сравнение себя с Западом – это, пожалуй, самая устойчивая характеристика российской политической мысли последних нескольких веков, вне зависимости от политической ориентации. И все же мечты политических радикалов, таких как политический аналитик Михаил Юрьев, об «идеологическом обеспечении изоляционизма путем создания непреодолимых цивилизационных различий»¹² не стоит считать утопией. Если нельзя заставить людей отказаться от сравнения России с Западом, то политтехнологам вполне удастся выстроить идеологический кордон, направляя такое сравнение в сторону негативных оценок и формируя образ Запада как извечного цивилизационного врага.

Поддержанное сверху учение об «особом пути русской цивилизации» победоносно шествует по стране, не встречая значимого сопротивления. Напротив, многие представители либерального лагеря, считающие себя оппозицией нынешнему режиму, фактически поддерживают ту же идею. В конце 2008 года большой резонанс имела статья историка Ю. Афанасьева «Мы – не рабы? Исторический бег на месте: “особый путь” России»¹³. В статье излагаются идеи, очень похожие на те, которые более 30 лет назад предложил Р. Пайпс, а именно: давняя история России, уж по крайней мере с XVII века, определяет и поныне сервильность российской элиты. Разница лишь в том, что Пайпс ищет генотип сервильности в особенностях экономики, а российский историк – в специфике формирования элиты. Примечательно, что Ю. Афанасьев, один из лидеров демократического движения 90-х годов, поддерживавший тогда идею «Иного не дано» как неизбежности победы либерализма в России, сейчас видит совершенно иную предопределенность: авторитаризму в России нет реальной альтернативы.

Почему ныне такой спрос на фатализм? Потому что он спутник застоя – исторической ситуации, при которой правящая элита не хочет, а оппозиционные силы не могут и не знают, как жить по-новому. В эпоху застоя у власти и оппозиции в ходу один и тот же миф о фатальной предопределенности судьбы страны и в этом смысле ее «особом пути».

Для властей создание в обществе атмосферы предопределенности, невозможности изменить ситуацию к лучшему усилиями граждан – важнейшее средство самосохранения.

Какая-то часть либерально ориентированной интеллигенции, отвергая идею «особой цивилизации» как «тысячелетнего величия России», охотно принимает тот же миф в другой упаковке – как цивилизацию «тысячелетнего рабства».

Итак, ныне можно выделить как минимум три основных типа апологетов идеи цивилизационной предопределенности «особого» исторического пути или колеи России.

Первую группу можно назвать *охранительной*. Это прежде всего представители «силовой ветви» властной элиты. Именно они чаще других ссылаются на культурную предопределенность судьбы России в стремлении легитимировать этой предопределенностью свой политический курс на повышенные полномочия государственной бюрократии в системе управления.

Другая группа – *«пессимисты»*, представленные в большинстве своем деятелями, позиционирующими себя как либеральные мыслители. Для них культурная предопределенность, «особая цивилизация» являются объяснением и оправданием бездействия или неэффективных действий либеральных сил. Именно в этой группе популярна идея: «Россия – страна рабов».

Третью группу составляют наиболее *радикальные защитники цивилизационного национализма*. Именно их идеи все чаще усваивают – за неимением собственных – представители первой группы (политического истеблишмента). Представителей же второй группы («пессимистов») вообще нет смысла относить к носителям идей национализма, в крайнем случае, их можно назвать цивилизационными националистами поневоле. Они, безусловно, не заинтересованы в противопоставлении российской цивилизации любым иным. Они вовсе не считают западную цивилизацию «чуждой» и «враждебной» России. К идее «особой цивилизации» их подтолкнуло разочарование в надеждах на быстрые и заметные перемены в демократическом и гуманистическом развитии России. Все более сомневаясь в возможности модернизации нашей страны, «пессимисты» ищут объяснение этому в особенностях российской цивилизации. Поэтому мы исключаем эту группу из нашего анализа, сосредоточив внимание

на разных моделях «прагматического», идеологически ангажированного национализма, и в особенности представителях его наиболее радикальных течений.

Теоретические построения последних базируются на следующих постулатах:

- существует особая русская цивилизация, и она определяет неизбежность не просто ведущей роли государства в политической системе, но и особой роли персоны лидера нации, ее вождя или монарха¹⁴;
- естественной территориально-политической формой такой цивилизации выступает империя¹⁵;
- ведущую роль в империи должен играть русский народ, и это должно быть так или иначе закреплено законодательно¹⁶.

Это идеологическое направление, которое и является основным предметом нашего анализа, в свою очередь, распадается на множество течений.

Политические течения цивилизационного национализма

Разумеется, не все представители этого направления явно декларируют свою приверженность «особому пути», и еще меньше тех, кто использует сам термин «цивилизационные особенности» для построения своих теорий. Мы выделяем как цивилизационных националистов именно тех авторов и те группы, у которых можно обнаружить перечисленные выше три признака цивилизационного национализма.

«*Красные патриоты*» – прокоммунистическое крыло цивилизационного национализма. Исторически появилось первым в постсоветской России, в самом начале 1990-х годов (тогда оппоненты именовали их «красно-коричневыми»). Для идеологов этого направления «особая цивилизация» – это империя в границах бывшего Советского Союза (может быть, с теми или иными коррекциями, но СССР видится как основа легитимации будущей России), облеченная миссией победить империю Запада (ее еще называют «евроатлантической» или «американской»). Такая миссия обусловлена национальным характером русского народа, движимого идеалами коммунизма (вариант: ра-

венства и соборности, удачно воплотившимися в коммунизме) и создающего новую великую империю. Примечательно, что коммунистические идеалы рассматриваются этой весьма экзотической, но до сих пор широко распространенной доктриной не как заимствования западного марксизма, а как проявления национального «русского духа». С декларации подобных идей начинали свою деятельность многие организации «красных патриотов». Это ранняя «Память», а затем и множество так называемых «фронтов» борьбы с западным капитализмом начала 90-х – Объединенный фронт трудящихся, Союз офицеров, Фронт национального спасения и др.¹⁷ Затем та же линия была продолжена в КПРФ и создаваемых ею коалициях с националистами. Однако ностальгия по СССР постепенно слабела, и хотя КПРФ сумела к концу 90-х подмять всех конкурентов по «красно-патриотическому» сектору, политический вес партии начал уменьшаться.

Черносотенцы – крайне правые, православно-националистические организации, подчеркивающие свою историческую связь с аналогичными в идейном плане организациями царской России¹⁸. В 1905 году сформировалась организация под названием «Черная сотня», выступавшая за политическое закрепление доминирующей роли русского православного населения в империи Романовых. Эту же идею поддерживают и их наследники в современной России. В 1992 году ими была создана организация «Черная сотня» и основана газета под тем же названием, позже предпринималось несколько попыток возродить дореволюционный Союз русского народа.

Если «красные патриоты» призывают возродить относительно недавнюю советскую империю, черносотенцы выступают за возрождение империи дореволюционной, то есть их проект является гораздо более утопическим. На волне массового отторжения от всего советского в начале 90-х фантастичность этих планов была не столь очевидна, но черносотенные организации (в первую очередь – Национально-патриотический фронт «Память» и некоторые его порождения, включая ту самую «Черную сотню») стали быстро слабеть. Черносотенство существует до сих пор, но его организации, в первую очередь – несколько версий объединенного, но уже расколовшегося Союза русского народа, выглядят очень слабо.

Православные фундаменталисты. Одной из видимых причин стратегической неудачи черносотенной пропаганды была ее непо-

нятность широким кругам сограждан: архаичная православная и монархическая риторика кого-то притягивала, но большинство отталкивала. Но по мере роста и интеллектуального укрепления (пусть только относительного) околочерковной общественности у черносотенцев нашлась новая аудитория, и они сошлись с совсем новыми активистами – православными фундаменталистами. Последние тоже были отнюдь не чужды этническому русскому национализму, но главным для них было другое – битва с Антихристом, проявляющим себя, например, в навязываемых постсоветскими властями в подражание Западу символах (товарные штрих-коды, ИНН и т.п.). Особая же роль России понималась в религиозных терминах: Россия – престол Богородицы, последний оплот веры в мире, погружающемся в апостасию, и т.д. Так на рубеже 1990-х и 2000-х годов сформировалось довольно заметное движение русских православных фундаменталистов¹⁹. Руководству РПЦ (против которого в первую очередь выступали фундаменталисты) удалось ослабить это движение, и оно так и не стало (возможно, пока) важным фактором российской политической сцены, хотя и внесло свою лепту в националистическую повестку дня.

Неоевразийцы – еще одно откровенно антизападническое политико-идеологическое течение, сложившееся в середине 1990-х. Оно неразрывно связано с именем Александра Дугина, политические взгляды которого неоднократно менялись. Но дело, собственно, не в его взглядах, а в удивительной роли, которую сыграл этот человек в становлении русского национализма²⁰. До 1998 года он был ведущим идеологом Национал-большевистской партии. Позже Дугин сумел воспользоваться тем, что некие весьма приблизительные представления о евразийстве²¹ – как о двойственной русско-тюркской и православно-мусульманской сущности России – широко распространились в политическом истеблишменте. Взгляды самого Дугина при этом всегда были ближе отнюдь не к классическому евразийству, а к западным «новым правым», что позволяет охарактеризовать эти взгляды как неонацистские. Отказавшись от былого радикализма (отнюдь не полностью, конечно, речь идет скорее о перемене имиджа) Дугин стал успешно эксплуатировать эти банальные антизападные представления, выдвигая себя на роль интеллектуального гуру уже не для нацболов, а для чиновников различного ранга. Со-

зданные им в начале 2000-х организации «Международное евразийское движение» (МЕД) и «Евразийский союз молодежи» эфемерны и малолюдны, но список руководства МЕД впечатляет избытком статусных деятелей²². А главное, его идеи в той или иной мере используют все перечисленные отряды русского национализма, как бы они ни относились к самому Дугину. При всех изменениях его политических взглядов две основные идеи повторяются в его работах как заклинания: необходимость построения Евразийской империи, по крайней мере в масштабах бывшего Советского Союза, и противостояния так называемому «англосаксонскому либерализму»²³.

Неонацистские группировки. Сейчас русские неонацисты – это ориентированное на молодежную среду и наиболее агрессивное движение. История русского неонацизма уходит еще в советское время, но и тогда, и в 90-е годы неонацизм был не настоящим, а скорее имитационным. Организации, которые чаще всего заслуживали звание «русских фашистов», даже если сами называли себя фашистами или нацистами, в большинстве случаев не были таковыми, опирались на эклектичные идеологии и были непохожи ни на классические нацистские организации, ни на послевоенных западноевропейских неонаци. В первую очередь это относилось к Русскому национальному единству (РНЕ), которое в середине 90-х годов подмяло под себя или вытеснило почти все группировки радикальных русских националистов. РНЕ одобряло Гитлера, но культивировало традиционный русский патриотизм, организация числилась православной, но взгляды лидера и многих активистов были чрезмерно экзотичны для того, чтобы принять такую самоидентификацию, и т.д. РНЕ было военизированной организацией, но вовлеченной в сравнительно небольшое (для ее огромного размера – до 15 тыс. человек в лучшие времена) количество насильственных акций. В 2000 году РНЕ развалилось на много мелких организаций – отчасти под давлением властей, отчасти из-за собственной бездеятельности²⁴.

Крах РНЕ обозначил некую общую политическую тенденцию: тупиковое состояние радикального русского этнического национализма, сложившегося в 90-е годы. Их пропаганда больше не действовала на массы. Она не давала прироста их организациям. Они все больше теряли поддержку избирателей на выборах, к тому же с начала 2000-х годов и сами выборы стали сугубо имитационными, не от-

ражающими реальными общественными настроениями. Военизированные структуры утратили смысл – их негде было применить в условиях политической демобилизации общества. И наконец, часть лозунгов националистов в эти годы была перехвачена властями. В таких условиях радикальный национализм принялся искать новые формы.

Одним из проявлений этого поиска стал быстрый рост движения наци-скинхедов. Зародилось это движение в середине 90-х годов в России и изначально было построено на копировании западноевропейских движений наци-скинхедов. Такое копирование подразумевало, во-первых, изучение и воспроизведение неонацистской идеологии White Power (мнение, что скинхеды – это сплошь тупые хулиганы, было сильным преувеличением уже тогда), во-вторых, освоение внешних проявлений субкультуры западных ультраправых (в одежде, музыкальных стилях, формах и стиле поведения в публичной сфере) и, в-третьих, демонстрацию активности – систематическое (в идеале) уличное насилие против любых «иностранцев» (сперва приоритетны были акции против чернокожих, так как так делали в Европе, потом – против выходцев с Кавказа, еще позже – против людей с внешностью представителей коренных национальностей Центральной Азии).

Активность наци-скинхедов постоянно нарастала, и в начале 2000-х масштаб их преступлений был таков, что его уже нельзя было не заметить. Еще через пару лет, в середине десятилетия, неонаци стали не просто заметной, но и самой активной и многочисленной частью русского националистического движения. Их перевес был столь очевиден, что с тех пор ни один националистический проект, претендующий на не маргинальную роль, не может без них обойтись²⁵.

В последние годы проявились некоторые признаки ослабления моды на субкультуру скинхедов, по крайней мере в крупнейших городах страны. Усиливается и давление власти на организации скинхедов, ужесточается их преследование правоохранительными органами. Тем не менее это движение остается заметной силой, сохраняющей свой воинственный и анархический характер, проявляющийся в организационной структуре движения. Оно представляет собой множество небольших автономных групп (зачастую менее десятка бойцов), которые поддерживают преимущественно горизонтальные и часто заочные связи друг с другом. Иногда возникают иерархические сетевые

организации – такими были «Объединенные бригады 88» в начале десятилетия, сейчас таково движение Nazi Straight Edge. Бывали и попытки создать большие политические организации, самой крупной из которых было Национал-социалистическое общество (НСО), активно выступавшее с 2004 года и на политической сцене (местные выборы, «Русский марш»), и в уличных нападениях и убийствах. НСО, однако, было разгромлено правоохранительными органами в 2007–2008 годах. Сейчас идет процесс запрета последней крупной легальной организации неонаци – Славянского союза (СС). В силу указанных причин неонацистское движение снова возвращается к форме автономных, горизонтальных и законспирированных структур.

Попытки русских националистов сойти с «особого пути»

Ввиду аморфного характера нынешнего неонацистского движения не просто говорить о его идеологии. Но, не претендуя на полный контент-анализ производимых этим движением разнородных текстов (хотя такая работа должна еще быть проделана), можно определенно сказать, что при переходе от патриотического синкретизма РНЕ к идеологии White Power были утрачены основополагающие признаки русской версии цивилизационного национализма.

White Power – новое для России идейное течение, и оно не поддерживает традиционный лозунг постсоветского русского национализма: назад к империи. Наци-скинхеды не только не выдвигают имперских требований расширения территории, но и не поддерживают идею «удержания территории». Напротив, они заинтересованы в отделении от России этнически («расово» – в их понимании) чуждых территорий – а именно Северного Кавказа. Они позиционируют себя как обороняющаяся сторона – обороняющаяся от «нашествия» иммигрантов и вообще неславян (редко, но упоминается также и исламская экспансия; неонаци обычно равнодушны к религии, будь они неверующие, православные или неоязычники).

Неонаци все меньше верят в «фюрер-принцип», так как разочарованы в деятельности уже выдвигавшихся фюреров – А. Баркашова (РНЕ), Д. Румянцева (НСО), Д. Демушкина (СС) и т.д. Но, разумеется, они не поддерживают и идей либеральной демократии. Как

уже отмечалось, они – стихийные анархисты, и многие из них так себя и позиционируют.

И наконец, само представление об «особом пути» России скинхедам глубоко чуждо. Они ориентируются на White Power и признают необходимым союз (пусть не дружественный, но вынужденный) «белых народов» против всех остальных. Их идеал – этнически чистое в своем самоопределении (существование подчиненных этнических групп допускается) государство в ряду таких же других государств. Более того, они верят, что именно так в идеале должно пониматься «национальное государство» и в Западной Европе. Так, по их мнению, там и было бы, но мешает «проклятая политкорректность». Это не буквальная цитата, но она отражает суть мысли, которую мы не можем дословно процитировать в силу того, что подлинник основан на ненормативной лексике.

В то же время российским неонаци не чужды идеи цивилизационного национализма, но не в классической российской их редакции, а в версии, сложившейся в Третьем рейхе, – как цивилизации белой арийской расы, призванной господствовать в мире. Разница лишь в том, что немецкие нацисты исключали славян, в том числе и русских, из числа арийских народов, а русские неонацисты не сомневаются в необходимости доминирования в России этнических русских (определяемых чаще всего по крови, хотя некоторые готовы смягчить критерии, тем паче, что и сами неонаци вполне могут быть с неславянскими фамилиями).

Движение наци-скинхедов, даже постепенно отказываясь от весьма специфической скинхедской стилистики, все равно остается неприемлемым для широкого круга граждан, которые, в принципе, могли бы стать опорой русского национализма. Отталкивают открытые симпатии к Гитлеру, явно видимые иностранные корни движения, еще более явное равнодушие (а чаще – открытое пренебрежение) к сложившимся уже традициям националистического дискурса – все это требует слишком радикальной перестройки от потенциальных сторонников. Не зря движение неонаци остается преимущественно молодежным, но и в молодежной среде его рост затормозился.

К началу 2000-х годов в националистической среде ощущалась потребность в другом варианте национализма, приемлемом как для на-

ци-скинхедов, так и для более консервативных в своих поведенческих и ментальных привычках граждан. Эту потребность попыталось использовать Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ), появившееся на политической сцене России в 2002 году. Оно предложило русской молодежи, а затем и не только молодежи, проверенный еще РНЕ и популярный продукт в виде лозунга: «Россия для русских». ДПНИ яснее, чем неонацисты, сформулировало образ основного врага русских: формально это иноэтничные иммигранты, а фактически все «иностранцы». «Мигрантофобия» стала не только общепонятной, но и легальной версией националистической пропаганды: ее можно было формулировать не в этнических терминах и выступать практически в унисон с множеством чиновников, рассуждающих о необходимости ограничения иммиграции (со столь же прозрачными этническими коннотациями). Первоначально ДПНИ не выступало с какими-либо политическими декларациями, кроме единственной и главной идеи – обеспечения господства этнических русских в стране, и это также обеспечило симпатии к ДПНИ у многих сторонников иных групп и течений русских националистов, включая наци-скинхедов, поскольку такая простота повестки позволяла избегать идеологических расколов, давно признанных одной из главных проблем движения русских националистов. Поначалу ДПНИ проявляло лояльность к властям, что заметно уменьшило давление на него со стороны правоохранительных структур. ДПНИ не выглядело как подражательный, привнесенный с Запада политический феномен, и в то же время лидер ДПНИ Александр Белов справедливо ссылался на то, что основное требование ДПНИ идентично основному требованию европейских ультраправых, в том числе соответствующих парламентских партий, и это придавало движению солидности. При этом ДПНИ неразрывно связано с предшествующими течениями русского национализма: сам А. Белов – выходец из Национально-патриотического фронта «Память» и до сих сохраняет связи с ним.

В то же время во второй половине первой путинской каденции растущая популярность в России идей национализма превратила их в ценный политических ресурс, который не мог быть оставлен без внимания большинством российских политических партий антилиберальной направленности. КПРФ, которая еще в 90-е годы осваивала идеи цивилизационного национализма (формально не отказыва-

ясь от традиционной для левых сил идеи интернационализма), в 2002–2003 годах переживала подъем этнонационалистической риторики. Либерально-демократическая партия В. Жириновского, почти утратившая всякую идейную окраску к исходу 90-х, в первой половине 2000-х снова стала педалировать идею русского национализма, соединенного с социальным популизмом (и выдвинула на выборах в Думу пятого созыва лозунг: «Мы за бедных, мы за русских»).

А власти к парламентским выборам 2003 года создали сначала избирательный блок «Народно-патриотический союз “Родина”», а затем и партию «Родина». Этот проект поначалу можно было считать вполне удачным для его конструкторов, но, несомненно, у них вскоре появились сомнения, не слишком ли он успешен. Триумфальное выступление «Родины» на выборах 2003 года (9% голосов у только-только созданного блока, отнятых в значительной степени у главной оппозиционной силы – КПРФ) продемонстрировало не только популярность ее национал-популистской риторики: ведь и КПРФ выступала по сути довольно сходным образом. Отличие от КПРФ было скорее в форме: «Родина» была откровеннее и выглядела свежо, то есть выборы показали также и популярность идеи новой партии как таковой. Рост партии «Родина» был просто ошеломляющим: по итогам проверки, проведенной Федеральной регистрационной службой (апрель 2006 года), партия насчитывала 135 тыс. членов и являлась второй по величине политической партией в России, уступая только основной партии власти – «Единой России». «Родине», первоначально лояльной властям, разрешалась откровенная национал-популистская риторика, явно оставившая позади и КПРФ, и партию В. Жириновского, слишком рутинно исполнявшего роль главного официального националиста. И этноксенофобная, и оппозиционная риторика «Родины» первоначально сдерживались уже самим фактом связи этой партии с Кремлем. Мы еще остановимся на объяснении двойственной позиции российской власти по отношению к национализму, а пока отметим, что вовсе не рост агрессивности националистических, ксенофобных идей привел в конце концов к краху партии «Родина». Это произошло именно в силу того, что партия стала выходить из повиновения. Тогда сами конструкторы этой партии ее и разрушили²⁶.

Идеология «Родины» с трудом поддается интерпретации, так как в одной партии собрались слишком разные люди. Были там и явно

левые деятели (О. Шеин), и консервативные православные националисты (А. Крутов и др.), и социально ориентированные консерваторы (С. Глазьев), и типичные адепты «особого пути русской цивилизации» (Н. Нарочницкая), и деятели, стремящиеся к чистоте расово понимаемого этнонационализма (А. Савельев). Все это многообразие так и не сложилось (да, наверное, и не могло сложиться) не только в единую идеологию, но даже и в общую партийную риторику. Зато четко прозвучал главный меседж «Родины», идентичный меседжу ДПНИ – за этнизацию Российского государства, против мигрантов (под которыми в общественном дискурсе устойчиво понимаются отнюдь не любые переселенцы, а именно «понаехавшие» этнические нерусские в «традиционно русских» регионах).

Пока партия действовала, она активно привлекала оппозиционеров самого разного толка, в том числе и активистов складывающихся сетевых националистических структур. Даже неуправляемые анархические наци-скинхеды рассматривались «Родиной» как приемлемый актив. И здесь возникала естественная конкуренция с ДПНИ, уже претендовавшим на него.

Само ДПНИ тем временам быстро росло, создавая небольшие, но активные ячейки во многих регионах и сотрудничая с полуподпольными неонацистами. Связанное с радикалами, не признаваемое властями, несмотря на всю изначальную лояльность, движение было обречено на дрейф в сторону политизации. Триумфальный первый «Русский марш» 4 ноября 2005 года сделал ДПНИ широко известным и укрепил амбиции, а апогея они достигли после беспорядков в Кондопоге почти год спустя, представленных ДПНИ как собственный успешный проект. Превращение в оппозиционную политическую организацию было почти неизбежным. И как раз в это время, в середине 2006 года, развалилась «Родина», и значительная часть ее лидеров и актива стала естественным союзником ДПНИ в этом процессе. Это были представители наиболее националистического ее крыла, отказавшиеся от вхождения во вторую по значению партию власти – «Справедливую Россию». Так возник проект партии «Великая Россия». Ее основой должны были стать в первую очередь ячейки ДПНИ, а лидером – радикальный этнонационалист и тогда еще депутат Госдумы Андрей Савельев. Но власти не поддержали этот проект и, следовательно, в современных российских условиях обрекли его на

провал. «Великая Россия» быстро сошла со сцены, а ДПНИ с тех пор подвергается нарастающему давлению властей. Оно оказалось загнанным в непримиримую оппозицию, сейчас находится в тяжелом кризисе и вряд ли сможет снова стать знаменем русского этнонационализма, каким оно было в 2005–2006 годах. Но его идеи и методы подхвачены другими.

Так, в 2009 году быстро поднялась группировка «Русский образ», фактически повторявшая путь раннего ДПНИ, подчеркивающая свою неопозиционность и еще теснее связанная с неонаци. Эта группировка, так же как ДПНИ и «Родина», делает упор на соединение национализма и социально популистской риторики. Подъем «Русского образа» был заторможен только арестом двух причастных к этой организации людей по обвинению в убийстве адвоката и антифашиста Станислава Маркелова, но если и «Русский образ» будет маргинализован так же, как до него ДПНИ, попытки повторить успех ДПНИ, скорее всего, будут продолжены.

Политически проблематично, конечно, создать движение, которое сможет вырасти и не стать оппозиционным или, по крайней мере, не быть воспринятым как таковое в Кремле. Но опыт политического конструирования, представленный в истории ДПНИ, может оказаться перспективным в идеологическом плане.

Адепты чистого этнонационализма даже выпустили в 2010 году первый номер журнала «Вопросы национализма» под редакцией Константина Крылова, который вообще исключает идеологов империи из числа русских националистов²⁷. Об этой коллизии мы еще поговорим, пока же заметим, что у сторонников чистого этнического национализма есть преимущества по сравнению с другой ветвью цивилизационного национализма – державно-имперского. У этнических националистов есть практически неистребимая горизонтальная структура, включающая самых разных людей, от бизнесменов и молодых профессионалов до уличных бойцов. И у них есть идея, привлекательная для многих, – сделать Россию «нормальной», «как у всех», этнонациональным государством, в котором доминирующую роль будут играть этнические русские.

«Русская доктрина» как наглядный эксперимент по формированию официальной идеологии цивилизационного национализма

Идейный продукт, который производят в России все политические группировки, именующие себя защитниками российской «особой цивилизации», может быть сведен к *двум основным разновидностям*. Первая включает в себя сугубо пропагандистские, идеологические тексты, в которых идея цивилизационной предопределенности постулируется без обоснований, по принципу «как известно». Вторая разновидность продукции цивилизационного национализма – это научные концепции. И те и другие построения служат формой идеологического запрета на заимствование или выращивание демократических институтов в России. Мы попытаемся обосновать этот вывод, начав наш анализ с откровенно пропагандистских доктрин.

Одна из них – «Русская доктрина», манифест так называемого «русского консерватизма», идейно сплотивший различные политические круги антилиберальной и антизападной направленности²⁸. Доктрина последовательно презентовалась в разных аудиториях в 2005–2007 годах. В частности, она была предложена несостоявшейся партии «Великая Россия», и та взяла ее за основу своей программы. В какой-то момент даже показалось, что доктрина вот-вот получит официальное одобрение. Она начала всерьез рассматриваться некоторыми деятелями Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) – одного из трех идеологических клубов «Единой России». Одновременно о доктрине одобрительно высказался идеолог (и будущий патриарх) Русской православной церкви митрополит Кирилл²⁹. Но интерес и в ЦСКП, и в руководстве РПЦ к «Русской доктрине» быстро угас, как только стало ясно, что не будет никакой санкции свыше на продвижение столь амбициозного продукта, разработанного вне прямого контроля Кремля.

«Русская доктрина», как и большинство текстов такого рода, созданных в 2000-х годах, чрезвычайно эклектична и сочетает в себе идеи «левые» и «правые», «русские» и «евразийские». Наиболее принципиальной и последовательной позицией этой доктрины выступает негативная консолидация, постоянное обращение к образу врага. Как отмечает известный российский исследователь Г. Зверева,

«Русская доктрина» буквально пронизана оппозициями «мы – они», «свои – чужие», «Россия – Запад», «либерализм – консерватизм» и др. Базовые слова этой доктрины – «русская цивилизация», «русский дух», «православие», «национальное русское государство». Все это, по мысли авторов, политические и культурные явления, принципиально не похожие на западные.

Текст доктрины не оставляет ни малейших сомнений в трактовке «особой цивилизации» именно как русской – этнически русской. Авторами доктрины общество «мыслится как живой социальный организм, основу которого составляет государствообразующий русский народ – русские»³⁰.

А какое место предоставляется другим народам? В доктрине они называются «иноплеменниками» и им дается почетный, по мысли авторов, статус «родственников», разумеется, младших, признающих «родоначальника и основателя дома». Таким образом, советскую идею народов как старших и младших родственников авторы позаимствовали, но развили, переведя русских из старших братьев в родоначальники. А вот советскую же концепцию интернационализма доктрина отвергает вовсе – как «игнорирующую иерархию этнокультурных ценностей России». При высоком пиетете к советскому прошлому, к «достижениям советского строя» доктрина отвергает и такую советскую традицию, как федеративное устройство страны. Россия мыслится как унитарное государство («сетевая империя») с вертикальным управлением («национальное самодержавие») и делением страны только по административному признаку, т.е. без национальных республик.

Перед нами стандартная этнонационалистическая программа, обосновывающая доминирующие права одного народа и одной религии в политической системе государства. При чем же здесь «особая цивилизация»? Цивилизационная оболочка должна, по мысли авторов, не только придать их концепции некое наукообразие, но и вооружить ее дополнительным аргументом в доказательстве предопределенности именно такого пути: «Мы иначе не можем: цивилизация не позволяет». Есть здесь и важный «психологический» момент: многим людям в России в силу сложившегося словоупотребления сложно признать себя националистами, а вот сторонниками «особой цивилизации» – без проблем. И наконец, идентификация «мы» вы-

глядит куда солиднее, если это не «нация» (наций-то много), а «цивилизация».

«Русская доктрина» позиционирует себя как политтехнологический проект, программа прихода к власти так называемых национал-консервативных сил. Но именно в качестве этнополитического проекта эта доктрина неосуществима. Она выступает за интеграцию народов России вокруг идеи особой русской цивилизации, но если определять цивилизацию в этническом ключе, количество «цивилизаций» начинает стремительно умножаться. Мы и так уже имеем целую гроздь других обособительных концепций – региональных и национальных цивилизаций. Кавказские (по самоидентификации) авторы пишут о «кавказской цивилизации»³¹, татарские – о «тюркской», «тюрко-татарской» или «мусульманской цивилизации»³². В адыгской среде заговорили об «адыгской цивилизации», у чувашей возникла идея «болгаро-чувашской цивилизации», а у якутов – «цивилизации народа саха»³³. Вот вам и единая русская (или хотя бы евразийская) цивилизация.

Заблудившиеся в «матрице»

Идеология цивилизационного национализма в той или иной мере подпитывается теоретическими разработками известных ученых. Один из них – А.С. Панарин³⁴, академические заслуги которого не подлежат сомнению, а нонконформизм и научная смелость, неоднократно проявлявшиеся в советские годы, вызывают уважение. На рубеже 1980 – 1990-х годов, когда в обществе господствовали ощущения отклонения России от пути «нормальной цивилизованности», А. Панарин призывал к «расширению горизонта собственного бытия» и «гуманистическому универсализму». Он выступал против подхода, «расчленяющего единство человеческого рода», за «универсалистскую перспективу общечеловеческого спасения и совместного будущего»³⁵. После событий октября 1993 года А. Панарин резко сменил курс и заявил о крахе ожиданий возвращения в «европейский дом». Разочаровавшись в возможности либеральных реформ в России, философ сблизился со сторонниками неоевразийской идеологии и антиглобализма. В это время основной идеей для А. Панарина стала «православная цивилизация», предопределяющая

извечный путь России как надэтнической империи, как авторитарного государства, принципиально отличающегося от западных демократий. В обоснование этого фундаментального отличия А. Панарин предложил концепцию двух типов ментальности – западной и восточной (евразийской)³⁶.

В отличие от политических технологов, которые лишь постулируют некую цивилизационную предопределенность пути России, философ А. Панарин пытается обосновать свою идею. По его мнению, особенности европейского (западного) и восточного сознания принципиально различны и развиваются, не пересекаясь, как параллельные миры. Западный менталитет – эволюционный, темпоральный (т.е. зависимый от исторического времени). Он устремлен в будущее, ориентирован на достижительность и мобильность, поэтому соответствует прогрессистскому мышлению («опередил – отстал»). Восточный же (евразийский) менталитет – больше пространственный и горизонтальный, он обуславливает неспешность евразийских народов, их склонность к патернализму и жизни в больших империях. По сути, эта концепция воспроизводит содержание забытой уже дискуссии эволюционистской и диффузионистской школ в антропологии, которая завершилась признанием локальных цивилизаций в качестве пространственного выражения стадийных типов. В такой трактовке евразийская и западная цивилизации представляют собой всего лишь разные стадии единого процесса. Так оно и было в истории, ведь европейцы в прошлом были такими же «пространственными традиционалистами», как многие народы Азии ныне.

Известный исследователь античности А.Ф. Лосев пишет о статичности эллинского сознания. Оно обращено к прошлому, миром правит судьба, которой подвластны не только люди, но и боги, и, следовательно, не остается места для исторического развития. «Золотой век», по представлениям древних греков, позади, мир не движется, по крайней мере, он не претерпевает качественные изменения. Древние греки кажутся людьми, которые «пялятся к будущему», движутся навстречу ему «спиной вперед»³⁷. До эпохи Возрождения Европа не знала понятия будущего. Существовали лишь понятия «потом» и «позднее», но образа будущего как желаемого и планируемого времени не существовало. Все ценности соотносились с традиционным канонам, позитивная оценка человека означала, что он

соблюдает правила, установленные отцами и дедами. По сути, лишь в Новое время родившаяся в Европе модернизация обусловила появление идеи будущего.

Трудно назвать убедительными аргументы другого апологета «особого пути» Светланы Кирдиной. Развивая идеи институциональной экономики, она забрела на тупиковую, с нашей точки зрения, тропу культурного детерминизма и «открыла» два социетальных типа общества или, как она это определила, две доминирующие социетальные матрицы. В одной из них «я» преобладает над «мы», а в другой, наоборот, – «мы» над «я». И опять же свойства матрицы, по ее мнению, закреплены навечно. «Именно доминирующая матрица, – пишет она, – отражает основной способ социальной интеграции, стихийно найденный социумом в условиях проживания на данных пространствах, в определенной окружающей среде»³⁸.

Казалось бы, чего проще найти прародину некой цивилизации, описать специфические условия жизни социума, и все в порядке – гипотеза о стихийно найденных и почему-то навечно закрепившихся способах адаптации доказана. Однако при проверке эта гипотеза оказывается дырявой во всех своих звеньях. Изменяющиеся условия приводят либо к изменению способов социальной интеграции, либо к появлению квазитрадиций, лишь похожих на прежние. И даже простейшая на первый взгляд задача определения времени и места зарождения доминирующей матрицы чаще всего оказывается неразрешимой.

Многие народы, которые А. Панарин и С. Кирдина относят к разным типам по их «извечной ментальной сущности», сформировались в одних и тех же условиях. Скажем, финны, по А. Панарину, принадлежат западному типу, это «темпоральные прогрессисты», тюркские же народы – к евразийскому, они «пространственные традиционалисты». Но ведь и те и другие относятся к одной и той же алтайской семье, сформировались на Алтае и лишь по прошествии веков стали расселяться из Азии в Европу. Финны вкупе с уграми по происхождению – такой же евразийский народ, как русские, которые исторически расселялись в обратном направлении – из Европы в Азию.

Так когда же и в каком регионе сложилась «изначальная сущность» евразийской цивилизации? А если этих начал было несколько, то какие же они вечные? Если однажды народы меняли истори-

ческую колею, то что ограничивает возможность таких перемен в другие эпохи?

Идея вечности и неизменности культуры предполагает неизменность и замкнутость жизни. Но такой изолированности никогда не существовало, за исключением разве что некоторых племен в джунглях Амазонки, в пустыне Калахари или в других труднодоступных районах. Народы мигрировали, и в процессе миграции менялись условия их существования. А раз менялись условия, то и народы менялись вместе с ними. Вначале у той же алтайской группы был общий культурный код, единый язык, адаптивность к одним и тем же природным условиям. Но условия жизни в Алтайских горах и условия жизни в Финляндии или Венгрии совершенно разные, и к ним люди по-разному приспособивались. Однако и обустроившись на новых местах, народы постоянно сталкивались с волнами иноэтнических нашествий и переселений. Вследствие этого множество народов круто изменяли этническую подоплеку своего существования. Например, нынешние англичане и французы сначала были кельтскими народами, потом они романизировались, затем оказались под влиянием германских народов. Однако характер заимствований оказался разным. У англичан от кельтского периода осталось название государства (Британия), от германского – язык. Французы не сохранили свое первичное кельтское самоназвание (галлы), приняли название германских племен франков, но их литературный язык, в отличие от англичан, входит в состав романской группы. Болгары исторически выбрали тюркское самоназвание, но сохранили славянский язык и славянское самосознание. И в таком котле непрерывного культурного этногенеза и трудно объяснимой комбинации разных культурных корней в языке, самоназвании и самосознании народов С. Кирдина хочет найти основу незыблемой матрицы и извечного культурного кода?

Поразительные нестыковки наблюдаются и при попытках локализовать «русскую (евразийскую) цивилизацию» во времени. Например, директор Института российской истории академик А.Н. Сахаров проводит различие между «русской цивилизацией», сложившейся, по его мнению, в X–XIII веках, и «евразийской державой», или многонациональным государством, возникшим к концу XV века при Иване III. В это время должна была сложиться и ев-

разийская цивилизация. Однако в другом своем труде он говорит о возникновении евразийской цивилизации лишь в XVIII веке. Африканист Ю.М. Кобищанов заявляет, что «русская цивилизация» сложилась в XVI–XVII веках, тогда как в XVIII веке ее место заняла «петербургская разновидность западной цивилизации», на смену которой позднее пришла «советская цивилизация». Руководители Союза реалистов и клуба «Реалисты» еще только призывают «приступить к формированию евразийской, славяно-тюркской цивилизации»³⁹. Поскольку критерии выделения русской (евразийской) цивилизации сугубо произвольные и каждый ее конструктор предлагает собственный набор таких критериев, то нет ни малейшей надежды на то, что участники этого увлекательного конструирования когда-нибудь договорятся о времени возникновения особой цивилизации.

Единство и борьба противоположностей в русском национализме

Как уже отмечалось, в русском цивилизационном национализме парадоксально соединяются три разные и, казалось бы, плохо сочетаемые друг с другом идеи: имперская идея (в русском языке – «державничество»), этнический национализм и собственно идея развития и конфликта сверхнациональных цивилизаций.

В теории нации и национализма имперский и националистический принципы являются антиподами уже потому, что национализм как политическое течение предполагает суверенитет народа-нации, тогда как имперский режим – это суверенитет власти (империи). Однако в реальной исторической практике такого жесткого противопоставления двух принципов не существовало. Лишь националистические движения этнических меньшинств могли, и то только на определенных этапах своей активности, придерживаться классических норм национализма. Что касается националистических движений, выступающих от имени этнического большинства империй, то они чаще всего поддерживали идею сохранения державы как тела нации и ее имперского режима как стержня нации. По крайней мере, в империи Романовых, в поздней фазе ее существования, возникли, как мы уже отмечали, именно такие русские националистические

движения (радикальный их вариант – Союз Михаила Архангела, Союз русского народа и др.). И в настоящее время немалая часть русских националистических организаций признает одновременно и доминирующую роль этнических русских в политической системе России, и идеалы имперского ее устройства. Вот, например, пытается теоретизировать обычно избегающий этого занятия лидер ДПНИ А. Белов: «Да, у России – имперская судьба... Русское сознание неизбежно, фатально тяготеет к предельному и запредельному, а значит, русские обречены на экспансию, на расширение границ русского мира... И потому любая государственность, которую русские будут строить, так или иначе окажется Империей»⁴⁰.

Вместе с тем сохраняются и различия двух принципов. Так, рост этнической подозрительности плохо сочетается со стремлением удержать народы в едином государстве. Лозунг «Россия для русских» абсолютно противоположен традиционному имперскому лозунгу «Все народы – подданные одного государя» (с необходимыми вариациями, если империя – не монархия). В современной политической жизни то и дело вспыхивают горячие дискуссии между имперцами (они же – державники) и русскими этнонационалистами. Державники утверждают, что русский национализм для имперского возрождения вреден и даже ведет к распаду России. Этнонационалисты отвечают, что имперский режим в прошлом высосал из русского народа всю кровь, а ложные наднациональные доктрины лишь мешают созданию этнонационального государства, в котором русский народ будет признан наконец единственным государствообразующим. Кроме того, этнонационалисты упрекают имперцев в нетвердости их этнонациональной идентичности и даже в недостаточной расовой чистоте, дескать, они «полукровки»⁴¹.

Цивилизационный национализм в какой-то мере примиряет обе стороны, выдвигая на первый план общие как для державников (имперцев), так и для русских этнонационалистов ценности, вытекающие из важнейшей для цивилизационного национализма идеи об изначальности базовых культурных характеристик автономных групп человечества. Вот и оба рассматриваемых нами течения исходят из примордиалистского представления об этнических свойствах как якобы навечно генетически прикрепленных к телу народа-этноса, а в числе этих свойств одно из первых мест занимает представле-

ние о будто бы извечной склонности русских людей к имперскому режиму и имперскому величию. «Наше тяготение к твердой руке, – пишет М. Юрьев, – обусловлено не столько хаосом в нашей общественной жизни, сколько глубоко укорененной внутренней потребностью русских людей»⁴². Это говорит один из самых радикальных сторонников создания новой империи. Далее, и державники, и этнонационалисты осознают, что имперская идея крайне непривлекательна для большинства народов России. При этом не только для чеченских, татарских, якутских и прочих националистов, добивающихся большей автономии или полной независимости своих республик, но и для правящих элит этих республик. Поэтому в качестве единственного потенциального субъекта возрождения империи и имперцы, и националисты рассматривают этническое большинство. Отсюда вытекает и общая их поддержка идеи политического доминирования в России этнических русских. Ее активно отстаивают представители обоих течений. Но возникает неизбежный спор о том, как определять «русских».

Самый простой вариант – «по крови». Потенциально он может пользоваться большой популярностью, так как именно так понимает термин «национальность» огромное количество наших сограждан, а еще большее количество, видимо, рассматривает этот вариант наравне с другими («по языку», «по культуре» и т.д.). Этот вариант открыто предлагает, например, Александр Севастьянов, экс-сопредседатель Национально-державной партии России (НДПР), и с ним вполне солидарны все русские неонаци. Если на таком основании строить империю, это будет проект империи, откровенно списанный с модели Третьего рейха, где был апробирован инструментарий его практической реализации⁴³.

Гораздо популярнее сейчас более respectable вариант понимания «русскости» – «по культуре». О нем много говорят националистические активисты. Например, один из национал-имперских проектов, более соответствующий нынешним настроениям, представляет Д. Володихин. В нем «правлящую элиту России должны составлять русские по культуре, при этом необязательно русские по крови». Однако автор подчеркивает, что «их конфессионально-культурная принадлежность должна быть прочной, очевидной»⁴⁴. Уже в этом проекте российским мусульманам, численность которых в Рос-

сии за полвека удвоилась и продолжает быстро расти, в элите имперского государства места нет, не говоря уж о не менее многочисленных атеистах и агностиках.

Большая проблема определения «по культуре» в его слабой функциональности: непонятно, какие элементы культуры оценивать и как именно. На практике используется произвольная смесь разных элементов при полном игнорировании их взаимосвязей, различий и способов оценки. В этом проявляется политическая маргинальность русских националистов: они настолько еще не представляют своего прихода к власти, что мало интересуются реальными проектами переустройства (а то, что подается как такие проекты, за редким исключением является просто пропагандистской продукцией). Хотя у всех перед глазами наглядный пример нефункциональности определения «по культуре»: власти уже полтора десятилетия не могут толком определиться с тем, кто такие «соотечественники».

Впрочем, для целого ряда теоретиков «особого пути» проблема определения «русскости» не стоит, поскольку они вообще не обращаются к ситуации отдельного человека, мысля исключительно в масштабах народов и цивилизаций. А. Панарин предлагал проект империи, основанный на «незыблемой сущности евразийской цивилизации». В его концепции империя – это надэтническое образование, в котором есть место как православной, так и мусульманской религиям, лежащим в основе «евразийской цивилизации» и, соответственно, евразийской империи, а уж люди как-то должны подстроиться под это единство⁴⁵.

В том же ключе рассуждает обычно и Геннадий Зюганов, явно и неявно цитируя более уважаемых адептов цивилизационного национализма и смешивая самые разные подходы к русскому национализму. Вот как представляли Зюганова в качестве кандидата в президенты на выборах 2008 года: «Зюганов неуютен Мировому правительству и команде Путина не только потому, что он коммунист, а потому, что он единственный из кандидатов в президенты русский и по крови, и по духу. В отличие от других кандидатов – западников Зюганов убежден, что Россия больше чем страна, что она не охвостье Запада, а самобытная русская цивилизация, что субъектом национальных интересов России является не прозападная элита, а российский народ, 83% которого составляют русские. Поэтому русский

язык и русская культура являются духовной основой единства России. Нужно объединить здоровые силы, чтобы спасти русскую духовную культуру как триединство науки, искусства и веры от уничтожения. Нужно бороться против выхолащивания нравственного начала и эстетического содержания в художественном творчестве, против подмены добра и зла. Об этом Зюганов написал в своих книгах “О русских и России”, “Святая Русь и Кашеево царство”»⁴⁶.

Как ни странно, довольно последовательную концепцию культурного этнонационализма, причем именно имперского толка, разработала РПЦ. Эта концепция была предложена совместно патриархом Алексием II и будущим патриархом Кириллом еще в 1999–2000 годах, и с тех пор она если и не развилась вглубь, то точно распространилась вширь. Концепция «церковного русского национализма», если так можно выразиться, опирается на определение «русскости» именно по культуре, ни в коем случае не по крови (хотя оговорки про «кровное родство» и т.п. встречаются, конечно, это скорее прорывы отвергнутого, но не забытого биологизирующего подхода к этничности, неизбежного для подавляющего большинства советских людей). «Культура» же определяется просто и вполне однозначно – по религии. Такое определение дает наиболее инструментальное, весьма широкое и при этом инклюзивное понимание «русскости».

В соответствии с православными канонами все крещеные в Православной церкви являются православными христианами. Множество таковых в России почти целиком покрывает множество тех, кто определяет себя как русских (проценты крещеных и русских по опросам практически совпадают). Но это множество также включает немалое число других граждан – евреев, татар, украинцев и т.д. по самоопределению. Более того, это множество распространяется и за пределы России, составляя явное большинство населения в Украине (последующие расколы не отлучают автоматически крещеных в РПЦ людей от Церкви) и Белоруссии, значительную часть населения в Казахстане, Эстонии, Латвии и далее по убыванию. Даже в Европе и США есть значимое количество так определяемых русских, хотя там РПЦ приходится обращаться уже к иным культурным критериям в ходе общения с другими православными церквями.

Нет, никто в РПЦ не говорит (исключая маргиналов), что понятия «русский» и «православный» тождественны, но это и не требует-

ся, поскольку «цивилизация», во имя которой ведется это интеллектуальное конструирование, называется все-таки не русской, а российской или православной – в зависимости от требуемого масштаба. Представителям ислама, буддизма и иудаизма (в их наиболее распространенных формах и исключая оппозиционные религиозные меньшинства) предлагается роль младших партнеров.

В ситуации десекуляризации интеллектуального сообщества России в последние два десятилетия эта модель выглядит привлекательной для многих. В том числе и для значительной части высокопоставленных чиновников⁴⁷.

Российская власть и программы цивилизационного национализма

Политическая элита России находится на распутье. С одной стороны, русский этнонационализм является для властей заведомо неприемлемой стратегией, так как провоцирует подъем этнонационализмов меньшинств и чреват конфликтами. С другой стороны, национализм чрезвычайно привлекателен как эффективный способ мобилизации масс, тем более в условиях нынешней атомизации российского общества. В роли «полезного национализма» мог бы выступать национализм гражданский, идеальным образцом которого является французский республиканизм, но этому мешает авторитарная сущность власти, всегда и во всех странах ориентированной на эксплуатацию традиционных стереотипов сознания.

Таким образом, цивилизационный национализм является едва ли не единственным средством консолидации общества, приемлемым для нынешнего российского политического режима. Ему остается только выбрать, какую разновидность этой концепции использовать.

Здесь, правда, возникает некоторая сложность: сложившаяся властная структура неспособна принять идеологию из рук внешней для нее группы, поскольку такое заимствование придаст «культурному донору» политический вес и сделает его состоятельным конкурентом нынешней власти. Именно поэтому амбициозным планам авторов «Русской доктрины» не суждено было сбыться. По этой же причине и руководство РПЦ тоже не может быть провозглашено основным источником официальной идеологии.

Сейчас российские власти в соответствии с традициями В. Путина, всегда стремившегося избегать идеологической определенности, свой выбор никак не декларируют, предлагая гражданам ориентироваться по внедряемым государством практикам и символам. Важно отметить и то, что российский политический истеблишмент в его нынешнем виде – это не единая монолитная группа, а конгломерат довольно разных чиновничьих кланов, предлагающие де-факто разные версии цивилизационного национализма. Уже поэтому такая доктрина не может быть цельной и определенной.

Так, весьма непоследовательно отношение власти к имперской идеологии как неотъемлемой части российского цивилизационного национализма. С одной стороны, имперский принцип «удержания территорий» канонизирован в российской политике: В. Путин назвал «удержание государства на обширном пространстве» «тысячелетним подвигом России»⁴⁸. С другой стороны, нынешняя власть никогда не декларировала идеи имперской экспансии, если не считать создания сателлитных анклавов в Абхазии и Южной Осетии, антиукраинских эскапад Юрия Лужкова и высказываний ряда других политиков не первого ранга.

Еще одно проявление противоречивости «неуловимой» официальной идеологии связано с проблемой использования в официальном дискурсе обобщенного определения граждан России. В этих целях никогда не применяются термины «русские» и «русский народ», за которыми исторически закрепились этническая коннотация. В то же время представители власти уклоняются и от использования сугубо географического термина «россияне», введенного в официальный дискурс при Б. Ельцине, спичрайтеры которого использовали слово, встречающееся в русской художественной литературе еще XIX века. Более того, этнические русские коннотации общего определения граждан Российского государства неизбежно проявляются при участившихся попытках властей апеллировать к отечественной истории.

Такие коннотации ныне доминируют не только в учебниках истории и в речах многих деятелей культуры, но и в выступлениях политиков. Единственным средством преодоления этого очевидного противоречия выступает отсылка к надэтническому уровню общности, чаще всего прямо именуемому «цивилизацией». Само собой, риторика цивилизационного национализма все более пронизывает офи-

циальный академический дискурс, например в университетских курсах истории. Широкий общественный резонанс вызвало получение А. Дугиным, одним из наиболее одиозных идеологов цивилизационного национализма, официальной позиции в МГУ, пусть и на социологическом факультете, декан которого давно уже стал скандальным персонажем⁴⁹.

Во второй половине 2000-х годов цивилизационный национализм с его игрой вокруг этнического и надэтнического начал становится общим местом в речах не только публицистов, но и ответственных государственных деятелей, включая отца идеи «суверенной демократии» Владислава Суркова⁵⁰.

Примечательно, что Дмитрий Медведев до вступления на пост президента России фактически полемизировал с В. Сурковым (не называя его имени) и критиковал изобретенный им термин, заметив, что «понятия *суверенитет* и *демократия* – из разных понятийных категорий и сравнивать их нельзя... Если же к слову “демократия” приставляются какие-то определения, это создает странный привкус. Это наводит на мысль, что все-таки речь идет о какой-то иной, нетрадиционной демократии»⁵¹. Однако заняв пост главы государства, Д. Медведев не стал полностью исключать концепцию «суверенной демократии».

При этом отмеченный «странный привкус» понятия не испарился: ценность демократии признается, но при этом отрицаются ее наиболее существенные признаки, ограничивающие персональную власть. А обоснования такого своеобразия опираются на представления об «особой цивилизации», которой внутренне присуща большая, чем западной цивилизации, склонность к авторитарному правлению.

Подход В. Суркова, стоит отметить, строится в целом так же, как подход Русской православной церкви. РПЦ вроде бы не отвергает достижения модернизации и многие другие универсальные ценности, но отбирает и по-своему модифицирует те из них, которые совместимы с предполагаемым ею набором «изначальных» качеств реципиента – «российской цивилизации».

Таким образом якобы должен возникнуть не уцененный догоняющий проект («Россия а ля Запад»), а свой отечественный и равноценный Западу «цивилизационный проект», способный даже конкурировать с западным в глобальном масштабе.

На практике власти все последние годы совершают сложные маневры в своих отношениях с националистическими тенденциями в обществе.

Власти, с одной стороны, активно культивируют традиционные методы мобилизации общества – мобилизацию военно-героическим прошлым (прославление побед империи) и мобилизацию страхом (образом врага). С другой стороны, возможные при таких методах вспышки милитаризма гасятся, чтобы избежать реальных внешнеполитических конфликтов (как это было в начале второй войны в Ираке или во время спора с Украиной о Керченском проливе в октябре 2003 года) и не позволить усилиться одному из правящих кланов. Исключением в работе этого механизма стала война с Грузией в 2008 году, сильно разогревшая милитаристские настроения масс. Но и в этом случае российские власти старались все же не допустить сильного разогрева внутривластной милитаристской мобилизации.

Власти, видя крайне высокий уровень этнических предрассудков в обществе, могут идти у них на поводу. После этнического погрома в Кондопоге (30 августа – 3 сентября 2006 года) на высшем уровне зашла речь о необходимости «обеспечения преимуществ коренному населению» (вот вам и поддержка идеи доминирования), а после конфликта с Грузией (осень 2006 года) были введены процентные квоты для работы иностранцев в определенных сферах, в частности на уличных рынках (эта мера на какое-то время вызвала сильный эффект в крупных городах, так что даже Ю. Лужков выступил против инициированного самим В. Путиным решения правительства, но вскорости торговцы легко нашли пути обхода бюрократического ограничения). Но антигрузинские эксцессы той же осени 2006 года оказались слишком скандальны, и через два года, в ходе и непосредственно после августовской войны, вся мощь пропагандистской машины была брошена на утверждение неэтнического характера конфликта – и действительно, в острейшей ситуации прямого военного конфликта этнических антигрузинских акций в России почти не было.

Власти время от времени поощряют определенные группы националистов, стремясь использовать их в политической борьбе и/или создать лояльную и менее агрессивную версию националистическо-

го движения, но до сих пор неудачно. Эпопея «Родины» является тому наиболее известным примером. Нечто сходное происходило позже, в 2008–2009 годах, с прокремлевскими молодежными движениями. В их деятельности вдруг четко проявилась националистическая компонента, так что порой можно было говорить о сходстве с ранним ДПНИ. Однако после ряда экспериментов эта компонента была почти полностью элиминирована, так как никак не удавалось избежать ее радикализации (в том числе в виде инфильтрации со стороны неонаци)⁵².

Не имея собственной последовательной и цельной концепции «национальной идеи», власть на практике постепенно утверждает концепцию цивилизационного национализма как доминирующую. И наибольшее сопротивление этому процессу происходит, вероятно, от внутренней несогласованности и непродуманности действий самих властей. Извне же противодействие слабо, хотя самое заметное сопротивление, видимо, могут оказать именно независимые от Кремля националисты, пусть слабые и разрозненные, но все же не настолько, как другие идейные сектора оппозиции (если к националистам относить не только ДПНИ, неонаци или деятелей типа Бабурина и Рогозина, но и левых националистов – КПРФ и НБП).

Поскольку такой метод подавления сопротивления, как широкие репрессии, нынешними властями не практикуется, остаются три других – идейная конкуренция, полицейские ограничения и переманивание.

Чиновникам вести идейную конкуренцию с действительно идейными людьми трудно. Хороший пример: российская власть создала новый праздник – День народного единства 4 ноября, посвященный событиям 1612 года, однако этот праздник, понимаемый в российской исторической мифологии как праздник победы над Западом, был сразу же монополизирован русскими националистическими организациями, ситуативно объединившимися в движение «Русский марш». И теперь сама же власть боится этого праздника, заходя стягивает милицию в российские города и вынуждена изучать, как сводки с фронтов, информацию о состоявшихся или разогнанных митингах националистов, а также организовывать контрмарши «Наших» и тому подобные мероприятия.

Конечно, всегда можно прибегать к полицейским ограничениям. Они сильно помогли в ряде случаев против манифестаций националистических оппозиционеров, но в целом не смогли сломить их активность: даже очень слабое на 4 ноября 2009 года ДПНИ собрало лишь немногим меньше участников «Русского марша», чем обычно, а нацболов, например, ограничениями остановить вообще трудно. Полицейские меры позволили разгромить наиболее опасные банды неонаци в Москве и в некоторых других городах, так что в 2009 году впервые не выросло, а даже сократилось количество преступлений по мотиву ненависти⁵³. Но неонацистское подполье остается очень активным, оно стало, с одной стороны, тщательнее соблюдать конспирацию, а с другой – все чаще атакует саму полицию. Похоже, постоянно возникающие новые группы будет уже сложнее ловить. Да и в целом полицейские методы можно рассматривать лишь как вспомогательные.

Переманивание оппонентов, включая прямой подкуп или взятие под покровительство, практикуется настолько широко, насколько это возможно. Но в такого рода играх всегда активны обе стороны. Если власть думает, что она переманивает и подчиняет, то включающиеся в этот процесс оппоненты рассматривают его как переход к тактике энтризма. Они могут при этом мечтать даже о быстром успехе – о постепенном обновлении власти и росте в ней удельного веса национал-имперских сил, готовых в случае возникновения кризисных ситуаций отвлечь людей от реальных проблем смелыми планами строительства новой империи от Владивостока до Лиссабона. Эта идея изложена М. Юрьевым в его книге «Третья империя», ставшей бестселлером в 2007 году⁵⁴.

Конечно, мечты Юрьева чрезмерно оптимистичны. Независимые националисты какого бы то ни было толка в сегодняшних условиях России не могут прийти к власти в результате демократических процедур. Очень мала вероятность их прорыва к власти в результате военного переворота, хотя такая возможность и обсуждается в их кругах. Но что вполне вероятно (хотя и не неизбежно, конечно), так это постепенная эскалация экспансионистских, милитаристских и этноксенофобных настроений, в том числе и во властной элите, по мере укрепления и институционализации цивилизационного национализма. Если этот процесс пойдет достаточно

далеко, сложится некая принципиально иная политическая ситуация, при которой вероятность прихода радикально-националистических сил к власти тем или иным способом может существенно возрасти.

Вместе с тем в стратегической перспективе «особый путь» цивилизационного национализма – безусловно тупиковый, противоречащий глобальным тенденциям мирового развития, мешающий модернизации социальных институтов и тем самым подрывающий саму надежду России на достойное место в будущем мировом порядке.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Дилженский Г.Г.* «Конец истории» или смена цивилизаций? // *Цивилизации*. М., 1993. Вып. 2. С. 44.
- 2 *Паин Э.А.* Между империй и нацией. М.: Новое издательство, 2004. С. 97.
- 3 *Андреев А.Л.* «Мы» и «они»: к характеристике внешнеполитических ориентаций российского общества // *Россия в условиях трансформаций* / Под ред. С.С. Сулакшина. М., 2002. Вып. 21. С. 60.
- 4 Иного не дано. Перестройка: гласность, демократия, социализм / Авторский коллектив: А.Д. Сахаров, Н.Н. Моисеев, Т. И. Заславская, Г.Х. Попов, А.В. Яблоков и др. М.: Прогресс, 1988.
- 5 Статья «Конец истории?» была опубликована в 1989 году в журнале THE NATIONAL INTEREST, а уже в 1990–1991 годах вокруг нее были развернуты дискуссии сразу в нескольких российских журналах. Полный же текст книги этого автора был переведен лишь в 2004 году. См.: *Фукуяма Ф.* Конец истории и последний человек. М.: АСТ, 2004.
- 6 *Ходорковский М.* Кризис либерализма в России // *Ведомости*. 2004. 29 марта. № 52 (1092).
- 7 *Манн Т.* Рассуждения аполитичного / Пер. с нем. Е. Елисеева // *Вестник Европы*. 2008. № 24.
- 8 *Пайпс Р.* Россия при старом режиме. М.: Захаров, 2004.
- 9 Русским нужен правитель // *Rzeczpospolita*, Польша. С Ричардом Пайпсом (Richard Pipes) беседовал Петр Зыхович (Piotr Zychowicz). 7 ноября 2007 года [<http://inosmi.ru/stories/01/05/29/2996/237696.html>].
- 10 *Сурков В.* Русская политическая культура. Взгляд из утопии. Москва, Президиум РАН. 8 июня 2007 года [<http://surkov.info/publ/4-1-0-55>].
- 11 См.: *Сурков В.* Суверенитет – это политический синоним конкурентоспособности. Стенограмма. Ч. 1–2. Москва, февраль 2006 года [<http://surkov.info/publ/4-1-0-13>].

- 12 *Юрьев М.* Крепость Россия // *Крепость Россия: прощание с либерализмом*. Сборник статей. М.: Яуза, Эксмо, 2005. С. 59.
- 13 *Афанасьев Ю.* Мы – не рабы? Исторический бег на месте: «особый путь» России // *Новая газета*. 2008. 5 декабря.
- 14 См., напр.: *Володихин Д.* Нам нужна самодержавная монархия, несколько смягченная рядом представительных учреждений // *Российское государство: вчера, сегодня, завтра* / Под общей редакцией И.М. Клямкина. М.: Новое издательство, 2007.
- 15 См., напр.: *Юрьев М.* Естественным для русских вариантом государственного устройства является смесь идеократии и имперского патернализма // *Российское государство: вчера, сегодня, завтра* / Под общей редакцией И.М. Клямкина.
- 16 См., напр.: «Русская доктрина» (Сергиевский проект) / Под ред. А.Б. Кобякова и В.В. Аверьянова. М.: Яуза, 2007.
- 17 *Верховский А.* Идеинная эволюция русского национализма: 1990-е и 2000-е годы // *Верхи и низы русского национализма*. М.: Сова, 2007. С. 10.
- 18 Черная сотня – в русской правовой литературе XIX века так называлось население, коллективно платившее налоги и делившееся на «сотни», представлявшие собой военно-административные единицы России. Этот термин был использован для самоназвания крайне реакционными, антиреволюционными и антисемитскими организациями России, появившимися во время первой антимонархической революции 1905–1907 годов. К черносотенным относились такие организации, как Союз русского народа, Союз Михаила Архангела, Совет объединенного дворянства, Русская монархическая партия, Общество активной борьбы с революцией и др. Черносотенцы были причастны к массовым погромам еврейских поселений, а также осуществляли физическое уничтожение политических оппонентов. Термины «черная сотня» и «черносотенцы» вошли в широкое употребление в русском языке в значении ультраправых политиков и антисемитов. Существенная часть современного русского национализма если не выводит себя напрямую из черносотенства начала XX века, то не отрицает своей идейной близости с этим движением.
- 19 Подробнее о нем см.: *Верховский А.* Политическое православие: русские православные националисты и фундаменталисты, 1995–2001 гг. М.: Центр «Сова», 2003.
- 20 *Ларюэль М.* Александр Дугин, идеологический посредник // *Цена ненависти. Национализм в России и противодействие расистским преступлениям*. М.: Центр «Сова», 2005. С. 226–253.
- 21 Евразийство – философско-политическое движение, сложившееся в среде русской эмиграции в 1920–1930-е годы. Начало ему положил сборник статей Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Г.В. Флоровского и П.П. Сувчинского «Исход к Востоку» (София, 1921). Авторы провозглашали Россию особым культурно-историческим типом – «Евразией», акцентировали внимание на связи ее с азиатско-тюркским миром и противопоставляли Россию Европе, то есть Западу.
- 22 Подробнее см.: *Кожевникова Г., Шеховцов А.* и др. Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица. М.: Центр «Сова», 2009. С. 248–253, 270–280.
- 23 См., напр.: *Дугин А.* Ален де Бенуа и «Европейская идеология» // Предисловие к книге Алена де Бенуа «Против либерализма: к четвертой политической теории». Спб.: Амфора, 2009. С. 5–9.
- 24 Наиболее полная история РНЕ: *Лихачев В., Прибыловский В.* Русское Националь-

- ное Единство, 1990–2000. В 2 т. Stuttgart: Ibidem, 2005.
- 25 *Верховский А.* Идеинная эволюция русского национализма. С. 13–14.
- 26 В середине февраля 2005 года лидер Родины Д. Рогозин на совещании регионального актива партии заявил о ее переходе в жесткую оппозицию не только правительству, но и президенту. Этому предшествовала коллективная голодовка членов фракции «Родины» в знак протеста против «монетизации социальных льгот», проводимой российским правительством. В марте 2005 года в ходе избирательной кампании в Мосгордуму Д. Рогозин взял курс на то, чтобы изменить имидж партии «Родина» как «кремлевского проекта» и «спецназа президента». На пресс-конференции 22 марта он заявил, что партия должна непосредственно заняться организацией протестных акций и «стать выразителем протестного избирателя». В этом отношении партия должна была стать союзником КППРФ, а основным противником партии Рогозин назвал «Единую Россию». В сложившихся в России политических условиях подобные заявления лидера партии были равносильны политическому самоубийству этой организации. Уже летом того же года партию «Родина» развалили в Думе на несколько самостоятельных фракций, а впоследствии лишили возможности участия в избирательных кампаниях всех уровней. Примечательно, что «Родина» была снята с тех выборов по иску ЛДПР, обвинившей «Родину» в ксенофобной пропаганде. А вот в аналогичном и не менее обоснованном иске «Родины» относительно ЛДПР было отказано.
- 27 *Крылов К.* 17 ответов. Наиболее распространенные вопросы к русским националистам и ответы на них. (Место издания и издатель не указаны.). 2009.
- 28 «Русская доктрина» (Сергиевский проект) / Под ред. А.Б. Кобякова и В.В. Аверьянова. С. 864.
- 29 См.: *Зверева Г.* Русские смыслы для новой России? Опыт продвижения «Русской доктрины» // *Верхи и низы русского национализма* / Сост. А. Верховский. М.: Центр «Сова», 2007.
- 30 Там же. С. 128.
- 31 *Абдулатипов Р.* Кавказская цивилизация: самобытность и целостность // *Научная мысль Кавказа*. 1995. № 1. С. 55–58.
- 32 *Исхаков Д.* Проблемы становления и трансформации татарской нации. Казань: Мастер Лейн, 1997. С. 178–183, 186; *Хаким Р.* Метаморфозы духа (к вопросу о тюрко-татарской цивилизации). Казань: Идел-Пресс, 2005.
- 33 *Бакиев А.Ш.* Адыгская цивилизация. Автореф. канд. дисс. Нальчик, 1998; *Табаев Г.И.* Болгаро-чувакская цивилизация: прошлое, настоящее, будущее. Чебоксары: Чувакский государственнй университет, 2000; *Тумусов Ф.С.* Цивилизация Саха: место в мировом сообществе // *Тюркский мир*. 1998. № 1. С. 12–14.
- 34 См. о Панарине как теоретике цивилизационного национализма: *Ларюэль М.* Александр Панарин и «цивилизационный национализм» в России // *Русский национализм: идеология и настроение*. М.: Центр «Сова», 2006. С. 165–182.
- 35 *Панарин А.С.* От формационного монолога к цивилизованному диалогу // *Коммунист*. 1991. № 9. С. 23; *он же.* Возвращение в цивилизацию или «формационное одиночество» // *Философские науки*. 1991. № 8. С. 3–16.
- 36 *Панарин А.С.* Православная цивилизация в глобальном мире // *Москва*. 2001. № 3. С. 128–140; *он же.* Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002.

- 37 *Лосев А.* История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. М., 2000.
- 38 *Кирдина С.Г.* Институциональная структура современной России: эволюционная модернизация // *Вопросы экономики*. 2004. № 10. С. 89–98; *она же.* Институциональные матрицы и развитие России. Новосибирск, 2001.
- 39 См.: *Шнирельман В.* Время цивилизации: цивилизационный подход как национальная идея // *Российская модернизация: размышления о самобытности*. Под ред. Э. Паина и О. Волкогоновой. М., 2008. С. 211.
- 40 *Белов А.* Имперский марш русского будущего / Интернет-издание АПН. 2006. 13 ноября. [<http://www.apn.ru/publications/article10883.htm>].
- 41 См., напр., полемические заметки: *Святенков П.* Империя и ее имперцы / Интернет-издание АПН. 2006. 23 июня [<http://www.apn.ru/publications/article9903.htm>].
- 42 *Юрьев М.* Естественным для русских вариантом государственного устройства является смесь идеократии и имперского патернализма // *Российское государство: вчера, сегодня, завтра* / Под общей редакцией И.М. Клямкина. С. 169.
- 43 *Севастьянов А.* Время быть русским. Третья сила. Русский национализм на авансцене истории. М.: ЭКСМО, 2004.
- 44 *Володихин Д.* Дискуссия в Фонде «Либеральная миссия» [<http://www.liberal.ru/articles/cat/1271>].
- 45 *Панарин А.С.* Парадоксы европеизма в современной России // *Россия и мусульманский мир*. 1997. № 3.
- 46 *Никитин В.С.* О президентских качествах Г.А. Зюганова: Он соединил в себе две ипостаси – коммуниста и патриота–государственника, сражающегося за спасение России // *Официальный сайт КППРФ*. 2008. 7 января [<http://kprf.ru/vibory2008/chronicle/54161.html>].
- 47 Подробнее о различных аспектах теории «православной цивилизации» см.: *Верховский А.* Церковный проект российской идентичности // *Современные интерпретации русского национализма* / Под. ред. М. Ларюэль. Stuttgart: Ibidem, 2007. С. 171–188.
- 48 Послание Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию РФ. 16 мая 2003 года // *Российская газета*. 2003. 17 мая.
- 49 См.: *Шнирельман В.* «Несовместимость культур»: от научных концепций и школьного образования до реальной политики // *Русский национализм: идеология и настроение*. Составитель А. Верховский. М.: Центр «Сова», 2006. С. 183–222.
- 50 *Карпенко О.* «Суверенная демократия» для внутреннего и наружного применения // *Неприкосновенный запас*. 2007. № 1.
- 51 Для процветания всех надо учитывать интересы каждого. Интервью первого вице-премьера Правительства России Дмитрия Медведева главному редактору журнала «Эксперт» Валерию Фадееву // *Эксперт*. 2006. 24 июля [http://www.expert.ru/printissues/expert/2006/28/interview_medvedev/].
- 52 *Кожевникова Г.* Ультраправые тенденции в прокремлевских молодежных движениях // *Русский национализм между властью и оппозицией* / Под. ред. В. Прибыловского. М.: Центр «Панорама», 2010. – С. 4–17.
- 53 См. подробную статистику в приложениях к последнему годовому докладу Цент-

ра «Сова»: Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России в 2009 году. М.: Центр «Сова», 2010. С. 127–141.

54 Юрьев М. Третья империя. Россия, которая должна быть. СПб. – М.: Либиус-Пресс, Издательство К. Тублина, 2007.

Борис Дубин

Мифология «особого пути» в общественном мнении современной России

1

По данным опросов Левада-Центра, трое из пяти взрослых россиян в последнее десятилетие устойчиво соглашаются с мнением, что Россия должна идти по особому пути, отличающему ее от всех других стран. Между тем в конце 1980-х – начале 1990-х, примерно до 1992 года, сознание принадлежности к стране, в тот период еще советской, сопровождалось у относительного, но явного большинства жителей России самыми негативными чувствами – ненужности советского опыта никому в мире, пребывания страны на обочине цивилизации, острого ощущения дефицитности всех благ, собственной нищеты и отсталости¹. Подобные оценки транслировались и поддерживались тогда каналами печатной и аудиовизуальной коммуникации, прежде всего – новыми и независимыми. Они же заинтересованно обсуждали проблематику альтернативы советскому строю и образу жизни, выдвигали новые ориентиры развития для страны, в которой и «сверху», и «снизу» как будто бы нарастал призыв к крупномасштабным переменам. Отклик массового сознания на эти дискуссии отражался в тогдашних опросах общественного мнения.

Мифология «особого пути» и особых качеств российского человека начала активизироваться к середине и во второй половине 90-х. Так, в 1994 году относительное большинство респондентов (41% из 3 тыс. опрошенных тогдашним ВЦИОМом) все-таки признавали, что Россия отстала от большинства передовых стран, однако уже 32% соглашались с тем, что она развивается по особому, своему пути и ее нельзя сравнивать с другими странами (8% придерживались мнения, что Россия всегда была в числе первых и не уступит этой роли). В дальнейшем доля приверженцев второй и третьей позиции

только росла, так что в октябре 2008 года они в сумме составили две трети опрошенных.

Таблица 1

С каким из следующих суждений вы в большей мере согласны?

(в % от числа опрошенных в каждом исследовании)

	1994 N=3000	2000 N=1600	2008 N=1600
Россия отстала в развитии от большинства передовых стран	41	50	28
Россия всегда была в числе первых и не уступит этой роли	8	10	20
Россия развивается по особому, своему пути, и ее нельзя сравнивать с другими странами	32	34	46
Затрудняюсь ответить	19	6	7

За этим процессом на его начальных стадиях можно видеть символическую компенсацию за тягостные для большей части россиян «внутренние» обстоятельства – последствия экономических реформ, начатых в 1992 году, и, если говорить о «внешних» факторах, нарастающую – в связи с чеченской войной, укреплением роли силовиков в российском руководстве, все большей «неуправляемостью» президента страны – изоляцию России в мировом общественном мнении. Одновременно с этим у значительной части россиян стала усиливаться тяга к символическому воссоединению с советским прошлым, с его по-новому, уже из современной ситуации и в резком контрасте с ней отобранными, препарированными и представленными образами и фигурами. Параллельно в коллективном сознании – опять-таки при поддержке массовых коммуникаций, но уже заметно меняющих ориентиры и оценки, – реанимировался «образ врага» (врагов)².

2

Если суммировать ответы россиян на ряд вопросов о содержательных характеристиках российской (и связанной с ней советской) особенности, то основные, повторяющиеся и наиболее массово представленные позиции выглядят следующим образом. Россияне прежде всего отмечают здесь:

- различие западных и российских *ценностей, традиций* (граница, барьер, разрыв);
- особую роль *государства* в его отношениях с населением (власть – сила, конституирующая социальный мир и коллективную идентичность);
- *массовидный характер социума, коллективного «мы» как целого* (привычка к одинаковости и неприятие различий как механизмы социального уравнивания и блокировки индивидуальной инициативы), в этом смысле особый – от «других» – путь можно трактовать как проекцию значений архаической, точнее архаизированной, внутренней слитности, неразличимости чего бы то ни было отдельного, выделяющегося – условием особости по отношению к *внешнему* миру выступает неприятие особого и обособления *внутри* социума;
- особый *характер человека*, в частности как результат «исторических» обстоятельств (а соответственно – понимание «нашего прошлого, нашей истории» как того, что отделяет нас от других: история представляется как тавтология, повторение в замкнутом кругу, подтверждение идентичности, «того же самого», причем чаще всего в семантике страдательно и терпеливо переносимых общих испытаний), – отсюда значимость таких характеристик самоописания россиян, как «простые», «открытые», «не гонящиеся за успехом и богатством», «решающие все сообща» и т.п.

Таблица 2

Когда вы говорите об «особом пути» России, что вы прежде всего имеете в виду?

(2008, N=1600 человек, в % от числа опрошенных; приводятся лишь ведущие характеристики, аккумулирующие ответы значительных групп населения)

Особая роль государства, которое заботится о народе, руководит им и обеспечивает его развитие	36
Различие ценностей и традиций России и Запада	33
Исторический путь трагических испытаний, страданий, породивший особый тип человека	23
Промежуточное положение России между Европой и Азией, евразийская цивилизация	21

Таблица 3

Вы согласны или не согласны с тем, что наша страна отличается особой самобытностью и духовной культурой, превосходящей все другие страны?
(в % от числа опрошенных в каждом исследовании, N = 1600 человек)

	2000	2008
Определенно и скорее да	87	84
Определенно и скорее нет	8	10
Затрудняюсь ответить	8	5

Таблица 4

Вы согласны или не согласны с тем, что русский человек обладает особой душевностью, которая не свойственна «западному» человеку?
(в % от числа опрошенных в каждом исследовании, N = 1600 человек)

	2000	2008
Определенно и скорее да	72	80
Определенно и скорее нет	20	15
Затрудняюсь ответить	5	6

Таблица 5

Вы согласны или не согласны с тем, что русскому человеку чужда мелочная расчетливость «западного» человека?
(в % от числа опрошенных в каждом исследовании, N = 1600 человек)

	2000	2008
Определенно и скорее да	77	74
Определенно и скорее нет	15	17
Затрудняюсь ответить	8	9

Можно видеть в приведенных ответах и перечисленных особенностях советского строя и человека символическую транскрипцию нескольких фундаментальных обстоятельств исторического существования СССР и коллективной жизни в советском социуме.

С одной стороны, в представлении *страны* (России, СССР) как *целого* обращают на себя внимание устойчивые значения внешней угрозы или, по крайней мере, недоброжелательного окружения, прежде всего – воображаемого неприятия и неприязни со стороны Запада. С другой – символический «центр мира» в описываемой картине помещается «там», за непреодолимой границей. Иными словами, в понятие здешней особости, кроме (или в результате) организованной и организованно воспроизводимой неосведомленности абсолютного большинства населения о жизни «за бугром», входит сознание своей периферийности, а то и резче – отсталости и, в этом смысле, вторичности, производности, всего лишь запоздалой реактивности по отношению к тамошнему «большому миру». Последний, соответственно, наделяется значениями инициативы, активности, динамичности (обобщенно говоря, самостоятельности). Но эти значения – так работают механизмы коллективного вытеснения и проекции! – кодируются исключительно в категориях враждебности по отношению к «нам». Временами это явная опасность, временами – (коварно) затаенная угроза.

Таблица 6

Как вы думаете, отношения между Россией и Западом ...?
(в % от числа опрошенных в каждом исследовании)

	1994	1999	2002	2003	2004	2005	2006	2008
Могут быть по-настоящему дружественными	60	52	39	39	44	44	35	34
Всегда будут строиться на недоверии	38	38	51	47	42	42	54	52
Затрудняюсь ответить	2	10	10	14	14	14	11	14
Количество опрошенных	3000	3000	1600	1600	1600	1600	1600	1600

В представлениях, далее, об *особом характере российского и советского человека* транспонируется многолетний опыт жизни в закрытом обществе – закрытом не только от внешней среды, о чем уже говорилось, но и принудительно, нормативно разделенном внутренне, «разобщенном и разгороженном», по формулировке Ю.А. Левады³, когда самое обычное и общезначимое выступает в качестве недоступного и может быть обеспечено лишь особыми средствами (знакомство, блат, взятка и т.п.) или в чрезвычайных обстоятельствах, но опять-таки в принудительно нормированной, уравнилельной форме (война, пайковая, карточная и другие им подобные системы).

Оборотной стороной подобного существования выступает ощущение индивидом своей неавтономности и, соответственно, ограничивающей зависимости от окружающих, которые его коллективно контролируют, – характеристика уравнилельного сознания. Компенсирующим эти тяготы моментом становится в таких условиях чувство подопечности *всех* по отношению к государству, которое символически транскрибируется в образах верховной, всемогущей и – в идеализированных ожиданиях большинства – по-отечески или по-хозяйски заботливой, «своей» («нашей») власти.

4

Метафору или мифологему *особого пути* иногда ставят в контекст дискуссий о модернизации, трактуя ее как указание на своеобразную траекторию развития России. Между тем семантики целеориентированного движения в этой метафоре не содержится, на что указывал уже Гоголь, одним из первых разработавший близкую метафорику⁴. Собственно динамические характеристики предполагаемой цели, скорости приближения к ней и направленности хода, параметры инициативы и активности движущихся, последовательности их действий, инструменты оценки пройденного, корректировки маршрута и другие подобные моменты в метафоре «особого пути» полностью отсутствуют. И это не сбой или недочет – таково устройство и функциональное назначение анализируемой метафоры. Она должна отделять «нас» от «них», так что упомянутый «путь» нам уже дан. Больше того, он раз и навсегда задан, предзадан как на-

ше неотъемлемое свойство: это другое обозначение «нас», своего рода второе «имя Россия», но тайное, обращенное к нам и только нам понятное, тогда как другим («им») его не заметить, не понять, не усвоить. На эти обстоятельства аналитики уже не раз указывали⁵. Напротив, модальная структура и прагматика использования мифологемы *особости*, кажется, анализировались куда реже.

Если говорить о *функции* данной метафоры, то можно заключить, что наблюдатель и исследователь имеют здесь дело с основополагающей стратегией производства и воспроизводства простых, даже простейших социокультурных различий. Асимметричное деление на «мы» и «они» через непреодолимый, то есть запретный для обеих сторон барьер, «стену», «занавес» – базовая характеристика архаического сознания и его позднейших архаизирующих разновидностей (церемониальных разыгрываний, коллективных воспоминаний, стилизаций и т.д.). Если же анализировать *модус* подобных смысловых образований, то здесь важно отметить их модальную двойственность. «Особый путь» в языке пропаганды и массмедиа, всевозможных «горячих линиях», ток-шоу и т.п. предьявляется (его предлагается рассматривать) и в плане *реальности*, как данность, то есть норма, и в плане *желательности*, как задание, то есть ценность. Такое устройство с его принципиальной безусловностью и внесубъективностью высказывания, а значит – нерасчлененностью его смысловых планов, семантической целостностью, как бы содержащей в себе и свою противоположность, в логическом смысле – отрицание, самым серьезным образом блокирует возможность рационализировать подобные смысловые спайки и склейки. Их «работа» как раз и состоит в наделении области «нашего» нерасчленимым единством, которое именно в таком качестве противопоставлено всему иному как «чужому».

Продолжая эту линию анализа ключевой метафоры, укажу на значение *особости* как подразумеваемой, постулируемой, но не обсуждаемой *исключенности* России из общего порядка вещей, общих правил еще и как (или в силу) *исключительности* ее географического положения, исторических обстоятельств, характера «нашего» народа и человека. Апелляция к экстраординарности крайне популярна в российской истории. Не буду углубляться в далекое прошлое, достаточно вспомнить, насколько активно чрезвычайные меры и

символику чрезвычайности использовала советская власть на разных ее этапах – в «героический» период до начала 1930-х годов, когда массовая пропаганда всячески педалировала идею всемирной миссии революции, победившей в отдельно взятой стране, затем в годы «обострения классово-борьбы» и возрастающей международной напряженности, чем оправдывался «Большой террор» и широкомасштабная подготовка к войне уже с первой половины 1930-х, потом во время войны, в послевоенные годы разрухи и восстановления.

Ю.А. Левада отмечал, что «в советском новоязе трудно найти другой специфический термин, сравнимый по экспансивности с понятием “особый”»⁶. В развитие уже сказанного выше подчеркну, что обозначение «режима», «порядка», «отдела», «совещания», «папки» (ряд, приводимый Левадой) как «особых» отсылает еще и к мифологизированным значениям секретности. Это важный план семантики, о котором стоит сказать несколько подробнее. Во всех перечисленных примерах он отсылает к фигурам и производным власти⁷. Скрытость (скрытность) власти и сохраняемой ею никогда не раскрываемой тайны, собственно, и маркирует в данном случае власть как власть – точнее, как традиционалистскую власть, представляя ее в качестве сверхъестественной инстанции, могущества, недоступного привычным представлениям и меркам, а потому имеющего силу и право отменять обычные правила и установления коллективной жизни. Принципиальная недостижимость и непостижимость подобной власти символизируется как ее невидимость или, по крайней мере, как заведомая ограниченность всего лишь «человеческого» воплощения мощи такого масштаба⁸. Отмечу, что данная характеристика – как и вся семантика особенности, о чем говорилось выше, – двойственна и даже парадоксальна: *секретность*, как легко видеть, постоянно *демонстрируется*, и без такой навязчивой демонстрации, принципиальной демонстративности явно лишилась бы всей полноты значимости. Иными словами, кроме факта секретности мы и здесь имеем дело с ее мифологией и с визуальными, персонифицированными, отчетливо и обязательно выделенными из повседневной жизни репрезентациями этой мифологии.

Тайна выступает здесь средством контроля власти над массой, а власть, соответственно, предстает заведомо непрозрачной для массы, можно даже сказать – невидимой для нее, но именно поэтому вездесущей: она как бы везде и нигде, – всюду во всей полноте присутствия и могущества, но нигде по отдельности и в частности (такие модусы умалили бы ее тотальность и мощь). Если после проделанного анализа снять с перечисленных характеристик стойкий мифологический налет, то описанную «невидимость» власти можно социологически трактовать как отсутствие связи между властями и массами при крайней слабости в России сколько-нибудь самостоятельных «промежуточных» институтов и дифференцированной институциональной системы вообще, а следовательно, как безответственность власти, вопреки ее формальной выборности, перед массой избирателей и населением в целом.

Стоит отметить, что принятие данной ситуации входит в общераспространенные и считающиеся в социуме нормой представления о власти, по крайней мере – верховной. Если говорить о массовом воображении, массовой политической культуре, первые лица как бы наделены для массы сверхвластью, но не отвечают за употребление таких экстраординарных полномочий. Они не могут и не должны быть призваны к ответу, в лучшем случае они отвечают (в последние годы это особенно относилось и относится сейчас к фигуре В. Путина) лишь за «хорошее», те или иные феномены улучшения отдельных сторон жизни, но никак не за недостатки и провалы системы.

Существенно в данном контексте, что описанное стремление к «невидимости», то есть неконтролируемости, можно отнести к поведению и власти, и массы. Безответственности властей соответствует при этом безответность масс. Нежелание ни во что включаться и ни за что отвечать, ускользание от поднадзорности и контроля начальства – устойчивая тактика поведения обычного российского человека где бы то ни было, но в особенности в рамках закрытых подсистем или, в категориях Л. Козера, «всепоглощающих институтов», в армии и «зоне», на принудительных работах или лечении и т.п. Ее допустимо назвать тактикой алиби, причем ею, как сказано, привыкли пользоваться в России все – и «верхи», и «низы».

А это значит, что в картине мира, построенной на мифологемах личности, изолированности, массовидности всех, действующих как один, и каждого, отвечающего за всех, экстраординарность, строго говоря, не столько противостоит привычности, сколько коррелирует и переплетается с ней. Эти режимы коллективного существования поддерживают друг друга. *Чрезвычайность* выступает способом контроля над мобилизованной властью и сплоченной этим «сверху» массой, *привычность* (равнение по привычному, привычка как инструмент нивелировки отличий) – способом контроля над индивидуальной инициативой и ответственностью «снизу», со стороны массы⁹.

Именно в соотношенности и взаимной смысловой индукции двух этих планов – общей, повседневной *нормы*, соблюдаемой по привычке, и подразумеваемых, допустимых и негласно разрешенных *отклонений* от нее в порядке исключения – я бы предложил видеть содержание анализируемой здесь категории личности. Она фиксирует характерное состояние и строй коллективной жизни в России, опознаваемые и признаваемые здесь как «свои», «наши». Коллективно принятая и санкционированная привычкой, обычаем закрытость обоих этих режимов – нормы и эксцесса – от внешнего наблюдения и контроля блокирует возможность их прояснения, выведения в ясную область мысли, рационализации любым «частным» сознанием, а тем самым и возможность самостоятельной позиции индивида, легитимность субъективной точки зрения, начал саморегуляции. Неподконтрольность описываемой смысловой конструкции, недоступность ее рационализации позволяют произвольно менять *содержательное (идеологическое) наполнение*, сохраняя *принципиальную конструкцию* непринадлежности общему порядку, универсальным ценностям и нормам. Главное здесь, хочу подчеркнуть, – не та или иная идеология, а именно модальная, но безальтернативная конструкция социальной жизни.

Данный механизм работает как защита или вытеснение не только от непризнанной реальности или каких-то обобщенных, идеальных представлений о ее возможностях. На мой взгляд, он защищает прежде всего от осознания разрыва – от смысловой напряженности между:

(а) нормативно-принудительным планом повседневной жизни каждого как единицы из массы таких же в условиях «понижающей адаптации» (по терминологии Ю.А. Левады);

(б) обобщенным, идеализированным планом существования коллективного «мы» в условиях мобилизации или виртуальной интеграции «сверху»; и наконец,

(в) универсальным планом соотношения с ценностями «других», условных «всех» (условных в том смысле, что они были бы объединены ничем иным, кроме как актом добровольного и индивидуального признания этих ценностей как общих для них).

Таким образом, идеологема или мифологема «особого пути» позволяет смягчать и компенсировать расхождения между идеальным (декларативным) уровнем ориентиров и оценок, отнесенных к неопределенному будущему, с одной стороны, проективной картиной компенсаторного прошлого («А зато у нас было ...») – с другой, и реальным поведением здесь и сейчас, а соответственно – разрыв между идеальным центром (Западом) и периферией (Россия). «Особый путь» – вовсе не путь и даже не его указатель, а своего рода переключающее устройство в системе коллективной идентификации. Оно позволяет переходить в соотносительных характеристиках «мы» и «они» с институционального плана *специфических* требований или *универсальных* норм – через образы власти как инстанции, легитимирующей «наш» социальный порядок, – на *диффузный* код *партикуляристских* отношений между «своими».

6

Важно отметить вторичность, производность и в этом плане слабость, дефицитность значений общезначимого и универсального в описываемой конструкции и в социальном порядке нынешней российской жизни. О ее фрагментированности, раздробленности и разгороженности не раз писалось¹⁰. Если говорить в социологических категориях, речь идет о преобладании в социуме, более того, о коллективном диктате в нем сугубо партикуляристских отношений – замкнутых, персональных, непосредственных контактов между ближайшими родственниками. В качестве образца здесь выступают одномерные (горизонтальные) связи между «такими же». Именно они представляются россиянам сегодня единственной областью коллективного существования, которую они все-таки кон-

тролируют, в которой преобладают доверительные отношения и где можно что-то сделать, на что-то повлиять.

В таком закрытом и сегрегированном социуме повышенным значением наделяются барьеры и перегородки, а тем самым поддерживается недостижимость ориентаций и мотивов поведения, социально сконструированная пассивность. Подобное состояние (неправильно называть его поддержкой или одобрением) входит в виды нынешней российской власти, учитывается ею в технологии управления, рассматривается как принципиально не ограниченный ресурс собственного существования. Но и само население относит данную характеристику к основополагающим чертам российского человека и коллективной жизни в России как «особой», «нашей». Не случайно в представлениях об особенностях российского народа первое место, по данным опросов Левада-Центра, на редкость устойчиво занимает «терпеливость» – на нее указали 53% опрошенных в 1998 и 2008 годах, что в полтора раза превышает значимость других, даже самых признанных черт коллективного автопортрета («душевность», «привычка довольствоваться малым», «преобладание духовных ценностей над материальными»).

Подчеркивание и позитивная оценка параметров сходства и горизонтальных связей в коллективных образах «нас» подразумевают преобладающее неприятие социальных и культурных различий. В этих последних видятся не симптомы разнообразия, соответственно – знак и ресурс общего богатства возможностей, залог динамичности общества. Напротив, они трактуются как неравенство и несправедливость, поскольку за ними усматриваются претензии на превосходство, неправомерные со стороны «таких же» (главенство – и то с подозрительностью и постоянным недовольством – допускаются носителями подобных представлений лишь для власти). Давление привычки, привычного работает как инструмент социального нивелирования. Отсюда – навязчивые для коллективного сознания россиян (как низов, так и верхов) наваждения рухнувших перегородок, кошмарные картины хаоса, «жупел “вседозволенности”» и т.п.¹¹ Таков еще один «внутренний», встроенный в конструкцию социального мира и коллективного сознания ингибитор или блокатор каких бы то ни было перемен. С его помощью как сверху, так и снизу конструируется состояние атомизированности всех в качестве одинаково-

вых и пассивных – состояние, можно сказать, «рассеянной массы»¹². «Общее» при этом принимается либо на правах коллективной, уравнивающей всех стигмы в *настоящем*, либо – как идеализированная картина, опять-таки вне какой-либо конкретики, инструментальных характеристик, указания на собственную роль, последовательность действий и проч. – проецируется в неопределенное, недостижимое *будущее*. Значения же «особого» все больше переносятся в компенсаторную перспективу *прошлого*. Как уже указывалось, именно эта семантика прошедшего, ставшего, то есть находящегося вне сферы чьего бы то ни было влияния, будь оно индивидуальным или коллективным, – «наше прошлое, наша история» – с годами становится для россиян все более значимой и все отчетливее выделяется ими в образе коллективного «мы»¹³.

7

Таким образом, на основе проведенного анализа эмпирических данных допустимо сделать вывод: в коллективном самоопределении большинство россиян в последние примерно пятнадцать лет переориентировались на прошлое. Причем это прошлое все чаще в последние десять лет выступает советским (идеал здесь – ретроспективно сконструированный по контрасту с «лихими» 90-ми образ брежневской эпохи). Соответственно, все более советским содержанием наполняется и конструкция «особого пути». «Особый путь» сегодня – это путь советский, включая державные значения советского как огромного и грозного. К концу нулевых годов эту предпочтительную ориентацию большинства россиян можно фиксировать с достаточной ясностью:

Таблица 7

Вы хотели бы жить в огромной стране, которую уважают и побаиваются другие страны, или в маленькой, уютной, безобидной стране?
(февраль 2008, N=1600 человек, в % к числу опрошенных)

Первое	75
Второе	19
Затрудняюсь ответить	6

Описанный выше исторический «переход» (перевод) общественного мнения от проблематики гипотетической альтернативы (выбора) и воображаемого партнерства на проблематику личности (исключительности и исключенности, то есть изоляции, по крайней мере, символической) – способ подтверждения и укрепления коллективной идентичности большинства россиян в пространстве и времени, установления преемственности по отношению к советскому прошлому, к основополагающим чертам советского, способ утверждения совокупности именно этих черт (особый характер власти и т.д., о чем было сказано выше) как «нашего». Такое возвращение преемственности (идентичности) было опознано большинством населения страны как стабильность и порядок, оно сопровождалось чувством возвращения к норме и принимается сегодня как норма. При этом достаточно осязаемое в материалах социологических опросов понимание тем же большинством россиян плохого качества данного социального порядка (сверхконцентрация власти, неэффективность управления, бюрократизм, коррупция и т.п.) отнюдь не мешает принимать эти состояния как «наши», нормальные для «нас», то есть не подрывает статус-кво, а, как ни парадоксально, наоборот, поддерживает и укрепляет нынешний порядок.

Вторым важным итогом проделанного анализа нам представляется то, что – опять-таки по проанализированным выше данным и другим материалам эмпирических опросов Левада-Центра – в последние пятнадцать лет поддержание символической коллективной идентичности оказывается (в очередной раз оказалось) для разных групп, большинства российского социума и для власти, принимающей на себя функции репрезентации этой идентичности как целого, важнее и нужнее, чем дифференциация и состязательность, целеполагание и целедостижение¹⁴. Соответственно, политика в подобных условиях вырождается в открытый сценический церемониал и скрытую за кулисами номенклатурную борьбу по собственным, внутренним, тоже принципиально неписанным правилам.

За метафорой «особого пути» стоит неготовность к состязательности, универсалистскому вознаграждению за успех и позитивной солидарности – принципам, которые создали современные (модерные) общества. Поскольку же к главным особенностям российского пути, как отмечалось выше, относится опека со стороны государства

и его повышенная роль в социальном устройстве общей жизни, важность контроля над индивидом со стороны коллектива, то подчеркивание своей «особости» говорит и о неготовности к свободе, прежде всего – к индивидуальной свободе, а значит, к ответственности за собственную жизнь, заботе о ней, культивировании ее. Свобода же – еще одна важнейшая универсальная ценность, лежащая в основе современных обществ.

В этом смысле мифологему «особого пути» допустимо трактовать как системный *ограничитель* модернизации, позволяющий трансформировать и приспособить ее «знаковые» (и при этом, конечно же, переозначиваемые) элементы в соответствии с требованиями власти, задачами ее самосохранения, с одной стороны, и привычками массы, ее нежеланием и отторжением перемен – с другой. Важно уточнить (в том числе и прежние высказывания на этот счет самого автора): кажется, корректнее видеть здесь именно ограничитель, стабилизатор, то есть механизм «мягкой» адаптации, а не «жесткое» препятствие или тормоз.

Одна из существенных характеристик работы данного механизма состоит в том, что «особый путь» выступает в общественном мнении, материалах социологических опросов на правах будто бы содержательной характеристики – некоего набора качеств, хотя и достаточно неопределенного (некоторые соответствующие «подсказки» из анкет Левада-Центра выше приводились). Но «ответы» респондентов – лишь начало новых вопросов, которые задает себе социолог: это не отчетные показатели, а предмет анализа. Так что точнее было бы видеть в категории «особого пути» ценностный оператор, переключатель модальных планов оценки и интерпретации социального мира, который обеспечивает интеграцию представлений о себе и других, выступает механизмом согласования и относительного согласия оценок идеального и реального, власти и массы. Трудность интерпретации комплекса личности заключается именно в том, что он выступает для его носителей то как содержательный, то как модальный (регулятивный, задающий модус понимания). Замечу, что это та же двойственность, которая подчеркивается социологами в российском (советском) «двоемыслии» или «лукавстве». Двойная, «кентаврическая» природа подобных представлений обеспечивает их носителям страховку в условиях соци-

альной неопределенности (недо-определенности) целого и собственного места респондентов в нем, но, со своей стороны, и поддерживает, увековечивает эту неопределенность, придает ей принципиальный характер, поскольку защищает от рационализации, дискуссии, коррекции и т.д.

Сравним с данными об исключительности российского народа и человека, приведенными выше в табл. 3–5, например, такие:

Таблица 8

Как вы считаете, русские – это такой же народ, как другие, или совершенно особый народ?

(в % от числа опрошенных в каждом исследовании)

	2000	2008
Такой же народ, как другие	63	63
Совершенно особый народ	33	34
Затрудняюсь ответить	4	2

Вероятно, форма и контекст цитированных выше вопросов о «духовной самобытности» и сравнение российского человека с «западным» провоцируют респондентов демонстративно противопоставлять себя обобщенным «другим», символически принимая «чужое» и превознося «свое»; в только что приведенном вопросе этот момент заметно сглажен. Но, как мне представляется, еще важнее здесь то, что подобная двойственность, как можно предположить, помогает респонденту в любой ситуации оставаться (чувствовать себя) хозяином положения, которое он как бы волен поворачивать и трактовать то так, то этак. Тем самым он, кроме всего прочего, дистанцируется от интервьюера и повышает свою самооценку, на ходу выправляя статусную асимметрию опросного взаимодействия – отношения человека из «центра» и с «периферии», задающего вопросы и вынужденного отвечать на них. Короче говоря, респонденты здесь компенсируют, видимо, крайне чувствительное для них символическое «неравенство», «несправедливость» и тем самым как бы демонстрируют в миниатюре работу того мифологического комплекса, о котором шла речь в данной статье.

Подытоживая сказанное, коротко опишем, как действует этот символический механизм социальной адаптации (в данном случае – мифологический комплекс «особого пути»). Он соотносит и интегрирует три уровня, плана или кода социальной реальности и коллективных представлений:

- план авторитарно-патерналистской власти;
- план партикуляристской («рассеянной») массы;
- план современных, так или иначе специализированных институтов (производство, образование, здравоохранение, элементы рынка и проч.).

Иными словами, в социокультурных условиях, которые здесь описываются и анализируются, институциональная реальность не работает, если не получает (а) санкцию со стороны иерархической власти (как *привилегия*, блат и проч.) и (б) интерпретацию со стороны недифференцированной массы (в терминах *своих*, в том числе – *своей, нашей* власти). Подобное устройство позволяет использовать наличные *ресурсы институтов* (результаты их деятельности, блага), ускользая от их функциональных *императивов* (самостоятельность, ответственность, целеориентированность, проверка эффективности, улучшение).

Такой механизм позволяет удерживать любые перемены в рамках, удобных *для власти* и выносимых *для массы* (адаптация в нынешних российских условиях – тактика всеобщая). Отсюда и значение в подобных условиях введенной выше категории «алиби»: это опять-таки установка всех – пусть «другое» (новое, западное, модерное и т.п.) будет, но не нашими усилиями, не при нас и без неприятных последствий для нас. В этом можно видеть один из примеров системного производства разрывов в социальном и культурном времени. А это значит, что производство подобных разрывов встроено в конструкцию и функционирование репродуктивных институтов социума – школы, массмедиа, культуры. Именно поэтому история в данных социокультурных рамках принимает вид повторения, церемонии, ритуала – очередного ухода от своих основ («потери» и «плача» по ней) и также очередного символического к ним «возвращения» – обретения порядка и стабильности, пусть даже опять недолгих.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См., например, данные опроса ВЦИОМ в 1989 году: *Есть мнение!* М.: Прогресс, 1990. С. 284.

2 См. материалы составленного Л. Гудковым в начале 2000-х годов сборника «Образ врага» (М.: ОГИ, 2005). Вошедшие в него статьи обсуждались в московской галерее «Улица ОГИ» в октябре 2002 года.

3 *Левада Ю.* Ищем человека: Социологические очерки, 2000–2005. М.: Новое издательство, 2006. С. 312.

4 Ср. знаменитые заключительные пассажи первого тома «Мертвых душ»: «... летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль... Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа» (*Гоголь Н.В.* Собр. соч. в 7 т. Т. 5. М.: Художественная литература, 1967. С. 287–288).

5 См.: *Левада Ю.* «Человек советский» как человек «особенный» // Вестник общественного мнения. 2003. № 2 (68). С. 7–14; коллективную публикацию: Мифологизация комплексов национальной неполноценности // Вестник общественного мнения. 2008. № 6 (98). С. 65–88 (статьи Л. Гудкова, А. Левинсона, Н. Зоркой); а также работы автора: Между Востоком и Западом: символика границы в постсоветской политической мифологии // Пограничные культуры между Востоком и Западом: Россия и Испания. СПб.: СП Санкт-Петербурга, 2001. С. 147–158; «Противовес»: символика Запада в России последних лет // Pro et Contra. 2004. Т. 8. № 3. С. 23–35; Россия и другие // Знамя. 2006. № 4. С. 156–162; Запад, граница, особый путь: образ Другого в политической мифологии россиян // Россия как цивилизация: устойчивое и изменчивое. М.: Наука, 2007. С. 624–661.

6 *Левада Ю.* Ищем человека... С. 312.

7 Но в той же логике анализа можно развернуть и знаменитые тютчевские формулы «Умом Россию не понять...», «Не поймет и не заметит...»

8 Характерно, что значимость фигуры Сталина для большинства россиян еще и сегодня определяется, кроме связи с победой в войне, сохраняющейся таинственностью образа вождя (формулировку «Мы еще не знаем всей правды о Сталине» респонденты отмечают даже чаще, чем отсылку к роли Сталина в победе). См.: Вестник общественного мнения. 2008. № 6 (98). С. 78.

9 Ю.А. Левада в другом проблемном развороте подчеркивает, что привычное (консервативное, инертное) в России не исключает экстраординарного (авантюристического, мечтательного), а подразумевает его: «На особого русского человека... в свое время возлагали надежды отечественные консерваторы. Но на особого русского человека... уповали и все отечественные социалисты... При смене содержания и обоснования идеологием воспроизводилась модель противопоставления нашего человека чуждым (западным) образцам» (*Левада Ю.* Ищем человека... С. 313).

10 Из работ последнего времени см. статьи автора: Социальная атомизация как наследие и данность // Индекс / Досье на цензуру. 2008. № 29. С. 7–11; Режим разобщения // Pro et Contra. 2009. № 1. С. 6–19.

11 См.: *Левада Ю.* Ищем человека... С. 312.

12 Пользуюсь выражением поэта Михаила Айзенберга, введенным, конечно, в совершенно ином смысле и давшем название книге его стихов (М.: Новое издательство, 2008).

13 См.: Вестник общественного мнения. 2009. № 2 (100). С. 62.

14 На первостепенное внимание новой власти нулевых годов к символическим аспектам интеграции целого и саморепрезентации населения, причем с опорой именно на символы советского государства (гимн и т.п.), населением восприняты и поддержаны, сразу же обратил внимание Ю.А. Левада. Это стало стимулом к его работе над статьей «Люди и символы. Символические структуры в общественном мнении» (Мониторинг общественного мнения. 2001. № 6 (56). С. 7–12).

Борис Фирсов

Апология «особого пути» и ментальность россиян: ВЗГЛЯД ИЗВНЕ

*Мы легче миримся с разорением нашего гнезда,
чем с гибелью наших воздушных замков.*

Чарльз Диккенс

На протяжении нескольких лет (2003–2006) при поддержке Института Кеннана и Фонда Макартуров я занимался изучением ментальных миров современного российского населения¹. Работа эта протекала в несколько этапов. Один из них состоял в глубоком погружении в литературу по поводу понимания ментальности. Вторым этапом было проведение нескольких десятков экспертных интервью, в которых дефиницию ментальности, а самое главное, качества российской (русской) ментальности оценивали на паритетных правах группа «инсайдеров» и группа «аутсайдеров».

Давно замечено, например, что у народов, как и отдельных людей, выдающимися достоинствами часто оказываются не те, которые они любят себе приписывать. Я учел, что многие черты «русскости» («российскости») не раз подмечались людьми, которые могли посмотреть на Россию со стороны (русские эмигранты, зарубежные исследователи-русисты, дипломаты, журналисты). Это еще раз подтвердилось в моем эмпирическом исследовании. Зарубежные эксперты глубже, критичнее судили «со стороны» о ментальных мирах россиян, демонстрируя априорные преимущества внешнего наблюдения перед внутренней саморефлексией россиянами (русскими) свойств их ментальности. При этом тема «особого пути» была одним из обертонов обсуждения свойств российской ментальности. Ссылки на мнения экспертов, как правило, нетривиальные, несущие на себе следы их жизненного и исследовательского опыта, определили жанр этой статьи².

(1) Следует сказать несколько слов о движении России в историческом времени. Существует устойчивая легенда, близкая по своей природе к мифу, что именно «наше» время переходное, но «прежняя» Россия бывала «всегда» стабильной, нашедшей себя, целостной и гармоничной. «Было ли так когда-нибудь?» – спрашивает В. Кантор и отвечает: такого не было 10 с лишним лет назад на заре горбачевской перестройки. Не могло быть и в пору брежневского застоя, который оказался не чем иным, как перерождением, распадом и разложением советской системы. Переходным оказался хрущевский период, вобрав в себя разоблачение сталинских репрессий, возвращение миллионов узников из концлагерей, попытки вернуться к «ленинским нормам партийной жизни», а заодно обогнать США «по производству мяса, масла и молока на душу населения». Перетряской всей страны была эпоха сталинской коллективизации и индустриализации. Из огня да в полымя швыряли народ продразверстка и НЭП. Не назвать страну стабильной и целостной в период между двух революций и на рубеже XIX и XX веков (не говоря уже о самих революциях). Переломными эти годы называли современники, видя, как капитализация России видоизменяла страну. То же придется сказать о пореформенной России второй половины XIX века, когда, по словам Л. Толстого, «все переверотилось» и никак не могло уложиться. Таковыми были и царствование Петра I, и период раскола при Алексее Михайловиче, и «смутное время», и период от Ивана III до Ивана IV. Наконец, удельная раздробленность, Крещение Руси, время становления русской государственности (862 год) – все указывает на постоянные изменения и замену одного качественного состояния другим³.

Ссылаясь на Ю. Леваду, я напомним о том, что в современной России имеет место периодическое накопление нереализованного потенциала нескольких поколений, принудительно оказывающихся в одном времени, которое они не могут назвать «своим». Так возникают очаги молчаливого сопротивления, которое опирается на инерцию ментальности, не способной к перекраиванию картины мира синхронно с общественными преобразованиями и переменами, в какой бы форме (революция, исторический перелом, рывок в развитии, «большой скачок», реформы и т.д.) они ни выступали. Ибо здесь вступают в силу долговременные ментальные структуры («темницы

долгого времени», по Ф. Броделю), которые более всего противодействуют изменениям и сохраняются при смене поколений.

«*Переходность является константой российской истории*», – так завершит свой тезис В. Кантор. Испокон веку Россия была поставлена перед необходимостью поиска своей идентичности в условиях постоянной смены действий и декораций на сцене, где разыгрывалась ее историческая драма. Как следствие – многовековая неустойчивость культурного равновесия и постоянное *перенапряжение* ментальности под влиянием постоянно изменяющихся смыслов жизни, ценностей, реалий окружающего мира.

«Все процессы и фазы истории в России медленнее должны бы протекать», – заметит Г. Гачев и обоснует важный для нас тезис о вечной власти переходности несовпадением шага Пространства и такта Времени⁴. Народ российский тяготеет к «натуральному развитию медленным шагом времени», а государство живет испокон веку со словом «ускорение» на устах, чему всегда, изначально сопротивлялся склад мышления народа, Русский Логос. Потому так трудно и долго ищется и не находится что-то четкое и повисает в воздухе истории нескончаемыми вопросами.

Ментальность в нашем случае аккумулирует реакции на «черновике истории» и на неудачи с «беловым вариантом», который страна и народ попытались было «написать» путем перехода к демократии и рыночной экономике, но не смогли достичь намеченных целей. «Не свое время», о котором писал Левада, выступает синонимом травматического перелома в образе жизни России, который по-прежнему порождает чувства утраты стабильности, непонимания сути происходящих перемен, вызывает тревогу, апатию и растерянность у менее адаптивной части населения страны.

Гигантская работа себя над собой, работа, которую представляет собой жизнь, – так образно охарактеризовал механизм функционирования ментальности французский историк М. Вовель⁵, желая подчеркнуть, что смена картины мира, носителем которой является человек, требует усилий, связана с борьбой за себя и «свой образ». Не будучи в силах справиться с нагрузками времени, человек обращается к прошлому, точнее – к мифологическому представлению о нем, считая, что страну сбили с наезженной колеи, предложив ей новую маршрутную карту, вместо того, чтобы она

продолжала идти своей и потому не похожей на другие, «особой» русской дорогой.

(2) Риторика «особого пути» (для Европы после 1945 года, попросту говоря, исключенная), в цепком плену которой находится ментальность россиян, мешает движению страны к открытому и динамичному социальному состоянию. Не обращать на это внимание – значит жертвовать будущим ради сомнительных, одномоментных выгод, которые заключает в себе возрождение державности и имперского духа, особенно заметное на фоне кризисного переживания истории.

«Возрождение великой державы» стало тем единственным символическим тезисом, на котором сходятся и либералы-западники, и коммунисты-патриоты, и поборники «Святой православной Руси», говорилось в одном из экспертных докладов левадовского ВЦИОМа⁶. Правда, компоненты того, в чем именно заключается смысл национального «величия» державы, могут сильно различаться, как и средства достижения заветной цели. Но общая программная композиция не меняется, демонстрируя известную устойчивость во времени. Прозападно настроенные рыночники условие будущего процветания и мощи нового демократического государства, мировой державы (столь же развитой в экономическом отношении, как и другие члены «большой семерки») видят в рынке. Коммунисты ностальгически вспоминают былую военную мощь, монолит государственного строя, общественную жизнь в СССР. Борцы за Святую Русь уповают на соборность, духовность православной веры. Каждая из таких «идеологических программ» имеет своим стержнем идею «Великой России». Но, употребляя слова «идеологических программ», Л. Гудков не имеет в виду выработку каких-то новых ориентиров и политических целей. Скорее речь идет об артикуляции аморфных массовых представлений и клише, несущих на себе следы сильного влияния нерационализируемых ценностей и излишне нагруженных моральными оценками, внушающими неверие в мысль.

Развивать эти сюжеты не входит в мои цели, но русская идеология продолжает порождать «мистические сущности» вроде «Большой идеи России», которая, по мысли ее проектантов (самой идеи еще нет, есть только представление о том, какой она должна стать),

положит начало чуть ли не новой формации, а то и цивилизации. Мне запомнились публицистические очерки Р. Гальцевой в журнале «Новый мир», где она мастерски реконструировала и представила чаемую Россию, какой она видится сквозь призму «Большой идеи»⁷. Уготовано быть ей постиндустриальной, основанной на некоей самодостаточной морали, а также (полностью в духе М. Вебера) связанной с самодисциплиной, напряженным трудом и концентрацией сил. Еще одна опора – фундаменталистский потенциал православия, который теперь уже не кажется исчерпанным, а характеризуется как «праздничное мирозерцание», сумевшее донести до нас «животворную энергетику языческого эроса». Да и роль православия теперь иная – служить не только благим антиподом для всего остального христианства, но также исходным образцом, эталоном для альтернативного западному русскому экономического порядка на основе варианта «монастырского социализма» с его отрицанием частной собственности и отказом от всякого имущества. Конечно, эта модель, по меньшей мере, странная, весьма далекая от реальности, но зато «своя».

Стремление преодолеть рыхлое, нестабильное жизнеустройство побуждает россиян конструировать образы желаемого будущего, напоминающие «коктейли» из реальных, идеальных и мифологизированных представлений о дореволюционной России, Советском Союзе и постсоветской России. Эксперты (обе группы) в принципе согласились с этим, сославшись на состояние многих социальных и экономических институтов в стране. Хороший пример – экономические институты, представляющие собой сочетание (нередко централизованное) рынков, интенсивного бюрократического регулирования с элементами коррупции и личных (подобных клановым) отношений.

Предоставлю слово эксперту из Финляндии Ю. Гроноу (ныне профессору Упсальского университета, Швеция): «Один мой друг, работавший когда-то экспертом в Казахстане и ездивший оттуда на машине в Финляндию на каникулы, рассказал такую историю. В Казахстане все функционирует: милиция останавливает тебя через каждые 50 километров, но все, что надо сделать, – это опустить стекло и дать им, условно говоря, 50 рублей. И никаких споров, никаких разговоров. В Финляндии это тоже просто и функционально.

Превысил скорость – на следующий день получи по почте штраф (конечно, в сотню раз больший, чем в Казахстане). Тебе даже не нужно встречаться с полицией.

Но в России все не так. Милиция тормозит тебя через каждые 50 километров, прямо как в Казахстане, и всегда начинает спорить, объяснять и выговаривать: где ты поступил неправильно. От тебя ожидают искренних извинений и объяснений, что, мол, на самом-то деле ты обычно не водишь машину так, но дома у тебя больная мать или твоя жена только что покинула тебя, вследствие чего ты был вынужден, как исключение, пойти против правил и т.д. и т.п. Наконец, минут через 20 ты можешь очень осторожно предположить, что раз у вас обоих, похоже, совсем нет времени и что, в частности, у полицейского, вне всякого сомнения, найдется множество куда более важных дел, возможно ли будет разрешить проблему на месте, а не ехать в милицейский участок. Некоторое время поколебавшись, инспектор всегда соглашается, и ты платишь ему 100 рублей и уезжаешь. По дороге то же повторяется несколько раз». Тень русского пути вездесуща!

(3) Идеология «единственно верного пути», каким был путь к социализму, еще не выветрилась из голов россиян, однако фатальную веру в то, что «мы покажем миру, как надо жить», нельзя объяснить только «причудами» советской истории. «Виной» всему являются ментальные механизмы различения «своего» и «чужого». Более точно – *акцент на несхожести ведет к апологии «особого пути».*

Один из вопросов экспертного интервью формулировался так: ищут ли россияне сходство с иностранцами или пытаются установить несхожесть? От чего зависит выбор алгоритма различения «своего» и «чужого» народа? Оказалось, что принципиальные расхождения по данному поводу у обеих групп экспертов отсутствуют. Приведу несколько примеров их высказываний.

«На самом деле то, что делает иностранцев непохожими и/или непонятными для нас, а нас, в свою очередь, непонятными для иностранцев, связано не с принципиальными ценностями или драматическими различиями характеров и темпераментов. Имеют значение какие-то мелкие, чисто технические схемы, на основе которых мы стараемся взаимодействовать. Эти схемы оказываются разными, что прежде всего бросается в глаза. То есть оттого, что наши

гайки не подходят к их винтам на какие-нибудь доли миллиметра, мы обнаруживаем, что будто бы принадлежим к разным мирам» [эксперт М. Соколов, Россия].

«Россияне ищут несхожесть или сходство *всегда*. Сходство/несхожесть выступает в роли оценочной категории: “Молодец, это – по-нашему!” Я не раз слышал от своих оппонентов: “Вы мыслите не по-нашему”, “Такая логика – не наша”. Это маркирование получило широкое распространение. Оно служит в российской научной этике заменой аргументов» [эксперт Б. Ланин, Россия].

«В современной (постсоветской) России довольно широко распространено подчеркивание несхожести – не только в народе, но и в интеллигенции. Причем в провинции более “экслюзивны”, чем в столицах (и в Петербурге более “экслюзивны”, чем в Москве). Играет роль разочарование Западом у тех, кто путешествовал. Там, как оказалось, не рай и не ад, а что-то банальное, привычное и, в конце концов, неинтересное. К тому же люди как бы свертывают эти чувства в обратную сторону (говоря языком психоанализа, *project them*). Это одна из причин всплеска разговоров о “руссофобии»» [эксперт Ю. Гроноу, Финляндия].

Итоговое мнение будет следующим: «Россияне часто знают “чужое” лишь понаслышке. Мне кажется, что их ментальная конструкция – это прежде всего “мы – они»» [эксперт Ж. Нива, Франция].

Другой формой противопоставления своего и чужого является отрицание множественной идентичности. Эмпирическое исследование новой европейской идентичности показывает, что один и тот же человек или группа людей нередко имеют несколько идентичностей. В одном контексте они могут определять себя как европейцев (скажем, в Америке), в другом – как финнов (например, на хоккейном матче в Швеции), в третьем (гостя у друзей из Тампере) – как «мы из Хельсинки». Опасность состоит в том, что исторически во времена кризисов или неопределенности сильные национальные моноидентичности мобилизовать было довольно легко, было легко найти «козлов отпущения», взвалив на них ответственность за все страдания (ср. роль евреев в европейской истории). Русские реже, чем европейцы, признают возможность множественной идентичности. Советский человек вообще никогда не мог представить себя в другой ментальной оболочке.

К такому же выводу, кстати сказать, приходят и исследователи общественного мнения. Сошлюсь на Б. Дубина. Совсем недавно он писал в одной из своих работ⁸, что подавляющее большинство россиян не чувствуют себя людьми западной культуры или не считают этот момент важным для себя. В то же самое время коллективный «мы-образ» в европейских странах сильно эволюционирует в последние годы в совсем другом направлении. Дубин подкрепляет свой тезис конкретными примерами. Скажем, в Италии, где традиционно была важна и актуальна региональная проблематика, происходит рост значимости универсалистской ориентации на мир в целом и человеческий род. Жители Франции считают, что более всего объединяет культура и ценности (соответственно 46 и 38% опрошенных). Значение «почвы», объединяющей силы истории и территории, подчеркивают лишь 24 и 21% опрошенных. Явно растущая открытость европейских обществ является заметным контрастом по отношению к российскому социуму, закрытость которого далеко не преодолена.

Исследователи, продолжает Б. Дубин, сталкиваются сегодня лишь с симптомами распада закрытого общества. Поскольку решающий сдвиг в сторону открытости России является делом будущего (будем надеяться, ближайшего), постольку российское массовое сознание (общественное мнение) продолжает демонстрировать «очевидное»: двойственный образ Запада как ориентира и врага под влиянием мифологии западничества и антизападничества и связанных с ними синдромов восхищения и зависти, подражания и отторжения⁹.

(4) По моей гипотезе, корни этих аберраций сознания и подсознания уходят в структуру российской ментальности, в глубинах которой под влиянием сложной и противоречивой истории давно созрели не поддающиеся рационализации представления, составляющие образ «*умнепостижимой*» России. Скажу более определенно: *ментальность делает русских адептами особого своеобразно понимаемого пути*.

Эту связь российской ментальности с историей очень тонко подметила И. де Мадариага, эксперт из Великобритании: «*Есть еще один момент касательно России, который кажется мне основополагающим, – понятие воли. Что это такое? Однажды у Ленина я*

встретила цитату, которую потом никак не могла найти снова, – речь в ней шла о различных значениях слова “воля” (он-то должен знать!!!). Я не знаю ни одного другого европейского языка, который имел бы два слова – “воля” и “свобода”, выражающие два разных понятия свободы. В английском есть два слова – “liberty” и “freedom”, но понятие – одно и то же. Можно говорить о “freedom of the press” или о “liberty of the press” (оба выражения значат «свобода печати»). В латыни есть только “liberty”. Но русское “свобода печати” не то же самое, что “вольная печать”. В слове “вольное” есть нечто такое, что крайне трудно поддается переводу (см. о трудности перевода “земля и воля”). Если Иван Грозный говорит “я волен” – это не то же самое, что сказать “я свободен”. Последнее употребляют, принимая приглашение: “I am free to come” (“Я могу прийти”). В данном контексте не скажешь “я волен”. Воля – внутри тебя, свобода дается тебе извне. А ведь у русских есть еще и выражение “внутренняя свобода”, она-то извне не дается? Но в то же самое время существование такого словосочетания значит, что в головах носителей языка понятие “свобода”, возможно, не содержит признака “внутренний”.

Мне кажется, что такое разделение значения имеет что-то общее с существованием двух форм слова “быть” в испанском: “ser” и “estar”. “Ser” относится к существованию (soy rubia – я белокурая), а “estar” – к изменяющимся обстоятельствам (estoy enferma – я болен). “Воля” относится к чему-то, чем ты являешься, “свобода” зависит от обстоятельств, она – то, что “случается”. То, как использовать эти два понятия, какое из них выбрать в определенном контексте, русские, безусловно, решают автоматически, не задумываясь в такие моменты об оттенках значения. Тем не менее эти оттенки присутствуют всегда, бессознательно, и добавляют еще одно измерение к ощущению свободы в пространстве, свободы от контроля любого типа, что, как представляется, присуще натуре русских – всех классов и культур – и не является результатом действия законов. Поэтому идея свободы “в соответствии с законом” не столь уж существенна, как “я свободен”, “я волен”.

Это можно обнаружить и в отношении русских к закону. Екатерина (самая нерусская женщина, какую только можно отыскать) неожиданно для человека, никогда не изучавшего юриспруденцию, выступила приверженцем буквы закона – как проводника к справедливос-

ти, а не его духа (“Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения”, статья 153). В продолжение веков русские, кажется, предпочитали букве закона его дух как более способствующий примирению и согласию – фактически, это право справедливости, а не формальное право.

Это нашло отражение у Радищева в его “Путешествии из Петербурга в Москву”, в главе “Зайцово”. Герой повествования, судья, встает на сторону крестьян, совершивших убийство, потому что их вынудили к тому невыносимым к ним отношением, оправдать которое абсолютно невозможно. Он никак не мог принять того, что правило закона подразумевает безоговорочное подчинение букве закона. В русской истории известно много случаев, когда право справедливости предпочитали формальному праву».

В расплывчатости определений ментальности и форм ее бытия заключены определенные преимущества, например возможность ухватывать в анализе «нечто», ускользающее от других наук. Не таким ли путем шел М. Вебер, угадывая и открывая «нечто непознанное, но существующее» (речь о духе капиталистической предприимчивости) в проявлениях «очевидного» (протестантской этики)? Ментальность разнородна, хаотична и в то же время стереотипна¹⁰. Подкреплю это наблюдение ссылкой на мнение российского историка и эксперта проекта О. Кена, недавно безвременно ушедшего из жизни: «Под ментальностью понимаются устойчивые (или даже инвариантные) способы интерпретации социального в доминирующей культуре. Петр I, например, для современной российской ментальности является общепринятым позитивным символом. Можно взалхлеб цитировать Ключевского и при этом сохранять неотторжимость от совокупности представлений, воплощенных в феномене Петра I. Это и есть ментальность, инвариантная данность, способная уничтожить или ассимилировать всякое сопротивление этой данности – политическое, нравственное, эстетическое». Не потому ли по-прежнему мои соотечественники предпочитают строить «воздушные замки» «особого пути» в ущерб заботам о судьбах «разоренного гнезда»?

(5) Представлю теперь обобщенный взгляд «извне» на ментальность россиян. Вывод о том, что риторику российской особенности давно чувствует мир, разделяют все зарубежные эксперты. Риску в

этом случае предложить коллективную точку зрения, сложенную на основе синтеза отдельных высказываний Ю. Тронуу (Финляндия), К. Келли (Великобритания) и Ж. Нива (Франция).

1. Мне кажется, что я уловил ноту, которая выполняет роль камертона для этих высказываний. Крах СССР заставил мир думать, кто такие русские, оставшиеся без советской оболочки. Именно тогда стало ясно, что это люди, говорящие на русском языке как родном, погруженные в русскую культуру и наделенные русской идеей (чувством патриотизма, особенно привязанностью если не к историческим корням, то к земле), смотрящие на все «не наше» неодобрительно.

2. «Все началось давно». Современные дискуссии о русскости, судьбе России, русском православном духе и душе и, что более важно, противопоставление Запада и Востока в российской истории и культуре – все это повторения и вновь найденные старые элементы тех старых националистических дискуссий и форм политической мобилизации. Позднее, конечно, были обсуждения большевизма и его роли в русской истории, но даже они осложнялись тем, что российско-советские интеллектуалы (диссиденты), как встарь, ставили Россию и ее роль в истории человечества между Востоком и Западом. Эта идея играла и, несомненно, продолжает играть чрезвычайно важную роль в самопонимании России как в отрицательном плане (мы не европейцы, значит, европейские модели Просвещения и демократии нам не подходят), так и в положительном (у нас есть что дать остальной Европе благодаря такой двойственной позиции между современным и традиционным).

3. «Русским сильно мешает этика кланового общества». Ее корни уходят в патерналистскую систему, где четко различаются «свои» и «чужие». Разные нормы поведения внутри собственной группы или клана, а также по отношению к «чужим», которые к «своим» не принадлежат. Сильное чувство зависти и негодования по отношению к аутсайдерам часто связано с такой установкой: если они гораздо богаче нас, значит, они преступники или мафиози. Это наследие советского времени, однако оно поддерживается и многими нынешними экономическими и социальными структурами.

4. «Разруха в головах». Все тяжело в России, но единственное, с чем *нет* проблем, – это идентичность. «Мы точно знаем, кто мы», –

так часто говорят русские о себе. Их западные собеседники думают иначе, точнее, обращают внимание на «разруху в головах», вызванную необходимостью ужиться с падением роли в мировой политике, исчезновением статуса «великой державы».

5. Астигматизм взглядов русских на мир. В прошлом средний гражданин западной страны считал, что он очень хорошо понимает советскую систему, лучше бедных советских, переживших «промывание мозгов». Средний российский интеллигент из того же недавнего прошлого полагал, что он прекрасно знает за границу по романам Диккенса и Бальзака (и даже лучше «туземцев», поскольку советский народ «самый читающий в мире», а там погружены в быт, но классическую культуру своей страны не уважают и не понимают). Следы этих отношений влияют на взаимное понимание сегодня.

6. «Кому в Европе жить труднее всех?» *«Я категорически не согласен с идеей, – сказал Ж. Нива, – что адаптация для русского человека исторически была более сложной, чем для немца или китайца. Путь от французского крестьянина 1860-х годов (при Наполеоне III) до резни под Верденом, оккупации в 1940–1944 годах, утраты колонии, массовой урбанизации не менее трудный, чем от российского крепостного человека 1860 года до солдата Первой мировой, раскулаченного крестьянина, солдата Великой Отечественной войны и жертвы ваучеров. Конечно, не было во Франции самоуничтожения такого масштаба, как Гулаг, не было блокады Ленинграда. Но сегодняшняя адаптация [россиян] все-таки менее мучительная, это не “геноцид” (как любят выражаться новые русские националисты, [постоянно] приписывая его Западу)»*.

7. «Интерес к России падает». За озабоченность собой и невнимание к другим приходится платить. Иные считают, что Россия просто обречена на ненависть со стороны Запада. Это – преувеличение и истерика. В реалиях сегодняшнего мира преобладает другая реакция. Например, в Англии Россию не столько ненавидят, сколько просто не понимают (дух Кембриджа – это прежде всего неприятие претенциозности и умственной отсталости), и выходцами из России не интересуются.

8. Демократия избавляет от участи оказаться жертвами перемен. Людям приходится адаптироваться к неизбежности социальных и экономических изменений, но им особо нечего сказать про эти пе-

ремены, которые к тому же оказались стремительными и резкими во многих аспектах и с точки зрения многих [россиян]. Впрочем, сегодня это не специфически российская черта. Россию, вероятно, отличает то, что там нет эффективно действующей политической общественной сферы, общественных СМИ и разного рода политических организаций, начиная с партий и заканчивая народными движениями и гражданскими форумами всех типов, где можно было бы открыто обсуждать, критиковать и даже отрицать перемены, прошлое и будущее и разные этому альтернативы.

9. Две позиции отличают политику нынешней российской власти: первая – «великодержавная», тоска по границам империи, угрозы, конфронтация советского стиля, а вторая, более умная, – культурное сотрудничество, культурный обмен, пусть даже культурный империализм. Однако постоянный комплекс неполноценности русских и русской власти мешает гармоническому развитию второго подхода. «Россия-1» не сознает, что у нее есть «Россия-2», представляющая собой огромный потенциальный запас культуры.

10. Главное преимущество и аргумент в защиту современной России – возможность для ее граждан, особенно для младших поколений, взять на себя ответственность за собственные судьбы. Таков основной аргумент в защиту новой России, который эксперты слышат от многих ее жителей. Все это должно происходить в столь жестких и для многих людей деструктивных условиях, без необходимых систем защиты тех, кто не справляется или неспособен адаптироваться. Если же такие системы защиты и есть, они нередко служат препятствием для дальнейшей модернизации. Ни правительство, ни политические партии, по-видимому, не имеют реально работающих способов решения данных проблем. Следовательно, современная Россия еще будет какое-то время – дольше, чем другие части мира, – пребывать в гибридном состоянии, когда люди сталкиваются с трудностями при поиске ориентиров на будущее.

Заостренность, прицельность, точность замечаний – эти качества экспертных оценок «извне» являются альтернативой бездоказательной апологии «особого пути» развития, без ссылок на примеры, достойные подражания, без инноваций, которые бы стремились взять на вооружение наши западные партнеры и оппоненты. Чем настойчивее российские представители (ученые здесь не составят исключение)

подчеркивают особость российского пути, тем активнее им оппонирует западное профессиональное мнение, среда (в том числе научная), с которой издавна поддерживаются и развиваются отношения кооперации и сотрудничества.

В наше время происходит переопределение смысла и векторов отношений между разными странами. Замечу, что оно начинается в ментальных структурах, на дологическом уровне, чем лишний раз подчеркивается важность их анализа. Вместе с тем этот процесс является следствием глобализации, которая заметно и постоянно смещает «традиционные» места разных стран, их народов и лидеров в представлениях граждан других стран. Их ментальность хранит и обновляет образы «своих» и «чужих», оказывая влияние на международный климат нашей планеты.

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ, чьи ответы приведены в тексте статьи:

Юкка ГРОНОВ (Jukka Gronow) – PhD, профессор социологии, Упсальский университет (Швеция);

Исабель де МАДАРИАГА (Isabel de Madariaga) – член Британской академии (FBA), историк и литератор (Великобритания);

Катриона КЕЛЛИ (Catriona Kelly) – DPhil, профессор русистики, Оксфордский университет (Великобритания);

Олег КЕН (1960–2007) – доктор исторических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный педагогический университет;

Борис ЛАНИН – доктор филологических наук, профессор, Всероссийская государственная налоговая академия (Москва);

Жорж НИВА (Georges Nivat) – профессор русистики (Франция);

Михаил СОКОЛОВ – кандидат социологических наук, преподаватель, факультет политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 *Фирсов Б.М.* Ментальные миры современного российского населения // *Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев.* 2003. № 4. С. 3–9; *он же.* Ментальные миры современного российского населения (статья вторая) // *Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев.* 2004. № 5. С. 2–8; *он же.* Менталь-

ные миры современного российского населения (статья третья) // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2007. № 6. С. 14–27.

2 Визитные карточки экспертов приводятся в конце статьи.

3 Кантор В.К. «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Историко-философские очерки. М.: РОССПЭН, 1997. С. 255–256.

4 Гачев Г. Космос, эрос и логос России // Отечественные записки. 2002. № 3 [http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002_03_32.html].

5 Вовель М., Гуревич А., Рожанский М. Ментальность // 50/50. Опыт словаря нового мышления. Под общ. ред. Ю. Афанасьева и М. Ферро. М.: Прогресс – Раут, 1998. С. 459.

6 Гудков Л. Русский «неотрадиционализм» и сопротивление переменам // Отечественные записки. 2002. № 3 [http://magazines.russ.ru/oz/2002/3/2002_03_09.html].

7 Гальцева Р. Тяжба о России. На рубеже столетий // Новый мир. 2002. № 8 [http://magazines.rus.ru/novyi_mi/2002/8/gal.html].

8 Дубин Б. О коллективной идентификации в современной России // Пути России. Современное интеллектуальное пространство. Школы, направления, поколения. Т. XVI. М.: Университетская книга, 2009. С. 398–399.

9 Там же. С. 400.

10 История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М.: Институт всеобщей истории РАН, 1998. С. 41–42. Источник: Левада-Центр. 2009 [<http://www.levada.ru/press/2009061004.html>].

Андреас Уmland

Новый «особый путь» России после «оранжевой революции»:

*радикальное антизападничество
и паратоталитарный неавторитаризм
2005–2008 годов**

21 ноября 2004 года в Киеве началась акция массового гражданского неповиновения, получившая известность как «оранжевая революция». Хотя на тот момент против своих правителей и их «политтехнологов» восстали не россияне, а украинцы, киевские события стали знаковыми и для российского руководства. Сегодня «оранжевая революция» часто представляется постсоветскими СМИ как неудавшийся проект. Однако ее прямые и косвенные последствия для отношений между властью и обществом, внутренней и внешней политики являются до сих пор глубокими – как в Украине, так и в России.

Ниже представлены несколько тезисов относительно влияния «оранжевой революции» на политическую систему, публичный дискурс и общественное мнение в России. Статья фокусируется на 2005–2008 годах, так как вышеупомянутые эффекты начали появляться по окончании украинского восстания в конце 2004 года; а с инаугурацией нового президента РФ Дмитрия Медведева в мае 2008 года началась новая фаза в развитии Российского государства. Правда, политические тенденции, вызванные «оранжевой революцией», как проиллюстрировано ниже, продолжали и продолжают проявляться и после избрания Медведева – это явно связано с тем, что Владимир Путин сохранил значительную часть своего политического

* Я глубоко благодарен Леониду Люксу, Антону Шеховцову, Александру Янову, Виктору Шнирельману, Борису Степанову и Александру Кузьмину за их ценную критику ранней версии этой статьи. Елена Сивуда активно помогала в улучшении языкового качества текста. За оставшиеся неточности или неверные интерпретации, однако, несу ответственность я один.

влияния после его перехода на формально второстепенный пост председателя правительства России.

Тем не менее политическая атмосфера в России изменилась после 2008 года в достаточной мере, чтобы выделить 2005–2008 годы как особый период. В то время как начало новой фазы в постсоветской эволюции России в 2008 году было связано с приходом нового президента, предыдущий период, обозначенный ниже как «паратоталитарный», берет свое начало в феврале 2005 года, т.е. во время второго президентского срока Путина – сразу же после инаугурации нового украинского президента Виктора Ющенко 23 января 2005 года. В связи с тем, что за несколько недель до этого в Украине началось во многом противоположное российской динамике внутри- и внешнеполитическое развитие, «оранжевая революция» как важный фактор дифференцирования политических систем двух восточнославянских стран представляет собой своего рода водораздел в новейшей истории постсоветского пространства¹.

До 2004 года украинский политический режим при президенте Леониде Кучме напоминал тогдашнюю российскую форму госуправления. «Поздний кучмизм» и извращение функционирования ряда демократических институтов во время последнего срока второго президента Украины был похож на «ранний путинизм», т.е. на «управляемую демократию» первого срока второго президента РФ, который в чем-то лишь продолжил развитие некоторых механизмов госуправления Бориса Ельцина. Иными словами, политические процессы в России уже с самого начала президентства Путина активно манипулировались властями.

Правда, множество таких манипуляций демократических процедур и соответствующую активность т.н. «политтехнологов» можно было наблюдать еще при Горбачеве и Ельцине². Но систематический и в основном односторонний характер эти подрывы конституционно зафиксированных демократических основ Российского государства приобрели только после 1999 года³.

Тем не менее режим Путина в начале первого десятилетия нового века сохранял, напоминая тактику окружения Кучмы в 1999–2004 годах, определенные элементы политического плюрализма. Хотя во время своего первого президентского срока Путин уже использовал разные методы искажения смысла нормальных демок-

ратических процедур⁴, тогда он еще допускал существование (хотя далеко не свободу движения) значимых оппозиционных политических и гражданских сил⁵.

Помимо других событий, по-видимому, именно впечатляющий успех «оранжевой революции» продемонстрировал политической верхушке РФ неустойчивость полудемократии с ее гибридным модусом легитимизации власти. Украинские события осени-зимы 2004 года показали, какие риски несет в себе «мягкое», ограничительное манипулирование политическим процессом с его частичным соблюдением отдельных демократических процедур, таких как беспрепятственный допуск официальных наблюдателей к выборам или неполный контроль правительства над основными СМИ и судами. Постепенному изменению путинской командой оценки относительной эффективности различных политических стратегий, направленных на сохранение политической власти, способствовал, конечно, и ряд других событий внутри и вне России, включая:

- неожиданное свержение популярного среди российских «патриотов» Слободана Милошевича в 2000 году;
- критическую реакцию российской общественности на поведение Путина во время кампании по спасению экипажа утонувшего подводного крейсера «Курск» в августе 2000 года;
- дискуссии о методах и результатах освобождения заложников во время «спецопераций» российских силовых ведомств в Театральном центре на Дубровке в Москве 23–26 октября 2002 года и в школе № 1 города Беслан 1–3 сентября 2004 года.

Очевидно, что и другие «цветные революции» или их попытки на территории бывшего СССР существенно повлияли на восприятие постсоветского мира Кремлем.

И все же «оранжевая революция» была, по-видимому, самым шоковым из этих событий для бывших офицеров в окружении Путина, мировоззрение которых сформировалось во время их службы в различных подразделениях КГБ, Советской Армии и МВД СССР. «Как это малороссы провели акцию гражданского неповиновения и свергли без единого выстрела своего узурпатора, который, казалось бы, имел в своих руках все рычаги госуправления? Если такое могло случиться на Украине, то, наверное, стоит опасаться развития по-

Таблица 1

добной ситуации и в России?» Примерно такие вопросы, я полагаю, начали тревожить Путина и его соратников в результате успешных протестов сотен тысяч возмущенных «малороссов» против фальсификации президентских выборов во многих городах Украины в октябре-декабре 2004 года. Поиск ответов на эти и похожие вопросы в связи с другими демократическими тенденциями на постсоветском пространстве был, по всей видимости, напряженным.

Авторитаризм Путина до «оранжевой революции»

Правда, стоит упомянуть, что, по данным авторитетной мониторинговой службы Freedom House о развитии России в первом десятилетии нового века, второй «скачок» в путинской реставрации авторитаризма (после изначальной атаки на демократические институты 1999–2000 годов) произошел еще в 2003–2004 годах, т.е. до начала и во время успешного электорального восстания в Украине⁶. Результаты совокупного рейтинга для измерения относительной демократичности определенной страны, составленного этой организацией, т.н. Democracy Score, говорят о том, что 2004 год, т.е. момент «оранжевой революции», был важной фазой не только демократизации Украины, но и реставрации авторитаризма в России (см. табл. 1)⁷. Именно в этот период в Украине произошел самый значительный сдвиг в сторону демократии, начиная с 2000 года, а Россия больше всего продвинулась по пути подрыва демократических устоев РФ с 1999 года.

Относительно этой таблицы важно учесть, что баллы разных стран, указанные для определенного года, на самом деле относятся к предыдущему году, т.е., например, указанные рейтинги для Украины и России 2005 года выражают оценки специалистов Freedom House развития с 1 января по 31 декабря 2004 года⁸. Таким образом, изменения, выделенные в рейтинге под заголовком «2005», отображают изменения к концу 2004 года по сравнению с концом 2003 года.

Относительно резкое *снижение* балла для Украины, т.е. *повышение* ее демократического рейтинга – очевидный результат «оранжевой революции» 2004 года, указывающий на существенное влияние этого события на украинскую политическую систему. Сравнительно резкий *рост* этого балла в случае России, т.е. *упадок* демократичности РФ, отображает определенную смену стратегии московской верхуш-

Итоговый рейтинг демократичности Freedom House

для Украины и России за последние десять лет

(наихудший балл – 7,0; наилучший балл – 1,0)

и изменения в рейтинге по сравнению с предыдущим годом

Страна	1999/2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
УКРАИНА										
Рейтинг	4,63	4,71	4,92	4,71	4,88	4,50	4,21	4,25	4,25	4,39
Изменение рейтинга		+0,08	+0,21	-0,21	+0,17	-0,38	-0,29	+0,04	-	+0,14
РОССИЯ										
Рейтинг	4,58	4,88	5,00	4,96	5,25	5,61	5,75	5,86	5,96	6,11
Изменение рейтинга		+0,30	+0,12	-0,04	+0,29	+0,36	+0,14	+0,11	+0,10	+0,15

Источник: Table 9. Democracy Score: Year-To-Year Summaries by Region // Nations in Transit 2009 / Ed. Freedom House. Washington 2009

ки примерно того же времени. До 2003 года т.н. «политическая технология» Кремля была, видимо, направлена, как уже было сказано, «всего лишь» на частичное регулирование еще относительно плюралистического политического процесса страны. В ходе же электорального цикла 2003–2004 годов начинается неприкрытое нарушение соответствующих статей Конституции РФ, т.е. набирает обороты принципиальный отход от заложенных в Основном Законе демократических фундаментов современного Российского государства⁹.

Развитие путинского режима после «оранжевой революции»

2003–2004 годы были, несомненно, периодом существенного подрыва демократических основ РФ со стороны нового, все более контролируемого т.н. силовиками российского руководства. Тем не менее неким поворотным пунктом в эволюции путинской России представляется скорее следующий, «посторанжевый» период, который начался в начале 2005 года и продолжался до 2008 года, когда пост президента занял Дмитрий Медведев¹⁰. В статье, опубликованной в октябре 2005 года, немецкая исследовательница российской политики Маргарета Моммзен пишет о переходе путинской России

к этому моменту от «управляемой» к «имитированной демократии»¹¹. Чем оправдано такого рода переопределение?

Если до 2004 года путинская стратегия разложения демократических структур РФ могла характеризоваться как «негативная» в том смысле, что она была нацелена на отстранение определенных политиков и активистов от рычагов политической власти и общественного влияния, то вследствие «оранжевой революции» поведение российского руководства приобретает, условно говоря, «позитивный» характер. Тогда как подрыв демократических институтов и процедур в 1999–2004 годах являлся классически авторитарным и «лишь» означал все более жесткое ограничение деятельности альтернативных и оппозиционных структур, то с конца 2004 года политика путинского окружения приобретает «паратоталитарные» черты¹². Имеется в виду, что влияние президентской администрации на политический процесс начиная с 2005 года несет уже не только реактивно-обструктивный, но и все более активный и мобилизационный характер. При этом Кремль креативно применял и применяет как новейшие информационные и пиар-технологии, так и различные (иногда импортированные с Запада) методы театрализации и/или сакрализации политических событий и акций. Хотя такого рода действия напоминают политику тоталитарных режимов, они остаются «паратоталитарными»¹³, так как отсутствуют более существенные черты тоталитаризма, такие как массовый террор или революционная идеология. Путинские «политтехнологии» скорее развивали отдельные инструменты тоталитаризма, нежели создавали или хотели создать тоталитарное государство¹⁴. Связанное с этим более рафинированное управление политическим процессом труднее уловить традиционным арсеналом индикаторов демократичности, сфокусированных на разных способах подавления политических прав и свобод (цензура, преследования, аресты и т.д.) руководством данной страны. Видимо, поэтому 2005–2008 годы, по рейтингу Freedom House, оказались, несмотря на указанные новые тенденции этих лет, менее драматичными, чем 2003–2004 годы¹⁵.

Самым явным – хотя, возможно, и не самым существенным – выражением модификации путинского курса во второй половине первого десятилетия XXI века в области внутренней политики было, в сущности, восстановление однозначного монизма в партийной

системе страны (и без того, правда, не очень политически значимой). Проведенное с удивительной политической бесцеремонностью возвращение однопартийности произошло путем превращения «Единой России» из гегемониальной политической структуры во всесторонне господствующую партию и во фракцию, почти полностью контролирующую подавляющее большинство парламентов РФ¹⁶. В начале десятилетия иногда создавалось впечатление, что Путин, возможно, хочет «сверху» создать двухпартийную систему. Однако его решение возглавить список «Единой России» на парламентских выборах 2007 года (хотя до сих пор он не является членом этой партии) и набравший на тот момент обороты культ личности вокруг него (например, введение понятия «национальный лидер») развеяли надежды на то, что Путин рассматривает свой режим как всего лишь переходно-авторитарный¹⁷.

Ура-патриотические экстазы избирательных кампаний 2007–2008 годов и фактический отказ российского руководства миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в возможности проведения содержательного мониторинга думских и президентских выборов этих лет были неким апогеем мутации путинского режима из классического в неоавторитарный строй с «паратоталитарными» тенденциями¹⁸. Началось это перевоплощение уже в начале 2005 года. Оно было явной реакцией в первую очередь на «оранжевую революцию», но частично также и на другие «цветные революции». Среди наиболее знаковых результатов «творческих» выводов, сделанных Кремлем из событий в Украине 2004 года, было спешное создание или решительная активизация ряда проправительственных молодежных движений, как и различные акции этих группировок в 2005–2008 годах. Среди таких образований особенно знаменитым стало т.н. Молодежное демократическое антифашистское движение «Наши», основанное уже в конце февраля 2005 года¹⁹, т.е. примерно через месяц после инаугурации Виктора Ющенко как президента Украины. В 2005 году также были созданы: Евразийский союз молодежи Александра Дугина, Движение «Россия молодая» («Румол»), Движение молодых политических экологов Подмосковья «Местные» и Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» под руководством популярного телепродюсера Ивана Демидова, являющегося поклонником А. Дугина²⁰.

Другими значимыми нововведениями похожего характера в том же 2005 году явились Общественная палата РФ²¹, День народного единства 4 ноября и создание трех новых проправительственных телеканалов – православного «Спаса»²², военной «Звезды» и англоязычного Russia Today²³. Впоследствии Кремль предпринял ряд схожих шагов, направленных на создание искусственного гражданского общества и националистической массовой культуры. Среди этих проектов стоит выделить серию новых «патриотических» художественных кинофильмов²⁴, телевизионных документаций и школьных учебников истории, созданных и/или распространяемых по инициативе или при поддержке президентской администрации и правительства РФ²⁵. Особого упоминания достоин основанный в январе 2008 году Институт демократии и сотрудничества с филиалами в Париже и Нью-Йорке под руководством двух профессоров МГИМО, Наталии Нарочницкой и Андраника Миграняна, известных своей яркой критикой либеральной демократии и тесного сотрудничества с Западом. В мае 2009 года указом нового президента РФ Дмитрия Медведева была создана Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Ответственным секретарем Комиссии назначен вышеупомянутый поклонник дугинского «неоевразийства» Иван Демидов²⁶.

Подъем российского антизападничества после «оранжевой революции»

Наряду с этими тенденциями во время успешного совершения «оранжевой революции» наблюдается заметное ускорение процесса отчуждения между Россией и Западом. Например, 6 декабря 2004 года, т.е. еще до третьего тура украинских президентских выборов, Путин на пресс-конференции в Анкаре делает одно из своих первых колоритных высказываний, сигнализирующих грядущее кардинальное изменение в отношениях России с Западом: «Знаете, что меня особенно беспокоит применительно к ситуации, которая складывается на Украине? ... Не хочу, чтобы, как в Германии, мы разделили Европу на восток и запад, на людей первой и второй категории, первого и второго сорта. Когда люди первого сорта имеют возможность жить по демократическим стабильным законам, а второму – людям с, об-

разно говоря, темным политическим цветом кожи – добрый, но строгий дядя в пробковом шлеме будет указывать ту самую политическую целесообразность, по которой он должен жить. А если неблагодарный туземец будет возражать, то его накажут с помощью бомбовой, ракетной дубинки, как это было в Белграде. ... Хотел бы подчеркнуть еще раз, что только сам народ в любой стране, это касается в полном объеме и Украины, может решить свою судьбу»²⁷.

В своей книге «Авторитарный бумеранг: российское сопротивление демократизации в бывшем Советском Союзе» Томас Амброзио пишет, что «результаты украинских президентских выборов фундаментально изменили то, как Кремль воспринимает внешнюю поддержку демократии на [постсоветском] пространстве... Вследствие «оранжевой революции» формируется рутинная схема, по которой Россия на постоянные западные жалобы насчет недостатка свободы и справедливости выборов отвечает обвинениями в лицемерии... Оппоненты режима [Путин внутри РФ] представляются членами «пятой колонны», которые готовы торговать независимостью России для внедрения западных идей. Поддержка российской демократии извне рассматривается как ширма для неокOLONIALИЗМА»²⁸.

17 мая 2005 года, менее чем через четыре месяца после инаугурации Виктора Ющенко в результате «оранжевой революции», заместитель главы президентской администрации РФ Владислав Сурков в полуофициальной речи на заседании генсовета предпринимательского объединения «Деловая Россия» в Москве впервые представляет свою концепцию «суверенной демократии»²⁹, впоследствии ставшей негласной руководящей идеей российской авторитарной реставрации (по крайней мере, до избрания Дмитрия Медведева президентом РФ в 2008 году)³⁰. По мнению Амброзио, «речь Суркова должна рассматриваться как идеологический ответ на события в Грузии и Украине. Его упоминание «оранжевой революции» указывало на страх Кремля перед тем, что свержение авторитарных режимов через народные восстания может дальше распространяться по [постсоветскому] региону – с предполагаемой помощью и/или под руководством Запада... Озабоченность тем, что внешняя критика может привести к ослаблению российского правительства и, таким образом, предоставить возможность внешнего контроля [России], базировалась частично на восприятии западного вмешательства в «оран-

жевую революцию». Идея о том, что Запад может попробовать повторить свои прежние успехи путем подрыва легитимности Кремля и пособничества народному восстанию, была широко распространена в российских политических кругах [после украинской акции массового неповиновения]»³¹.

Начавшийся в начале 2005 года процесс модификации общих внутри- и внешнеполитических приоритетов сопровождался серией все более резких высказываний президента Путина в отношении как Запада, и в первую очередь США, так и российских западников, особенно либерально настроенных партийных и гражданских активистов. В них президент с высоких российских и иностранных трибун публично одобрял антиамериканизм, который объединял различных российских радикалов, включая «левых» коммунистов-зюгановцев, «правых» неонацистов и таких самозванных «центристов», как Владимир Жириновский или Александр Дугин.

Для западной общественности знаковым событием в этом отношении была известная речь Путина на конференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2007 года. В России же Путин как до, так и после своей мюнхенской речи допускал еще более резкие высказывания в отношении Запада (в первую очередь США), в том числе и употребление биологических метафор для описания предполагаемых врагов Российского государства. Так, например, в своем президентском послании от 2006 года он назвал США «товарищем волком», который пользуется наивностью других стран касательно сущности американской внешней политики для достижения собственных целей в ущерб интересам других народов. Во время предвыборной речи в ноябре 2007 года Путин подверг российских либералов едва завуалированному обвинению в измене Родине, заявив, что, «к сожалению, находятся и внутри страны те, кто шакалит у иностранных посольств»³².

Главными политическими оппонентами «Единой России» в мировоззрении, усиленно пропагандируемом путинским Кремлем и его СМИ после украинских событий 2004 года, являются уже не внутривнутриполитические конкуренты, такие как «Справедливая Россия» или КПРФ, и даже не «Другая Россия», а скорее ЦРУ, МИ5, Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» и ряд других западных структур. Эти организации, по мнению Кремля, ответственны за «цветные революции» или их попытки – если не за все судьбонос-

ные политические события последней четверти века на постсоветском пространстве (а возможно, и за его пределами).

Надо отметить, что такого рода оценки начали входить в дискурс правящей элиты России уже с начала президентства Путина в 2000 году, если не раньше³³. Однако в первые годы усиливающегося влияния идеологов антизападничества в российском истеблишменте этот процесс оказывал относительно небольшое воздействие на население в целом. Правда, отрицательное отношение к западной политике и культуре среди многих россиян³⁴ и радикальное антизападничество в российских элитных кругах начали распространяться уже с середины 90-х³⁵. Видимо, это явление было связано как с общим ростом ксенофобских тенденций, начавшимся примерно в 1994 году³⁶, так и с негативной реакцией практически всей российской политической и интеллектуальной элиты на западное стремление расширить НАТО на Центрально-Восточную Европу в те же годы³⁷. Но все же уровень выраженного антиамериканизма до первой половины текущего десятилетия, несмотря на достигнутый ранее существенный медийный успех пропагандистов русского «особого пути» и неоимпериализма, был относительно низким или, по крайней мере, нестабильным.

Это наводит на мысль, что заметное ухудшение отношения граждан РФ к внешнему миру в целом и к США в частности к концу этого десятилетия связано не только с новыми процессами в международной жизни как таковыми. Оно, видимо, в значительной мере было вызвано переменами в риторике высшего руководства РФ в результате «оранжевой революции» и других вышеперечисленных событий 1999–2004 годов. Радикальное антизападничество является составной частью этого перелома в российской публичной политике. До начала XXI века конфликты между разными партиями, программами, блоками, лагерями, регионами, группами интересов и т.д. определяли, как и в других странах, сущность публичных политических дебатов в РФ. Примерно с 2005 года в общественной жизни стали доминировать дебаты как о конфликте России и Запада в целом, так и о противостоянии между путинской командой и предполагаемыми «агентами влияния» демонизированных в России США³⁸.

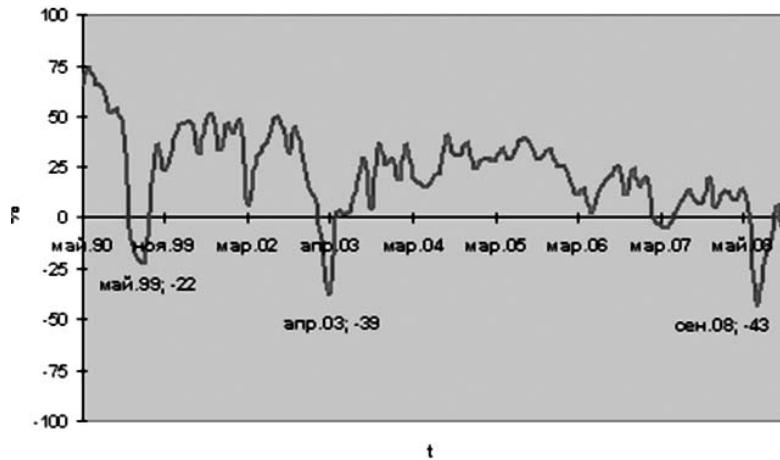
Конечно, рост русского антиамериканизма связан и с рядом, мягко говоря, непродуманных шагов администрации Джорджа Буша-

младшего – в первую очередь с вторжением военных сил США в Ирак в 2003 году³⁹. Однако динамика реакции россиян на предыдущую воздушную интервенцию НАТО в Югославии в 1999 году говорит о взаимодействии разных факторов, влияющих на российское общественное мнение. Видимо, не только и не столько сами эти непопулярные как в России, так и во всем мире акции Запада, сколько их оценка значимыми российскими политиками, журналистами и экспертами сыграли важную роль в развитии видения американской внешней и внутренней политики большинством населения России во время правления Путина. Как отметил Лев Гудков, «у населения (иные политологи по инерции или по лени рассматривают его как “народ”, как коллективного субъекта действия) нет какого-то своего самостоятельного отношения к Америке, которое могло бы возникнуть под воздействием интересов или спонтанных обстоятельств, независимо от доминирующего института, группы или от всей системы институтов (если говорить о тоталитарном и посттоталитарном обществе), задающих и воспроизводящих образцы отношения к символическим объектам»⁴⁰.

Рисунок 1

Индекс отношения к США

(различие между позитивными и негативными оценками, в %) май 1990 – май 2009 года



Источник: Левада-Центр. 2009 [http://www.levada.ru/press/2009061004.html].

Если, к примеру, уровень антиамериканизма в российском обществе сразу после бомбардировок самолетами НАТО Сербии в марте-июне 1999 года резко вырос⁴¹, он удивительно быстро вернулся на относительно низкий уровень 1997–1998 годов уже к середине 2000 года (см. рис. 1)⁴². В своем докладе 2001 года московский Фонд общественного мнения указал на следующий парадокс: «За два года, прошедшие с момента международного кризиса [1999 год], вызванного событиями вокруг Югославии, ни в политике США и НАТО, ни в отношениях между Россией и Западом не произошло каких-либо сдвигов, способных подтвердить надежды на серьезное улучшение ситуации. В течение этого времени продолжало осуществляться расширение НАТО на Восток, обострился конфликт между Россией и западными странами в связи с возобновлением военных действий в Чечне, были озвучены неприемлемые для России планы новой американской администрации, направленные на создание национальной системы ПРО и отказ от договора 1972 года, провозглашена линия на ужесточение политики Вашингтона по отношению к России, действия НАТО в Косово и Македонии вновь подтвердили, что альянс игнорирует российские позиции по проблемам бывшей Югославии. Весьма примечательно, что в этих условиях в российском общественном мнении устойчиво продолжали преобладать ориентация на укрепление партнерских отношений с западными странами, а негативное отношение к Западу, в том числе к США, столь же устойчиво оставалось ... маргинальной позицией по сравнению с преобладающим нейтральным и позитивным отношением»⁴³. Всплеск же антиамериканизма весной 2002 года был явно связан со ссорами вокруг реального уровня успехов российских спортсменов на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. По окончании игр отношение россиян, как и в случае с югославским инцидентом, быстро вернулось на прежний уровень.

Можно предположить, что это было связано с тем, что к концу прошлого – началу нового тысячелетия в официальном политическом дискурсе России еще не было той настойчивой неприязни к США⁴⁴, которая к концу 2000-х годов проникла в некоторые внешнеполитические правительственные документы и стала доминировать в большинстве информационных, политических и интеллектуальных телерадиопрограмм, газетных и журнальных статей – не

говоря уже о политической книжной публицистике, большая часть которой на сегодняшний день одержима различными теориями американского, западного, масонского, еврейского и других заговоров против России⁴⁵.

Несмотря на то, что исламско-арабский Ирак является для русских менее значимой страной, чем православно-славянская Сербия, реакция российской общественности на интервенцию США на Ближнем Востоке весной 2003 года была более «последовательной» в том смысле, что она служила как выражением, так и усилителем общего роста антиамериканизма с момента прихода к власти В. Путина⁴⁶. Это говорит о том, что все более негативная оценка США российскими СМИ и политической элитой в 2000–2008 годах являлась, помимо негативного восприятия россиянами политики Буша-младшего, важным фактором роста «народного» антиамериканизма в России⁴⁷. После 2005 года уровень антиамериканизма продолжает колебаться, но при этом сохраняет свой, по сравнению с 90-ми годами, относительно высокий уровень. Российское общество, таким образом, более или менее преодолело описанный Владимиром Шляпентохом в 2001 году раскол между правящим классом и массами, которые еще в начале десятилетия были значительно менее антизападническими, чем большинство ведущих политических комментаторов и значительная часть интеллектуальной элиты РФ⁴⁸.

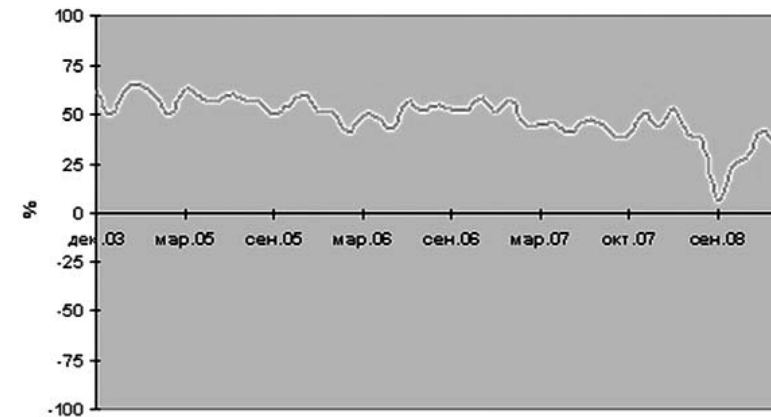
На то, что население России коренным образом переосмысливает свое отношение к Западу в целом, указывает и то, что за последние годы происходит медленное, но постоянное ухудшение оценки Европейского союза, до середины этого десятилетия относительно «популярного» среди большинства россиян (см. рис. 2). Как указывал, среди прочих, Леонид Седов, «характеристики отношения [россиян] к ЕС и США сопряжены друг с другом»⁴⁹.

Эти наблюдения позволяют констатировать, что к маю 2008 года антизападничество стало важной, если не преобладающей призмой, через которую большая часть как элиты, так и «простых» граждан РФ рассматривает актуальные события в мировой политике. Это касается не в последнюю очередь развития ситуации на территории других постсоветских государств. Недавние конфликты между прежним центром и периферией распавшейся империи являются, конечно, не таким уж особенным явлением, если сравнивать их с

Рисунок 2

Индекс отношения к Европейскому союзу

(различие между позитивными и негативными оценками, в %) декабрь 2003 – май 2009 года



Источник: Левада-Центр. 2009 [http://www.levada.ru/press/2009061004.html].

похожими болезненными конвульсиями после распада других мировых империй в XX веке⁵⁰.

Однако растущий российский антизападный обскурантизм и все более популярные теории заговоров для объяснения этих конфронтаций придают русскому постимперскому синдрому особую остроту⁵¹. Он все больше напоминает агрессивную реакцию немецких политических и интеллектуальных лидеров на «позорный» конец второй Германской империи в 1918 году с их «легендой об ударе ножом в спину» («*Dolchstoßlegende*») – об иллюзорной вине «внутренних» врагов Германии за ее поражение в Первой мировой войне⁵². В худшем случае дальнейшая конспирологическая интерпретация россиянами грузино-российских, украинно-российских или похожих постимперских противостояний может ускорить эскалацию как межгосударственных конфликтов на территории бывшего СССР, так и российско-западных разногласий. Радикальное российское антизападничество на этом фоне превращается из объекта исследований новейшей истории политических идей в предмет политического анализа современной евроазиатской безопасности.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Umland A.* Orange Revolution als Scheideweg: Demokratisierungsschub in der Ukraine, Restaurationsimpuls in Russland // Osteuropa. 2009. Vol. 59. No. 11. P. 109–120; *Умланд А.* «Оранжевая революция» как постсоветский водораздел: демократический прорыв в Украине, реставрационный импульс в России // Континент. 2009. № 142 [http://magazines.russ.ru/continent/2009/142/um16.html].
- 2 См.: *Wilson A.* Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World. New Haven, 2005.
- 3 См. дискуссию об историческом значении этого явления («Russlanddebatte») в немецких интернетовских изданиях «Евразийский журнал» и «Спорные вопросы новейшей истории» конца 2008 – начала/середины 2009 года: *Umland A.* Das postsowjetische Russland zwischen Demokratie und Autoritarismus // Eurasisches Magazin. 2008. No. 11 [http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20081105]; *Rabr A.* Was wir in den 90er Jahren erlebt hatten, war ein künstliches Russland // Eurasisches Magazin. 2008. No. 11 [http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20081106]; *Ehlers K.* Putin – ein Fehler? // Eurasisches Magazin. 2008. No. 11 [http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20081107]; *Umland A.* Ist Demokratie für Russland etwas "Künstliches"? // Eurasisches Magazin. 2009. No. 1 [http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20090105]; *Below W.* Russland hat noch einen langen Weg vor sich // Eurasisches Magazin. 2009. No. 1 [http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20090106]; *Rabr A.* Die russischen Eliten sind vom Westen tief enttäuscht // Eurasisches Magazin. 2009. No. 1 [http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20090107]; *Ehlers K.* Worüber lohnt es sich zu diskutieren // Eurasisches Magazin. 2009. No. 1 [http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20090108]; *Maresch R.* Zwischen Ressentiment und Appeasement // Eurasisches Magazin. 2009. No. 1 [http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20090109]; *Lukes L.* Freiheit oder imperiale Größe? Anmerkungen zur politischen Kultur Russlands // Eurasisches Magazin. 2009. No. 1 [http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20090110]; *Lukes L.* Die Demokratie ist kein Auslaufmodell // Eurasisches Magazin. 2009. No. 2 [http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20090206]; *Maresch R.* Die Entwestlichung der Welt ist längst im vollen Gang // Eurasisches Magazin. 2009. No. 3 [http://www.eurasischesmagazin.de/artikel/?thema=Russland&artikelID=20090311]; *Lukes L.* Die Effizienz der Demokratien ist oft trägerisch // Zeithistorische Streitfragen. 2009. 24 апреля [http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/streitfragen.html#5]; *Sutor B.* Politischer Realismus und Werturteile // Zeithistorische Streitfragen. 2009. 19 июня [http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/streitfragen.html#7].
- 4 *Умланд А.* Электоральный авторитаризм на постсоветском пространстве // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 1(62). С. 191–195.
- 5 *Hale H.* Eurasian Politics as Hybrid Regimes: The Case of Putin's Russia // Journal of Eurasian Studies. 2010. Vol. 1. No. 1. P. 33–41.
- 6 Nations in Transit 2009 / Ed. Freedom House. Washington, 2009.
- 7 Более адекватным названием этого индикатора был бы «рейтинг авторитарности», так как повышение балла указывает не на подъем, а на упадок демократии в данной стране. Интересными в рейтингах Freedom House являются скорее временные тренды, т.е. относительные изменения из года в год внутри одной и той же страны, нежели баллы как таковые или сравнение баллов разных стран одного и того же года. В со-

поставлении двух или более стран баллы Freedom House имеют только ориентировочное значение, так как рейтинги составляются странами, оценивающими только «свою» страну, а не все страны мира. Так, например, сегодняшний балл демократичности для России близок к соответствующему баллу Туркменистана, что, несмотря на представленную здесь критику путинского антидемократизма, может ввести неосведомленного читателя таблиц Freedom House в заблуждение. Мне кажется, что Freedom House мог бы довольно просто решить эту проблему путем увеличения гаммы баллов до 10,00. Тогда бы баллы 7,00–9,99 могли бы применяться для характеристики трендов в странах, общественный строй которых более или менее близок к идеальному типу «тоталитарного государства», т.е., например, для отображения изменений в сегодняшних политических режимах Северной Кореи, Бирмы или Туркменистана. Конечно, и такое расширение шкалы не решило бы проблему неполной сравнимости баллов для разных стран.

8 Личная переписка с ведущим экспертом Freedom House по РФ Робертом Ортунгом.

9 *Nußberger A.* Verfassungsmässigkeit der jüngsten Rechtsreformen in Russland // Russland-Analysen. 2005. No. 57. P. 2–5.

10 О непосредственной реакции Кремля, его представителей и российских СМИ на украинские события 2004 года см.: *Kuzio T.* Russian Policy Toward Ukraine During the Elections // Demokratizatsiya. 2005. Vol. 13. No. 4. P. 491–517; *Petrov N., Ryabov A.* Russia's Role in the Orange Revolution // Revolution in Orange: The Origins of Ukraine's Democratic Breakthrough / Ed. A. Aslund, M. McFaul. Washington, 2006. P. 145–164; *Khineyko I.* The View from Russia: Russian Press Coverage of the 2004 Presidential Elections in Ukraine // Aspects of the Orange Revolution II: Information and Manipulation Strategies in the 2004 Ukrainian Presidential Elections / Ed. B. Harasymiw, O.S. Ilnytzkyj. Stuttgart, 2007. P. 107–139; *Wilson A.* Foreign Intervention in the 2004 Elections: «Political Technology» versus NGOs // Aspects of the Orange Revolution III: The Context and Dynamics of the 2004 Ukrainian Presidential Elections / Ed. I. Bredies, A. Umland, V. Yakushik. Stuttgart, 2007. P. 200–235; *Kempe I., Solonenko I.* Foreign Involvement and International Orientation in the Orange Revolution // Aspects of the Orange Revolution IV: Foreign Assistance and Civic Actions in the 2004 Presidential Elections / Ed. I. Bredies, A. Umland, V. Yakushik. Stuttgart, 2007. P. 19–80; The Commonwealth of Independent States // Aspects of the Orange Revolution V: Institutional Observation Reports on the 2004 Presidential Elections / Ed. I. Bredies, A. Umland, V. Yakushik. Stuttgart, 2007. P. 211–221; *Wilson J.L.* Coloured Revolutions: The View from Moscow and Beijing // The Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2009. Vol. 25. Issue 2–3. P. 369–395.

11 *Mommsen M.* Rußland unter Putin: Von der gelenkten zur imitierten Demokratie // Osteuropa. 2005. Vol. 55. No. 10. P. 160–164. См. также: *idem.* Putins «gelenkte Demokratie»: «Vertikale der Macht» statt Gewaltenteilung // Russland heute: Zentralisierung des Staates unter Putin / Ed. M. Buhbe, G. Gorzka. Wiesbaden, 2007. P. 235–252.

12 Введение неологизма «паратоталитарный» для описания путинской посторанжевой политики инспирировано употреблением Роджером Гриффином термина «парафашизм» для обозначения таких режимов, как Испания Франко, Португалия Салазара или Аргентина Перрона. См.: *Griffin R.* The Nature of Fascism. L., 1993. Как станет ясно ниже, я пока что (т.е. на май 2010 года) не считаю РФ ни фашистским, ни профашистским государством.

13 Приставка *пара-* стала в последние годы популярной в интерпретациях сегодняшней российской политики, ее употребляли совершенно различные по своим взглядам авторы, такие как Сергей Кургинян и Ричард Саква. См.: Кургинян С. Качели: конфликт элит – или развал России? М., 2008; Саква Р. Дуалистичное государство в России: параконституционализм и парapolитика // Политические исследования. 2010. № 1. С. 8–26.

14 В этой связи утверждение американского политолога Александра Мотыля о том, что путинская политическая система является «фашизоидной» или даже «фашистской», представляется явным преувеличением. См.: Motyl A. Russland – Volk, Staat und Führer: Elemente eines faschistischen Systems // Osteuropa. 2009. Vol. 59. No. 1. P. 109–124; *idem*. Russia's Systemic Transformations since Perestroika: From Totalitarianism to Authoritarianism to Democracy – to Fascism? // The Harriman Review. 2010. Vol. 17. No. 2. P. 1–14. Информативная критика этого тезиса у: Luks L. Irreführende Parallelen: Das autoritäre Russland ist nicht faschistisch // Osteuropa. 2009. Vol. 59. No. 4. P. 119–128. До этого я коротко отреагировал на газетную статью Мотыля, где он впервые употребил термин «фашизм» в отношении сегодняшней российской политической системы. См.: Умланд А. Действительно ли Россия Путина – «фашистская»? Ответ Александру Мотылю // Агентство политических новостей. 2008. 2 апреля [http://www.apn.ru/opinions/article19627.htm].

15 Как указано выше, более скромные оценки изменений в РФ 2005–2008 годах Freedom House, возможно, связаны с тем, что гамма баллов ограничена до 7,0 и, таким образом, отображение «паратоталитаризма» в РФ могло слишком быстро поставить Россию на один уровень с реальным тоталитаризмом, например Туркменистана.

16 Стоит добавить, что сегодняшняя де-факто однопартийная система РФ, в отличие от системы бывшего СССР, декорирована несколькими добавочными маргинальными думскими фракциями. Эти более или менее подконтрольные Кремлю или существующие по воле кремлевских «политтехнологов» структуры напоминают «блоковые партии» (или «блок-флейты», как их называли восточные немцы) бывшей Германской Демократической Республики – хорошо знакомые Путину со времен его службы в качестве резидента КГБ в Дрездене в 1985–1990 годы. См.: Умланд А. Критика сравнения ельцинского и путинского периодов с исторической перспективы // inoСМИ.Ru. 2008. 30 ноября [http://www.inosmi.ru/translation/245728.html]. Подробнее о развитии российской партийной системы за последние годы: Bubbe M., Makarenko B.I. Das Mehrparteiensystem im neuen Russland // Russland heute. P. 273–291; Gelman V. Party Politics in Russia: From Competition to Hierarchy // Europe-Asia Studies. 2008. Vol. 60. No. 6. P. 913–930.

17 Умланд А. Кремлевский перегиб // inoСМИ.Ru. 2007. 15 октября [http://www.inosmi.ru/translation/237223.html].

18 Rjabow A.W. Gelenkte Wahlen 2007–2008: Gesetzgebungsreform und Veränderungen innerhalb der Regierung // Russland heute. P. 255–272.

19 Schmid U. Nashi – Die Putin-Jugend: Sowjettradition und politische Konzeptkunst // Osteuropa. 2006. Vol. 56. No. 5. P. 5–18.

20 Коровин В., Попов Д. Иван Демидов: Русскому народу необходимо поставить себе цель // Евразия: Информационно-аналитический портал. 2007. 4 ноября [http://www.evrazia.org/article.php?id=164]; Умланд А. Fascist Tendencies in Russia's Political Establishment: The Rise of the International Eurasian Movement // Russian Analytical Digest. 2009. No. 60. P. 13–17 [http://se2.isn.ch/serviceengine/Files/RESSpecNet/

100499/ipublicationdocument_singledocument/D556D860-B6FF-406A-9E66-75265D938656/en/Russian_Analytical_Digest_60.pdf].

21 [http://www.oprf.ru/ru/about/].

22 На этом канале работали некоторое время упомянутые неоевразийцы Иван Демидов и Александр Дугин.

23 См.: Schmidt D. Eine Wertelücke zwischen Russland und dem Westen? Vorläufige Anmerkungen zu einem schwierigen Diskurs // Russland-Analysen. 2005. No. 70. P. 2–5 [http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/Russlandanalysen070.pdf].

24 Об этом явлении в целом: Hashamova Ya. Pride and Panic: Russian Imagination of the West in Post-Soviet Film. Bristol, 2007.

25 Siegl E. Von Stalins Sieg zum Sieg Putins: Der Kreml und sein Geschichtsbild // Russland-Analysen. 2007. No. 148. P. 2–4 [http://www.laender-analysen.de/dlcounter/dlcounter.php?url=../russland/pdf/Russlandanalysen148.pdf]; Ejdelman T. War Stalins Politik "effektiv"? Skandale um neue Geschichtsbücher in Russland // Kultura. 2008. No. 1. P. 3–8 [http://www.kultura-rus.de/kultura_dokumente/ausgaben/deutsch/kultura-2008-01.pdf].

26 См.: Немецкий историк о «Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории» // Deutsche Welle. 2009. 28 мая [http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4287922,00.html].

27 [http://www.kremlin.ru/appears/2004/12/06/1409_type63380_80827.shtml]

28 Ambrosio T. Authoritarian Backlash: Russian Resistance to Democratization in the Former Soviet Union. Farnham, 2009. P. 57–58, 60, 66. Некоторые добавочные размышления на эту тему см. в статье: Умланд А. Introduction to Aspects of the Orange Revolution I–VI: Ukraine's Second Transition in the Russian Mirror // Aspects of the Orange Revolution I: Democratization and Elections in Post-Communist Ukraine / Ed. P. D'Anieri, T. Kuzio. Stuttgart, 2007. P. 7–16.

29 Меликова Н. Суверенитет важнее демократии: обнародованы основные положения речи кремлевского идеолога Суркова // Независимая газета. 2005. 13 июля [http://www.ng.ru/politics/2005-07-13/1_suverenitet.html].

30 Казанцев А. «Суверенная демократия»: структура и социально-политические функции концепции // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2007. № 1 [http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/5Kazancev.pdf]; Schulze P.W. Souveräne Demokratie: Kampfbegriff oder Hilfskonstruktion für einen eigenständigen Entwicklungsweg? Die Ideologische Offensive des Vladislav Surkov // Russland heute. P. 293–312; Identities and Politics During the Putin Presidency: The Discursive Foundations of Russia's Stability / Ed. P. Casula, J. Perovic. Stuttgart, 2009.

31 Ambrosio T. Authoritarian Backlash. P. 72, 76.

32 Умланд А. Путинские «шакалы» // inoСМИ.Ru. 2007. 30 ноября [http://www.inosmi.ru/translation/238117.html].

33 Shlapentokh V. The Rise of Russian Anti-Americanism after September 2001: Envy as a Leading Factor // Johnson's Russia List. 2002. No. 6227 [http://www.cdi.org/russia/johnson/6227-3.cfm].

34 Диллигенский Г. «Запад» в российском общественном сознании // Общественные науки и современность. 2000. № 5. С. 5–19; Дубин Б. Запад, граница, особый путь: символика «другого» в политической мифологии России // Неприкосновенный запас. 2001. № 3 (17) [http://magazines.russ.ru/nz/2001/3/dub.html].

- 35 *Truscott P.* Russia First: Breaking with the West. L., 1997; *Shirayev E., Zubkov V.* Anti-Americanism in Russia: From Stalin to Putin. Basingstoke, 2000; *Tsygankov A.* Whose World Order: Russia's Perception of American Ideas after the Cold War. Notre Dame, 2004.
- 36 *Гудков Л.* Динамика ксенофобии в постсоветской России // Вестник Института Кеннана в России. 2002. № 1. С. 49–61; *Леонова А.* Настроения ксенофобии и электоральные предпочтения в России в 1994–2003 гг. // Вестник общественного мнения. 2004. № 4 (72). С. 83–91; *Гудков Л., Дубин Б.* Своеобразие русского национализма // Pro et Contra. 2005. Т. 9. № 2. С. 6–24.
- 37 *Gardner H.* Dangerous Crossroads: Europe, Russia and the Future of NATO. Westport, 1997; *Black J.L.* Russia Faces NATO Expansion: Bearing Gifts or Bearing Arms? Lanham, NY, Oxford, 2000; *Umland A.* Die Rezeption der NATO-Entscheidung zur Osterweiterung in Russland // Neue Politische Literatur. 2002. Vol. 47. No. 3. P. 467–472; *Zimmermann W.* The Russian People and Foreign Policy: Russian Elite and Mass Perspectives, 1993–2000. Princeton, 2002.
- 38 *Умланд А.* Национализм и Россия // inoСМИ.Ru. 2008. 23 января [<http://www.inosmi.ru/translation/239095.html>].
- 39 *Zvonovsky V.* The New Russian Identity and the United States // Demokratizatsiya. 2005. Vol. 13. No. 1. P. 101–114.
- 40 *Гудков Л.* Отношение к США в России и проблема антиамериканизма // Мониторинг общественного мнения. 2002. № 2. Здесь цит. по: *он же.* Негативная идентичность: статьи 1997–2001 годов. М., 2004. С. 499.
- 41 *Shlapentokh V.* The Balkan War, the Rise of Anti-Americanism and the Future of Democracy in Russia // International Journal of Public Opinion Research. 1999. Vol. 11. No. 3. P. 275–284 [<http://ijpor.oxfordjournals.org/cgi/reprint/11/3/275.pdf>].
- 42 См. также: *Levinson A.* "Fairly Good": What Do Russians Really Think of the United States? // Johnson's Russia List. 2002. No. 6268 [<http://www.cdi.org/russia/johnson/6268.htm>].
- 43 См.: «Запад» и российское общество // База данных ФОМ. 2001. 12 июля [http://bd.fom.ru/report/cat/pro_snv/dd012541]. См. также: *Gerber T.P., Mendelson S.E.* Young, Educated, Urban – and Anti-American: Recent Survey Data from Russia // PONARS Policy Memos. 2002. No. 267 [http://www.csis.org/media/csis/pubs/pm_0267.pdf].
- 44 *Becker J.A.* Soviet and Russian Press Coverage of the United States: Press, Politics and Identity in Transition. Basingstoke, 2003; *Black J.L.* Vladimir Putin and the New World Order: Looking East, Looking West? Lanham, 2003.
- 45 Наводнение российского книжного рынка множеством конспирологических сочинений документируется с ноября 2007 года в последней секции двухнедельного электронного дайджеста The Russian Nationalism Bulletin. Издания бюллетеня свободно доступны на сайте: [http://groups.yahoo.com/group/russian_nationalism/messages].
- 46 *Седов Л.* Актуальные проблемы в общественном мнении россиян и американцев (результаты совместного российско-американского исследования) // Вестник общественного мнения. 2006. № 3 (83). С. 14–17; *Левинсон А.* Америка как значимый Другой // Pro et Contra. 2007. Т. 11. № 2. С. 65–69; *Richards S.* Russians Don't Much Like the West // Open Democracy. 2009. February 25 [<http://www.opendemocracy.net/article/email/russians-don-t-much-like-the-west>]; *Levinson A.* Russian Public Opinion and

the Georgian War // Open Democracy. 2009. August 14 [<http://www.opendemocracy.net/article/email/russian-public-opinion-and-the-georgia-war>].

47 Несколько странная дискуссия на тему того, происходит ли в действительности рост антиамериканизма в российском обществе, документирована в: Has Russian Anti-Americanism Been Rising? A Debate on the Article "The Unpopular Prospect of World War III: The 20th Century Is Not Over Yet" // The Russian Nationalism Bulletin. 2009. Vol. 3. No. 5 (47). Appendix [http://groups.yahoo.com/group/russian_nationalism/messages/412?threaded=1&m=e&var=1&tidx=1].

48 *Shlapentokh V.* Russian Attitudes toward America: A Split between the Ruling Class and the Masses // World Affairs. 2001. Vol. 164. No. 1. P. 17–23.

49 *Седов Л.* Запад внутри нас: что думают россияне о своей стране и мире // Независимая газета. 2006. 22 декабря.

50 Этот важный аспект указывается, например, в книге: *Wipperfürth C.* Russland und seine GUS-Nachbarn: Hintergründe, aktuelle Entwicklungen und Konflikte in einer ressourcenreichen Region. Stuttgart, 2007.

51 Выраженно мистические аспекты сегодняшнего русского антизападничества, видимо, связаны с более общими особенностями постсоветской «русской души». Борис Дубин в 2001 году указывал на то, что «[п]арапсихология, НЛЮ, равно как магия, сглаз, астрология и хиромантия вызывали [как показывают соответствующие опросы] у россиян интерес гораздо больший, чем в развитых странах мира». См.: *Дубин Б.* Запад, граница, особый путь.

52 Насколько мне известно, Леонид Люкс был одним из первых исследователей, который еще до распада СССР указывал на частичное сходство между Веймарской Германией и поздней Советской Россией. См.: *Luks L.* Abschied vom Leninismus: Zur ideologischen Dynamik der Perestrojka // Zeitschrift für Politik. 1990. Vol. 37. No. 4. P. 359. Среди недавних кратких статей по этой теме: *Умланд А.* Между Веймарским и Боннским сценариями // inoСМИ.Ru. 2008. 11 апреля [<http://www.inosmi.ru/translation/240759.html>]; *Люкс Л.* «Веймарская Россия?» – заметки об одном спорном понятии // Зеркало недели. 2008. № 31 (710) [<http://www.zn.ua/1000/1600/63793/>].

Эмиль Паин

Особенности постсоветского политического режима

Циклические процессы сравнительно недавно стали предметом изучения в мировой социологии и политической науке, и, возможно, поэтому всякий откат от демократии в любой стране у одних вызывает почти мистический ужас, а у других – представления о будто бы предопределенной невосприимчивости к демократии тех или иных народов. То, что откат от демократии – это закономерный процесс, не исключающий ее последовательное распространение в мире, одним из первых обосновал С. Хантингтон. Его концепция о трех волнах демократизации опровергла господствовавшее еще в 1980-х годах упрощенное представление о демократизации как процессе однонаправленном, прямолинейно поступательном и сразу же побеждающем¹. Хантингтон предложил более сложную, но и более адекватную модель этого процесса, используя образ приливов и отливов демократизации. Именно он ввел понятие «обратной волны» (*reverse wave*) демократизации, обосновав почти неизбежные, но временные отступления ранней демократии под напором более архаичных и, следовательно, более укорененных недемократических режимов².

Итак, согласно С. Хантингтону, существовало три волны (или этапа) глобальной демократизации, которые привели к росту на планете числа стран с демократической формой правления. Первая волна, охватывающая, по Хантингтону, 1828–1926 годы, привела к становлению в мире 29 демократий. Вторая волна (1943–1962) увеличила число демократических стран до 32. Третья волна глобальной демократизации (1970–1990-е годы) обеспечила самый массовый приток стран в зону демократии. По данным организации

Development Alternatives Inc., к началу 2000-х годов из 193 независимых и признанных государств мира 70% декларировали себя как демократические³. Однако на каждом этапе обратная волна вымывала значительную часть новообращенных стран из зоны демократии и вновь уносила их к традиционному авторитаризму. В каком-то смысле волны демократизации и откаты укладываются в схему «два шага вперед – шаг назад».

Наиболее характерной чертой третьей волны стал принципиально глобальный характер процесса демократизации, охватившего практически все континенты. Само стремление подавляющего большинства государств мира, включая авторитарные, хотя бы называться демократиями, свидетельствует, что демократические режимы стали к концу XX века наиболее влиятельной политической силой в глобальном масштабе. Вместе с тем и на этом этапе сохранилась высокая вероятность попятных движений к авторитаризму.

В данной статье автор обосновывает свою гипотезу о том, что Россия с начала 2000-х годов демонстрирует вполне типичный для многих стран мира процесс временного отката от демократии. Разумеется, этот универсальный волнообразный процесс имеет свою специфику в России, как и в любой стране, но это вовсе не «особый путь», трактуемый его идеологами как мистическая предопределенность российского авторитаризма.

«Обратная волна»

Политический режим первого президента постсоветской России Б. Ельцина можно определить как «минимально демократический», учитывая использование им легитимных электоральных процедур⁴. В то же время этот режим демонстрировал и заметные недемократические признаки. Так, сильнейшее влияние на политику оказывали закулисные манипуляции крупнейших финансово-промышленных групп. Первый президент России не очень обижался на газетчиков, именовавших его «царь Борис», он любил демонстрацию своей власти⁵. И. Клямкин определил такой политический режим как «выборное самодержавие». По его мнению, «этот термин довольно адекватно передает искусственность российской политической сис-

темы, несовместимость способа легитимации высшего должностного лица, характерного для демократической политической парадигмы, с традиционным способом функционирования власти, характерным для парадигмы имперско-державной»⁶.

Программа передачи власти наследнику, которого Ельцин отбирал в течение нескольких лет среди своих приближенных, также не свидетельствует о последовательности его демократических убеждений.

Известные российские общественеды оценивают режим Ельцина не столько как создающий демократию, сколько как устраняющий последствия тоталитаризма⁷. Разумеется, многие ожидали, что после расчистки завалов тоталитаризма на российской почве начнут прорастать зерна демократии, однако эти надежды оказались иллюзорными. Россия 2000-х годов, времен В. Путина и его наследника Д. Медведева⁸, показала, что под истончающимся и уже почти полностью облупившимся слоем тоталитаризма все яснее проступают признаки другого недемократического режима – авторитарного.

Чем отличается он от тоталитаризма? Из многочисленных попыток дифференциации указанных режимов мне ближе всего подход, предложенный Х. Линцем. Он определил авторитаризм как политическую систему, при которой власть ограничивает участие народа в политической жизни, опираясь на традиционализм и политическую апатию населения. Именно опорой на традиционные институты (церковь, патриархальные семьи, клановые группы и др.) и на политическую пассивность населения авторитаризм прежде всего отличается от тоталитаризма – политического режима, при котором правители государства не заинтересованы в пассивности населения. Напротив, они политически мобилизуют его, идеологически подчиняют себе, манипулируя массовым сознанием и стремясь к тотальному контролю над всеми сферами жизни общества⁹. Только тоталитаризм во всех его локальных проявлениях пытался заменить традиционные формы легитимации власти совершенно новыми, искусственно созданными идеологическими системами, в основе которых лежала идея создания «нового мира», «нового общества» и «нового человека». Советский большевизм (весьма специфическая форма марксизма), немецкий нацизм, китайский маоизм, северокорейская идеология чучхе во многом похожи на религию и могут

быть названы новыми политическими религиями. В каких-то случаях тоталитарные вожди могли использовать в актуальной политике фрагменты, символы действительно традиционных этнических и религиозных культур, но всегда такие попытки сводились лишь к декорированию культурными традициями новых искусственно созданных идеологических систем.

За пределами различий в политических стратегиях (мобилизационной и демобилизационной) и в методах подавления реальной политической субъектности населения (авторитаризм опирается на традиционные институты, а тоталитаризм – на искусственно созданные) трудно найти информативные признаки для разграничения тоталитаризма и авторитаризма. Эти режимы плохо различимы потому, что и тот и другой принципиально антидемократичны и автократичны. Режимы личной власти могут быть чрезвычайно многоликими и различаться вариациями репрессивности и мягкости, отчужденности от населения и популизма, уровнем и формами имитации демократических процедур. Они могут быть представлены как режимами персональной диктатуры (вождями, лидерами наций), так и групповыми формами правления, олигархиями (властью клик, хунт, корпораций и т.п.)¹⁰. Во всех случаях они остаются антидемократичными, исключая реальное участие населения в государственном управлении, а также реальный плюрализм и конкуренцию политических сил, представляющих разнообразие социальных интересов.

Принципиальный антидемократизм как искусственных тоталитарных, так и традиционалистских авторитарных режимов делает их взаимозаменяемыми. Тоталитаризм легче всего и сравнительно надолго утверждался в странах с давними авторитарными традициями. Он же в определенных исторических условиях легко уступает место вовсе не демократиям, а другим формам антидемократизма, кажущимся более мягкими и более «естественными». Так произошло вначале в Китае после правления Мао, затем в большинстве стран, возникших после распада СССР.

Непосредственный переход от тоталитаризма к демократии наблюдался лишь в тех странах, где в дототалитарный период уже существовал, сравнительно длительно, республиканский и «минимально демократический» строй. В России до прихода к власти коммунистов такой строй продержался всего несколько месяцев – с февраля по ноябрь

1917 года. Однако даже в тех странах, где подобный политический режим просуществовал более десятилетия перед установлением тоталитаризма, возврат к демократии был непростым и обычно сопровождался некими чрезвычайными историческими обстоятельствами. Так, становление демократии в Германии на развалинах тоталитарного нацистского режима стало возможным лишь после поражения этой страны в войне, после трагедии, которую национальное сознание связало именно с тоталитаризмом. К тому же все это происходило под влиянием жесткого внешнего контроля над процессом денацификации страны. Тоталитарные режимы в странах Центральной и Восточной Европы возникли как инородные явления вследствие оккупации Советским Союзом. Устойчивость таких режимов во многом зависела от меры принуждения со стороны СССР. После смерти Сталина эти режимы эволюционировали в сторону авторитаризма. Частичная реанимация каких-то сторон тоталитаризма в бывших социалистических странах почти всегда являлась следствием либо прямых военных интервенций, как это было в 1956 году в Венгрии и в 1968 году в Чехословакии, либо принуждения местных вооруженных сил к введению военного положения (Польша, декабрь 1981 года). По мере ослабления внешнего давления в этих странах стали развиваться процессы, приведшие к демократическим «бархатным революциям» конца 1980-х годов. К этому времени в большинстве стран Варшавского договора уже не было тоталитарных режимов.

Мало что сохранилось от такого режима и в современной России. Л. Гудков дает подробную картину различий между тоталитарными режимами и современным российским, который он называет «путинизмом»¹¹. Приведу лишь некоторые признаки этих различий, связанные с тем, что в современной России:

- нет прежней монополии партии, сросшейся с государством, органами управления и системой государственного идеологического контроля, пронизывающего все сферы общественной жизни;
- нет единой идеологии, называемой в советское время «единственно верным учением» и являвшейся по сути «политической религией»;
- нет специфического для тоталитаризма соединения террора, массовых репрессий и тотальной пропаганды, создающих в обществе атмосферу парализующего страха;

- нет огосударвленной, централизованной, планомерно-распределительной экономики, подчиненной целям режима и направленной прежде всего на проведение форсированной милитаристской модернизации.

Нынешний режим в России, конечно же, нельзя назвать тоталитарным: он утратил свой тотально репрессивный характер; к нему совершенно не применим термин «мобилизационный»; напротив, это режим политической демобилизации, «режим разобщения», как его назвал Б. Дубин¹². Напомню, что политическая демобилизация и разобщение народа, наряду с опорой на традиционализм, являются важнейшими характеристиками именно авторитарной разновидности антидемократических режимов. При этом такое социальное разобщение и политическая апатия вместо политического подъема, царившего в начале 1990-х годов, обращение людей к прошлому вместо надежд на лучшее будущее не были лишь следствием каких-то особых политических манипуляций, применяемых властями. Напротив, нынешние российские власти оседлали настроения и подстегнули процессы, зародившиеся еще во времена Б. Ельцина.

«Зачем искать врагов»

Распад многонациональных государств, таких как СССР, неизбежно вызывает «кризис идентичности», выходом из которого в посттоталитарных обществах чаще всего является усиление так называемой «аскриптивной идентичности», при которой человек обычно ассоциирует себя с общностями, которые Э. Шилз назвал *primordial* (естественными), – семейными, родовыми, земляческими, этническими, религиозными и другими. Процессы такого рода наблюдались во всех постсоветских государствах, и Россия в этом смысле не исключение.

Естественным следствием усиления роли аскриптивной идентификации стал и рост традиционализма, повышенный интерес к прошлому, обращение к истории, к национальным традициям как канону нравственных оценок. Самооценки жителей России в стиле «я русский, принадлежу к государству с тысячелетней историей» замет-

но усилились за 20 лет (1989–2009), тогда как значение такой формы самоопределения, как принадлежность к «советским людям», уменьшилось за тот же период с 31 до 12%¹³.

Замечу, что рост традиционализма, особенно таких его разновидностей, как этнический национализм, наблюдался во всех постсоветских государствах, включая страны Балтии. Если что и выделяет Россию, так это запаздывание интереса к этническому традиционализму у большей части населения России по сравнению с жителями других новых государств. В начале 1990-х, когда национальные фронты пришли к власти во многих постсоветских государствах, когда десятки национальных движений, партий и группировок появились в автономиях Российской Федерации, уровень этнического самосознания русских все еще оставался таким же низким, каким он фиксировался по материалам этносоциологических исследований в СССР в 1980-е годы. Более 90% русских демонстрировали этнический нигилизм, безразличие («я никогда не задумывался, какой они национальности»), и менее 10% подчеркивали: «Я никогда не забываю, что я русский». За период 1994–1999 годов доля лиц с ярко выраженными признаками этнической озабоченности («я никогда не забываю, что я...», далее перечислялись национальности) выросла у всех обследованных в России этнических групп, но особенно заметным этот рост стал у русских, только в этой группе он удвоился. При этом быстрее всего выросли наиболее эмоционально выраженные формы этнического самосознания. Если в 1994 году не более 8% русских в республиках РФ отвечали, что «любые средства хороши для отстаивания благополучия моего народа», то в 1999 году не только в республиках, но впервые и в русских областях такую ориентацию проявили в опросах более четверти русских респондентов¹⁴. Рост этнического самосознания русских в значительной мере стал ответом на предшествовавшее ему возбуждение этнических меньшинств. Буквально взрыв этнической озабоченности и откровенной ксенофобии у русского населения фиксировался после «первой чеченской войны» (1994–1996).

Параллельно развивался традиционализм как противопоставление «плохому» (в социально-экономическом и политическом отношении) настоящему некоего «золотого века» в прошлом. Понятно, что такие настроения явились результатом прежде всего усталости

от либеральных реформ 1990-х годов и усиливающегося восприятия их как провалившихся. Такие настроения стали в российском обществе почти тотальными после финансового кризиса 1998 года. В усилении социально-политического традиционализма этот кризис сыграл ту же роль, какую «чеченская война» сыграла во взвинчивании традиционализма этнического.

С середины 1990-х годов российское общественное мнение демонстрирует инверсивные перемены в отношении к большинству фундаментальных политических явлений. Радикально изменилась оценка советской системы. В 1991 году свыше половины (57%) опрошенных ВЦИОМ соглашались с тем, что коммунистическая революция привела к тому, что страна оказалась на обочине истории, и принесла людям лишь нищету, а в 1995 году точно такая же доля россиян поддерживала совершенно иное мнение: «Советская система была не так уж плоха, однако негодными были ее правители». Еще через два года в общественном мнении началась и реабилитация советских лидеров. По данным ВЦИОМ, к 1997 году советская власть характеризовалась сравнительно наибольшей частью опрошенных (36%) как «близкая народу, своя», а новая российская («власть Ельцина и демократов») – как «далекая от народа, чужая» (41%)¹⁵.

В этих оценках проявилась одна из особенностей русского национального сознания, отличающих его от коллективных представлений в большинстве других посткоммунистических стран¹⁶. Русское население хоть и понесло самые значительные потери (человеческие жертвы и разрушения национальной культуры) в результате небывало длительного, более чем 70-летнего тоталитарного правления, не воспринимало этот режим как внешне навязанный. Для россиян он оставался «своим» и даже «близким народу». При этом если немецкое общество, также самостоятельно на своей культурной почве породившее германский тоталитаризм, связывало с ним национальную катастрофу, поражение в войне, то русское общество, при некоторых внешних пропагандистских усилиях со стороны истеблишмента, оказалось способным связать с тоталитарным режимом Великую победу над фашизмом.

В период, когда в элитарном и массовом сознании преобладало критическое отношение к советскому прошлому, большинство россиян смотрели на Запад как на эталон движения в будущее. В 1989 го-

ду 60% опрошенных оценивали западный образ жизни как образцовый¹⁷. В середине 90-х начался демонтаж этого эталона, а к 2000 году оценки конца 80-х поменялись на противоположные. В это время 67% опрошенных определили западный вариант общественного устройства как «противоречащий укладу жизни русского народа»¹⁸. Отказ от иллюзий перестройки с ее прозападными настроениями сопровождался усилением утешительной веры в то, что «у России свой особый путь». При этом образ «особого пути» в массовом сознании чрезвычайно размыт, лишен какой-либо конкретности и в основном связан с идеализацией традиционно русских норм поведения, которые противопоставляются западным. «Есть опыт наших дедов, и мы должны держаться за него», – с этим суждением в конце 1990-х годов были согласны 65% опрошенных¹⁹.

Прочность и масштабы российских антизападных настроений также демонстрируют особенности российского варианта разложения тоталитаризма. Процесс усталости от политических и экономических реформ наблюдался и в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы. В некоторых из них также проявились ретроградные политические процессы. Например, в Польше и Румынии в 1990–2000-е годы на какое-то время к власти пришли левые партии и вернулись на политическую сцену персоны, сделавшие политическую карьеру в годы коммунистического правления²⁰. Однако движение европейских посткоммунистических обществ на Запад не прервалось, поскольку с ним было связано долгосрочное и фундаментальное стремление «вырваться из империи». В России же такой «автоматики» не было. Советская империя рухнула, но элементы имперского сознания остались. С ними связан и такой феномен общественной жизни России, как «имперский национализм», противоречащий принятым канонам теории национализма, рассматривающей его только как противоположность имперскому сознанию.

В 1991 году большинство опрошенных в России (49%) полагали: «Зачем искать врагов, если корень наших бед в нас самих?» – и лишь 12% были уверены, что источником проблем русских являются их враги. В 1994 году уже 41% опрошенных видели во врагах главный источник своих бед, но почти столько же придерживались противоположного мнения. Понадобилось еще пять лет, чтобы образ «вра-

га» прочно утвердился в сознании россиян, и в 1999 году уже подавляющее большинство опрошенных (65%) стали объяснять свои проблемы происками врагов²¹. Вряд ли кого-нибудь удивит тот факт, что привычная, стереотипная и удобная идея переноса ответственности за проблемы русского народа на «врагов» приобретала все новых сторонников по мере роста негативного восприятия жизни в России. Понятно, что возвращение к старому всегда требует меньших усилий, чем освоение новых ценностей. Поражает другое – сравнительно прочная устойчивость новой для посттоталитарного мышления идеи – «корень наших бед в нас самих». Позволю себе выдвинуть предположение о том, что за девять-десять лет с начала перестройки и до середины 90-х годов в российском обществе начала формироваться новая, либеральная по своей сути традиция, основанная на идеях индивидуальной свободы и персональной ответственности, которая оказалась способной на какое-то время сопротивляться возвращению советских стереотипов.

Либеральная идеология в постсоветской России оказывала влияние на массовое сознание до тех пор, пока у россиян сохранялась надежда на перемены к лучшему в результате реформ. Влияние же традиционализма стало прогрессировать по мере роста разочарования в них. При этом традиционализм начал быстро окрашиваться в тона этнической ненависти: «чужой» – это непременно «враг» и обязательно этнически нерусский. Для усиления образа демократической власти как «чужой» российская националистическая оппозиция в своей пропагандистской деятельности использовала антисемитизм, приписывая видным деятелям администрации Б. Ельцина несвойственное им еврейское происхождение. Польский дипломат в своих воспоминаниях о годах, проведенных в России, отмечает, что в середине 90-х Москва была буквально заклеена листовками с карикатурным изображением известных политиков из окружения Ельцина. На них мэром Москвы Г. Попов, грек по национальности, изображался евреем, и ему почему-то приписывали фамилию Нейман. Русского по происхождению министра иностранных дел А. Козырева называли Козыревичем и рисовали со звездой Давида на лбу, а первого президента России Б. Ельцина с середины 1990-х годов неизменно называли Борухом Натановичем Эльцыным и рисовали с усиками Гитлера²². Это сочетание Гитлера с еврейством с рацио-

нальной точки зрения представляется абсурдным, но политико-технологический смысл этой символики понятен – она должна была означать, что изображенный в карикатуре человек «дважды чужой».

Таким образом, этнический традиционализм и социально-политический многократно пересекались, дополняя и усиливая друг друга. Такие процессы можно назвать «естественным ростом» традиционализма, поскольку они, как правило, почти неизбежно сопровождают распад империй и разложение тоталитаризма. Похожие процессы наблюдались и в других постсоветских странах, хотя и с некоторым своеобразием, обусловленным особенностями исторического опыта разных народов. Однако как только такой традиционализм проявляется, он тут же становится ходким товаром на политическом рынке и сырьем для политических технологий, конструирующих новый искусственный традиционализм. Воспроизводство такого традиционализма становится подлинной индустрией, особенно в тех случаях, когда его разработку ведут влиятельные средства массовой информации, контролируемые государством.

Интерес к традиционализму проявляла уже администрация первого президента России. В эпоху Б. Ельцина вернулись в качестве государственных символов и имперский двуглавый орел на государственном гербе, и имперский триколор в качестве государственного флага. В это время были идентифицированы и захоронены по православному обряду останки последней царской семьи России. Постоянные публичные манифестации религиозности новой власти и многочисленные фотографии президента вместе с патриархом Русской православной церкви даже дали повод шутникам того времени сложить анекдот о том, что в постсоветской России место коммунистического политбюро заняло «метрополитбюро». И все же, на мой взгляд, Ельцин не столько стремился повысить свой рейтинг опорой на набирающий популярность традиционализм, сколько хотел противопоставить исторически традиционные царские символы искусственным коммунистическим. Возрождение Православной церкви, разрушенной большевиками, также должно было, по мысли Ельцина, символизировать его стратегическую линию возврата России в естественную историю, прерванную коммунистическим переворотом, а также возврата ее в семью цивилизованных европейских народов, из которой страна была вырвана большевиками. Получение

администрацией Б. Ельцина согласия членов британской королевской семьи участвовать в генетической экспертизе останков царской семьи Романовых преследовало не только утилитарные цели, оно должно было подчеркнуть историческое кровное родство русской и европейской элиты²³.

Второй президент России В. Путин, будучи ставленником первого, что-то переняв от предшественника, преобразовал полуавторитарный режим Б. Ельцина в полноценный авторитаризм. В. Путин воспринял не только пышность ритуала инаугурации президента России, больше напоминающей коронацию русских царей, но и небывалый объем полномочий, сосредоточенных в руках президента России, тех полномочий, которые при Ельцине были внесены в Конституцию страны. Он перенял технологию исторической легитимации президентской власти, но в отличие от своего предшественника легитимировал и советский режим.

Ельцин проводил политику «возвращения России в Европу», Путин возродил сталинскую политику «осажденной крепости», антизападническую риторику холодной войны и шпиономанию. Ельцин символизировал разрыв России с тоталитаризмом; при Путине же российские власти рассылали ноты протеста тем европейским странам, которые признали сталинизм и гитлеризм равно недопустимыми формами тоталитаризма.

Одним из главных политических достижений Ельцина было становление федерализма в России. Пусть это был еще не полноценный федерализм, поскольку возросшими при нем политическими правами российских автономий воспользовалась лишь их элита, но политика Ельцина, основанная на переговорном процессе и достижении компромиссов между федеральной властью и элитами национальных республик, давала надежду на становление федеративных отношений в России. Политика же Путина и его преемника исходит из радикально противоположной цели – обеспечения беспрекословного подчинения регионов федеральному центру. Для этого процедура прямого избрания глав регионов была заменена их назначением из Москвы. По сути, Россия возвратилась к имперскому принципу управления национальными территориями через своих наместников.

Ельцин подчеркивал антиимперский характер своей политики. При Путине доминирующей линией политики России стало «вели-

кодержавие», то есть фактически культ империи. Для этой цели возрождается, в том числе и публицистами, близкими администрации Путина (М. Леонтьевым, В. Третьяковым), культ Сталина. Его образ подается вовсе не как марксиста, а как человека, создавшего великую империю, превосходившую по территории Римскую и простиравшуюся от Меконга до Эльбы, от Владивостока до Берлина. Для «державников» Сталин стал «новым собирателем империи, новым Петром Великим, новым супергосударственником, которому прощалось народом многое»²⁴.

Кстати, второе пришествие культа Сталина – это образец сугубо искусственной, «изобретенной традиции». Даже в период, когда значительная часть населения России отказала в доверии власти «демократов» и предпочла им власть советскую, это совсем не означало возрождение любви к Сталину. Еще в 2002 году не время правления Сталина рассматривается общественным мнением как эталон «хороших советских времен». Наибольшая часть опрошенных (39%) предпочла бы жить во времена Л. Брежнева, и лишь 3% выбрали в качестве предпочтительного сталинский период, и при этом мирные годы первых пятилеток²⁵. Выбор брежневского времени во многом был продиктован восприятием его как стабильного, сытого, без репрессий и потрясений, поэтому особенно привлекательного для людей, уставших от 15-летнего периода бурных политических трансформаций. Российским политическим технологам путинского призыва нужно было очень сильно постараться, чтобы наперекор таким настроениям превратить Сталина в один из символов современной России.

Ныне образ Сталина «раскручен» и популярен настолько, что эту золотую жилу активно разрабатывают представители разных политических сил, например бывшие либералы, ныне политические перебежчики, обосновавшиеся в стане «державников». Этот тип людей, подобно тем, кто сменил религию, во все времена хотели выглядеть святее папы Римского, поэтому нет ничего удивительного в их активности на ниве «нео сталинизма». Один из таких перебежчиков М. Леонтьев, ценит Сталина за то, что он был автором проекта «мобилизационного общества»²⁶. В. Третьяков, бывший главный редактор некогда одной из самых либеральных в России газет («Независимой газеты»), придумывает культурологические

обоснования новому культу Сталина: «Сталин – наше все. Как и Пушкин. Два полюса русской культуры»²⁷. В стане левых сил, подлинных наследников Сталина, который безжалостно разрушал и русские национальные традиции, и церковь, гноил в лагерях как русских националистов, так и видных представителей русского клира, создаются движения с невероятной идеологической начинкой из смеси сталинизма, национализма и православия²⁸. Однако все разновидности такого изобретенного традиционализма недолговечны – это скорее мода, чем традиция.

Традиционализм без традиций

Традиционализм как политический интерес к опоре на традиции в России, безусловно, есть, а вот в какой мере сохранились сами традиции – т.е. накопленный культурный опыт, передающийся из поколения в поколение и воспроизводящий своеобразие форм, норм и ценностей культуры? Понятие «традиция» генетически восходит к *traditio* и к глаголу *tradere*, означающему «передавать». Воспроизводство традиций возможно лишь при наличии особых социальных каналов для диахронной, межпоколенной передачи (трансляции) ценностей и норм культуры, а также механизмов социального контроля, поддерживающих устойчивость традиционных норм.

Многие народы бывшего Советского Союза сохранили и то и другое вопреки тоталитарной политике борьбы с «традиционными пережитками». Так, каждый казах до сих пор знает, к какому из трех жузов (некогда союзов племен) принадлежит он, его семья и род. Сохранность родовых отношений значительно смягчила в Казахстане последствия коллективизации 1930-х годов, предотвратила ту социальную ксенофобию и бесчинства так называемых «комитетов бедноты», которые проявились в российской глубинке. Впоследствии родовые связи встроились в советскую систему «блата», став основным инструментом нелегального доступа к различным дефицитным благам²⁹. Родовые отношения, через которые передаются этнические традиции, сохранились также в Туркмении и еще прочнее – в современном чеченском обществе. Здесь все иерархические элементы родоплеменных структур (дэзел, ца, гар, неке и тейп) в совокупности

обеспечивают сохранность традиционных механизмов социального контроля и тот уровень доверия в пределах родовых групп, при котором многомиллионные сделки могут осуществляться без оформления каких-либо документов, на основе устных договоренностей между сородичами. Разумеется, в результате депортации чеченцев и многих последующих событий собственно родовые (тейповые) отношения в их среде сильно ослабели. Однако в ходе двух «чеченских войн» их роль вновь возросла. «Оказалось, что в кризисных ситуациях тейп смог взять на себя обязанность защищать личность и гражданское достоинство человека. Уже в силу этого тейп оказался вовлеченным в политическую жизнь»³⁰. У большинства других народов Кавказа родовые отношения к настоящему времени практически изжиты, но сохраняются прочные семейно-родственные и территориально-соседские традиционные институты.

Что касается русского общества, то в нем практически не сохранились те партикуляристские институты, которые все еще выполняют важные социокультурные функции у народов Средней Азии и Кавказа. Намного ниже в России, чем, например, в христианских странах Латинской Америки или в Южной Европе (не говоря уже об исламских странах мира), социальная и политическая роль церкви. Ф. Фукуяма полагает, что уровень проявлений семейно-родственных отношений и передаваемых по этим каналам традиций в России ниже в сравнении не только с такими откровенно традиционными обществами, как китайское, но и со многими европейскими, например французским и итальянским. По его мнению, «фамилистические» общества, «то есть те, в которых наиглавнейшим путем реализации общественного инстинкта является семья или более широкие родственные структуры: кланы и племена», обладают «более высоким уровнем социализированности, чем современная Россия»; члены русского общества «не умеют объединяться друг с другом»³¹.

Действительно, на большей части территории России почти полностью демонтированы механизмы традиционного социального контроля вместе с институтами, которые их хранили. О сельской общине прочно забыли уже в середине прошлого века. Религиозные общины, православные церковные приходы были разрушены в советское время, и их роль, скорее всего, не восстановится ныне,

учитывая, что свыше 97% православных верующих не считают себя частью какого-либо одного прихода и посещают церковь эпизодически, по случаю и какую придется. Еще недавно были дворы, в которых пенсионеры, играя в домино, все же приглядывали за соседями, а бабушки, сидевшие на лавочках перед парадным, судачили о нравственности тех или иных семей. Это хоть как-то восполняло отсутствие полноценного механизма социального контроля, действующего по принципу: «Что люди скажут?» Сегодня и этого нет. А родственные отношения? Их разрушение в российской и прежде всего в русской среде, доведение некогда плотных родственных контактов до уровня эпизодического общения – общепризнанный факт. Об ослаблении семейных и родственных связей в русской среде свидетельствует почти полное забвение основных терминов родства, обозначающих родственников за пределами малой нуклеарной семьи. Сегодня не только представители молодежи, но и люди в возрасте 40–45 лет вряд ли скажут, что обозначают такие некогда привычные понятия, как «деверь», «шурин», «золовка» и многие другие.

Соседские связи в городах наполнены реальным содержанием лишь в границах лестничной площадки. Уже в пределах одного подъезда они ограничиваются в лучшем случае эпизодическими приветствиями друг друга. Договориться же о чем-то жителям всего многоквартирного дома обычно очень сложно. Как отмечает И. Шмерлина, в современных российских городах «соседи воспринимаются отчасти как вынужденный, навязанный элемент окружающей среды»³².

Социологический мониторинг русского общества (Левада-Центр, 1991–2005) указывает на монотонное ослабление всех видов социальных связей и сжатие сферы межличностного общения до уровня своей квартиры. Две трети опрошенных устойчиво ограничивают свои еженедельные контакты во вне рабочее время лишь общением с членами своей семьи и родственниками. Более или менее регулярно во вне рабочее время и за пределами своей квартиры общаются: с коллегами по работе – 20% опрошенных, с членами одной добровольной общественной, политической, культурной организации либо спортивного клуба, секции – 5%, с людьми, принадлежащими к той же церкви, – 2%³³.

Не вызывает сомнений тот факт, что представление о российском обществе как коллективистском, соборном и общинном – это миф. Напротив, сегодня это общество – одно из наиболее атомизированных в современном мире. Это признает большинство экспертов, по крайней мере в академической среде. Менее освоено следствие из этого факта – атомизация общества существенно ухудшает условия трансляции социокультурных и особенно этнических традиций.

Таким образом, традиционализм в России лишен своих естественных социальных корней, но он и не является в российских условиях основным механизмом поддержания авторитарного режима. Эту функцию в России выполняет разобщенность. «Российский социум, – пишет Б. Дубин, – причем именно в образованной и урбанизированной его части – стал более простым и однородным, уплотненным и раздробленным, но тем самым и более податливым для внешних воздействий на всех и каждого из его атомизированных членов»³⁴.

Между традицией и правом: патримониальная модель авторитаризма и механизмы ее устойчивости

Новое, развившееся уже в постсоветское время состояние социальных связей, их прогрессирующая атомизация наряду с традиционной склонностью к патернализму и отсутствием исторического опыта самоорганизации и самоуправления создают благоприятную почву для воспроизводства в современной России особой разновидности авторитарного политического режима – патримониального. Эта модель была обоснована М. Вебером, подчеркивавшим ее переходный характер, проявляющийся в обществах, находящихся на пути между традиционными и рационально-легальными отношениями. В ее рамках права и обязанности представителей разных страт общества не легитимируются традицией, не опираются на нее. Это уже рациональные отношения, порожденные страхом или выгодой, но они еще не легальные, не опирающиеся на закон. Вся система патримониальных отношений основывается на личной (не правовой) зависимости бюрократии от правителя, народа от бюрократии.

Веберовская модель ныне стала особенно популярной в мировой политологии и часто используется для объяснения как самой специфики политических режимов в посткоммунистических странах, так и причин их устойчивости³⁵. Вебер выделил разные типы личной зависимости бюрократии от властителя – от самых жестких, основанных на страхе наказания смертью («султанский тип»), до сравнительно мягких, покоящихся на взаимной экономической выгоде. Все эти разновидности проявляются и сегодня. Скажем, взаимоотношения нынешнего правителя Чечни Р. Кадырова не только с личной гвардией, но и со своим чиновничеством – это образец патримониальных отношений султанского типа. Отказ от подчинения султану карается смертью. При этом изменники при невыясненных обстоятельствах погибают не только в Чечне, но и в Москве и даже в городах Западной Европы.

Султанский тип патримониализма проявляется и в ряде других регионов постсоветского мира, но все же в России, как и в большинстве постсоветских стран, преобладает не деспотия, а более мягкая, экономическая зависимость клиентов от патрона. В такой системе патримониальный чиновник служит не из страха, он вознаграждается за верность возможностью использования служебного положения в личных целях.

Представление о двух типах авторитарно-патримониальных режимов совпадает, на мой взгляд, и с концепцией Freedom House, отражаемой в ежегодном докладе этой организации Nations in Transit. Например, в докладе за 2006 год представлены следующие типы постсоветских стран³⁶:

1. Консолидированные авторитарные режимы. Они во многом напоминают султанский тип патримониализма и характеризуются наивысшими показателями авторитарности.

Казахстан	6,39
Беларусь	6,71
Узбекистан	6,82
Туркменистан	6,96

2. Неконсолидированные авторитарные режимы. Это определение очень близко тому, что Б. Дубин вкладывал в понятие «режим разобщения». Показатели авторитарности у стран с таким режимом несколько ниже, чем в первой группе.

Армения	5,14
Киргизия	5,64
Россия	5,75
Таджикистан	5,93
Азербайджан	5,93

3. «Гибридные» или полуавторитарные режимы. Показатели их авторитарности еще ниже.

Украина	4,21
Грузия	4,86
Молдова	4,96

4. Консолидированные демократии. Они характеризуются самыми низкими показателями авторитарности.

Эстония	1,96
Латвия	2,07
Литва	2,21

Итак, две первые группы можно отнести к патримониальным режимам, которые М. Вебер считал не только переходными, но и принципиально неустойчивыми. Этот вывод в основе своей верен, особенно применительно к неопатримониальным атомизированным обществам, однако жизнь показала, что такие режимы более устойчивы, чем предполагалось в начале XX века.

Прежде всего, с тех пор кардинально изменилась возможность манипуляции общественным мнением, и дело не только в росте могущества информационных технологий, но и в ослаблении традиционной культуры. Атомизированные общества с ослабленными механизмами традиционной саморегуляции становятся более пластичными, податливыми к конструированию квазитрадиций (жизни «по понятиям»), на какое-то время заменяющих полноценные нормы.

В современных условиях значительно возросли возможности использования так называемого административного ресурса. В современных патримониальных системах шансы на приход к власти политической оппозиции в результате выборов крайне малы, даже если оппозиция не запрещена полностью, как в Туркмении, и не уничтожается физически, как в Чечне. Скажем, в Грузии, где количество легальных партий велико, политические ресурсы оппозиции примерно так же малы, как и в России, где осталась едва ли не единственная оппозиционная партия – КПРФ – и разрозненные группировки либерально-демократического толка. Да и сами партии трудно отличить от патримониальной власти, поскольку они построены на личных отношениях – это всего лишь группы поддержки популярных личностей.

В неопатримониальных политиях перевернута с ног на голову система взаимоотношений между партиями, представленными в парламенте, и исполнительной властью. Не власть зависит от партий, а партии от исполнительной власти. В таких условиях даже при честных выборах мала вероятность демократического управления страной.

Что особенно важно, при современном могуществе политических технологий и разнообразии административных ресурсов простейшие электоральные демократии обречены на вырождение, на подмену имитационными формами, если они не опираются на свои естественные корни – институты гражданского общества. Но в том и состоит проблема развития постсоветских обществ, что в большинстве из них институты гражданского общества очень слабы и к тому же искусственно подавляются. Именно это делает весьма вероятными ретроградные политические процессы. Хочу подчеркнуть, что элементарные и неустойчивые демократии сносит в сторону авторитаризма почти вне зависимости от личных особенностей и биографии лидера страны или региона, будь то бывший агент специаль-

ных служб, партийный функционер или бюрократ новой постсоветской формации. Так, академик А. Акаев пришел к власти в Киргизии на волне перестройки. Поначалу он демонстрировал и свой демократизм, и прозападную ориентацию, но затем его режим выродился в обычный авторитарный патримониализм и был свергнут в ходе «цветной революции» (уж не помню – то ли «тюльпановой», то ли «маковой»). Просвещенный юрист Н. Федоров, член Межрегиональной депутатской группы времен горбачевской перестройки, демократ из демократов в 1980-е годы, став президентом Чувашии, создал «демократуру», мало отличимую от режима соседней Башкирии, где с советских времен правил М. Рахимов. М. Саакашвили по демократичности фразеологии может быть занесен в книгу рекордов Гиннеса, но ныне грузинская оппозиция добивается его отставки, упрекая, не без оснований, в авторитаризме.

Наряду с общими механизмами самосохранения патримониальных режимов в России проявляются и специфические, вытекающие из ее собственного исторического опыта. Так, знаменитую фразу В. Черномырдина: «В России какую партию ни строй – получается КПСС», – можно трактовать не как фатальную предопределенность истории, а как традиционно российский технологический прием сведения новаций к известным шаблонам. По крайней мере последние два века правители на Руси боролись с опасными для них инновациями тем, что противопоставляли им заготовки местного производства, которые похожи на зарубежные новации по форме, но противоположны им по содержанию. Так, термин «нация» стал известен образованному обществу России в самом начале XIX века, почти тогда же, когда он стал обсуждаться в интеллектуальных кругах Франции. Однако сразу же французская идея нации как согражданства, основанного на народном суверенитете, в России была подменена доктриной «официальной народности» или, как ее называет Р. Суни, доктриной «официального национализма». Согласно ей, народ – вовсе не суверен, это дитя, опекаемое самодержцем как любящим, но строгим отцом. Официальный национализм, по мнению Суни, явился «ответом правящих групп, преимущественно династических и аристократических, на угрозу исключения или маргинализации последних в воображенном сообществе... и был связан с попытками аристократии и монархии сохранить империю»³⁷. После

Первой мировой войны на месте мировых империй стали складываться федерации, но российский «особый путь» проявился в создании Союза Советских Социалистических Республик как формы сохранения империи, лишь декорированной некими атрибутами федеративного устройства. Последний по времени пример культурной подмены – это доктрина «суверенной демократии».

«Российская система» не традиционна, но инерционна. Основой этой инерции является господство сырьевой экономики. Как торговала Россия сырьем при Петре I, так и торгует, только вместо леса и пеньки продает нефть и газ. Сырьевые товары составляют 85% российского экспорта и более 50% российского ВВП (в развитых странах этот показатель составляет менее 20%). Проблема «ресурсного проклятия» известна давно: множество стран со значительными природными ресурсами получают весьма малую выгоду от их использования. Главное же, что тотально сырьевая экономика уменьшает стимулы к модернизации. Зачем менять отношение к труду, жизненные устои, если можно сносно жить на нефтедоллары? Впрочем, подобные формы самосохранения авторитаризма наблюдались и в других странах. Т. Ворожейкина приводит в качестве примера Мексику в период нахождения у власти Институционно-революционной партии, которая обеспечила долголетие своего правления, осуществляя «обмен политических прав и свобод на перераспределение дохода в пользу средне- и низкодходных групп населения через государственно-корпоративистские механизмы»³⁸. В России используется примерно тот же механизм, но в нашей стране сверхдоходы от ресурсной экономики еще в большей мере облегчают процесс выкупа демократии у населения.

Сложившаяся структура экономики препятствует утверждению собственнических начал среди большей части российского населения. В России, как отмечал В. Розанов, вся собственность выросла из того, что было либо пожаловано государем, либо украдено у кого-то. Вот и в постсоветский период нефтяные поля и газовые месторождения не были заработаны новыми российскими бизнесменами или получены ими по наследству. Эта собственность досталась им от государства, поэтому и сохраняет свое значение диагноз Розанова: «Труда в собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается»³⁹.

Существует прямая связь между ресурсной экономикой и структурой элит. В России главенствует элита, связанная с ТЭК, в наибольшей мере зависимая от государства, поэтому и наиболее сервильная по отношению к власти. Такая элита в наименьшей мере склонна к опоре на гражданское общество, вот и не может оно прорасти через асфальт российской системы.

Засилье нефтегазовой экономики обусловило избыточную роль государственной власти в жизни России. С. Кордонский назвал такое государство «ресурсным». Он пишет, что «задачами ресурсного государства были и остаются мобилизация и управление ресурсами, которые совсем не товары и чья ценность невыразима в деньгах... Мобилизация ресурсов заключается в том, что государство (в идеале) безраздельно управляет всеми материальными и человеческими потоками»⁴⁰.

Главным ресурсом всегда была территория, с ее землями и недрами, поэтому ресурсное государство в качестве высшей цели выдвигает удержание, а по возможности и расширение территории. Размышляя о повторяющемся из века в век воспроизводстве деспотических форм правления в России, многочисленные теоретики вслед за Монтескье связывали этот повторяющийся феномен с обширной территорией России и наличием у нее врагов, реальных и мнимых. Чем больше страна, чем протяженнее ее границы, тем больше она ощущает угрозы со стороны многочисленных врагов. Страна, живущая в ситуации осажденной крепости, не расположена поощрять народный суверенитет и гражданские права. В таком государстве не приживается федерализм с его децентрализацией власти и широкими полномочиями региональных центров в сфере самоуправления. «Имперский тип государственности, – отмечает А. Захаров, – оказывается естественным оформлением режима, построенного на экспорте сырьевых ресурсов»⁴¹. Политическая апатия нулевых годов еще в большей мере увеличила вероятность возврата России от декоративной федерации к типу правления, напоминающему имперский, который всегда опирается на власть наместников в провинциях. Как сажали государи воевод и губернаторов «на кормление», так и сажают. Вот и воспроизводятся нравы города Глухова.

Господство природных ресурсов в экономике при дефиците человеческих требовало прикрепления населения к территории, а по-

сле отмены крепостного права – прикрепления его к власти. И то и другое было связано с лишением основной части жителей их гражданской и политической субъектности. Используя формулу Дж. Хоскинга, можно сказать, что «строительство государства в России мешало строительству нации»⁴². Но одновременно происходил и рост безответственности государева человека. «Барин правит – пусть он и отвечает за все». «Барин думает, что платит, – пусть думает, что я служу». «Барин имеет собственность – пусть он ее и охраняет». Мало что изменилось с тех пор, и не приходится удивляться тому, что как не было на Руси общества, способного контролировать государственный аппарат и осознавать свою ведущую роль в политической системе, так его и нет. Более того, в этом отношении наблюдается даже регресс, связанный с утратой традиционных институтов социального контроля. Отсюда и гигантские качели инверсии ценностей, о которой я уже говорил.

Неопатримониальные режимы устойчивы, как Матрица⁴³. Они изменяются только в результате внутреннего раскола элиты или революции, которые тоже чаще всего являются всего лишь формой перераспределения власти между ячейками все той же Матрицы. В ходе революции в Киргизии президента А. Акаева сверг К. Бакиев, бывший его премьер-министр. А кто такой президент Украины В. Ющенко? Премьер-министр президента Л. Кучмы. А М. Саакашвили? Министр в правительстве свергнутого им президента Э. Шеварднадзе.

Матрица прочна. Но она не вечна. Инерция – не фатум и не вечный двигатель. Инерция, как и традиция, ограничивает возможность произвольного движения, задает некоторую особенность исторического пути народа и страны, однако само понятие инерции предполагает возможность ее преодоления при определенных изменениях условий среды и усилении импульсов внешних воздействий. И такие импульсы ныне проявляются все заметнее в силу большей, чем в прошлом, взаимосвязи стран мира.

Вызовы времени как стимулы к переменам

Сохраняют свое значение выводы М. Вебера о принципиальной неустойчивости патримониальных систем. Она порождается прежде всего хроническим дефицитом легитимности власти. Власть уже не от Бога, но и не от закона, не от выборов. Пока терпят лидера в расчете на то, что он защитит от совсем отвязавшихся бояр, но ресурс личного авторитета быстро портящийся. Отношения внутри элит не легитимированы ни религией, ни законом, ни традицией. Почему московские элиты должны признать верховенство питерских? Почему одним жирные куски, другим обеды? Признать это элитарные группы не могут, к тому же они все в большей мере ощущают, что власть не готова к демонстрации декларированной поначалу «равной удаленности» от всех олигархических групп. В неправовом государстве высока вероятность доминирования неких кланов, отраслевых или региональных групп интересов. В таких условиях высока вероятность того, что элита, которая не может укрыться за традицией и рассчитывать на постоянное благоволение к ней патрона, будет пробиваться к защите закона, будет заинтересована в переходе от власти авторитета к власти нормы, следовательно, рано или поздно станет поддерживать политическую модернизацию.

Системным пороком патримониальных режимов является также вырождение их общественных функций. Еще Вебер отмечал, что неизбежным следствием присвоения служебного положения является утрата чиновничеством своих бюрократических функций. Иными словами, патримониальный чиновник перестает быть государственным служащим, поскольку государственные и общественные интересы подменяются его личными или корпоративными. Вырождение общественных функций бюрократии приводит к тому, что такие режимы буквально разлагаются от коррупции. Явление это хорошо известно, и вряд ли в данной статье нужны какие-то дополнительные аргументы для доказательства растущей коррумпированности нынешнего политического режима в России.

Патримониальные режимы – это всего лишь средство самосохранения сложившегося истеблишмента, они принципиально не пригодны к проведению политики модернизации, во всех ее формах, как

мобилизационной, так и тем более инновационной. Отсутствие же модернизационных перемен в условиях включенности России в систему глобальной экономики будет постоянно напоминать о себе растущим отставанием нашей страны в мировой конкуренции. Эти вызовы, скорее всего, будут стимулировать возрастание общественного интереса к политическими переменам, хотя для таких перемен нужны еще и внутренние предпосылки – готовность общества к освоению рационально-легальных форм жизнедеятельности, обычно предшествующих становлению устойчивых демократий. Такие процессы в России проявляются, но крайне противоречиво. Впрочем, анализ этих процессов – тема совсем другой статьи.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН, 2003.

2 При всем разнообразии толкований понятия «демократия» его сущность и главные признаки в большинстве случаев трактуются одинаково. Демократия – власть народа. Форма правления, верховной властью в которой реально облечен народ (граждане государства), осуществляющий свои полномочия прямым или непрямым способом (через систему представителей, избираемых в ходе свободных, конкурентных и равноправных выборов).

3 Сигл Дж. Демократия и процветание [http://usinfo.state.gov/dd/ru_democracy_dialogues/ru_prosperity/ru_prosperity_essay.html].

4 Современная политическая теория проводит принципиальное различие между «минимальной демократией», ограничивающей участие населения в политике лишь его электоральной активностью, и полноценной либеральной демократией, обеспечивающей повседневную активность граждан, а также эффективную защиту гражданских прав и политических свобод. См., напр.: Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1. С. 1–25.

5 Отмечу, что практически все ранние формы демократии были полувластными и представляли собой режимы с высоким влиянием олигархических группировок.

6 Клямкин И. Российская власть на рубеже тысячелетия // Pro et Contra. 1999. Т. 4. № 2. С. 57.

7 См., напр.: Левада Ю. Ищем человека. Социологические очерки. 2000–2005. М.: Новое издательство, 2006; Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи. 1997–2002. М.: Новое литературное обозрение, 2004.

8 Несмотря на то, что с 2008 года президентом России является Д. Медведев, фактически рычаги управления страной находятся в руках В. Путина, занявшего формально второй пост в государстве – главы правительства. Опросы российского общественного мнения показывают, что по уровню влияния Путин намного опережает Медведева. В мировой же табели о рангах этот разрыв еще выше. Так, по опросам журнала Forbes, в 2009 году Путин занимал третью строчку среди влиятельнейших людей мира, а Медведев – лишь сорок третью, и его в этом списке опережал даже один из заместителей главы правительства И. Сечин (42-е место). См.: Самые влиятельные люди планеты: рейтинг Forbes [<http://www.forbesrussia.ru/article/27571-polnyi-spisok>].

9 Linz J. Totalitarian and Authoritarian Regimes // Handbook of Political Science. Vol. 3: Macropolitical Theory. Ed. by Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby. Reading, MA, 1975. P. 175–411.

10 Ворожейкина Т. Авторитарные режимы XX века и современная Россия: сходства и отличия. Тезисы выступления на конференции «Российские альтернативы» (Пятое Ходорковские чтения) 8 декабря 2009 года.

11 Гудков Л. Природа «путинизма» // Вестник общественного мнения. 2009. № 3 (101). С. 6–21.

12 Дубин Б. Режим разобщения // Pro et Contra. 2009. № 1. Январь – февраль.

13 Там же. С. 7.

14 По материалам исследовательских проектов, выполненных под рук. Л.М. Дробиневой: «Посткоммунистический национализм, этническая идентичность и регулирование конфликтов» (1993–1996) и «Социальное неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Российской Федерации» (1999–2001).

15 Гудков Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. Под ред. В.С. Малахова и В.А. Тишкова. М.: ИФ – ИЭА РАН, 2002. С. 132–133.

16 Этнические русские в этих опросах составляли 85%.

17 Дубин Б. Запад для внутреннего потребления // Космополис. 2003. № 1 (3). С. 137.

18 Там же. С. 150.

19 Гудков Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам. С. 133.

20 С 1995 по 2005 год президентом Польши дважды избирался А. Квасневский, член ПОРП с 1977 по 1990 год, член прокремлевского правительства (министр по делам молодежи) Польши с 1985 по 1990 год. В 2000 году после периода правления правых партий в Румынии президентом этой республики избирается И. Илиеску, который был руководителем идеологического отдела ЦК РКП во времена диктатуры Н. Чаушеску.

21 Гудков Л. Русский неотрадиционализм // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1997. № 2. С. 25–33.

22 Marciniak W. Rozgrabione Imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej. Wydawnictwo Arcana. Kraków, 2001. S. 510.

23 См. подробнее: Императорский том. Следственный комитет идентифицировал детей Николая II // Время новостей. № 127. 2008. 17 июля [<http://www.vremya.ru/2008/127/51/208516.html>].

24 Бондаренко В. Народ вседержитель // Завтра. № 1 (318). 2000. 4 января.

25 Общественное мнение – 2002. По материалам исследований 1989–2002 годов. М.: ВЦИОМ, 2002. С. 20.

26 Леонтьев М. Наша страна – самостоятельный проект // Россия. 2003. 1 марта.

27 Цит. по: Бондаренко В. Народ вседержитель.

28 Квачков В. Сталин сегодня: русский православный социализм // Народное ополчение. Официальный сайт Владимира Квачкова [http://www.kvachkov.org/narod.php?narod=social_sphere/182-vladimir-kvachkov-stalin-segodnya-russkij.html]

29 Подробнее см.: Шац Э. Роль государства и устойчивость родовых связей в Казахстане // Казахстан и Россия: общества и государства. Ред. и составитель Д.Е. Фурман. М., 2004. С. 121–125.

30 Чеснов Я. Быть чеченцем: личность и идентификации // «Удел Магуллата» – сайт форума, посвященного истории, культурологии и литературе. 2004. 4 февраля. [<http://www.wirade.ru/cgi-bin/wirade/YaBB.pl?board=polit;action=display;num=1080921867>].

31 Фукуяма Ф. Доверие. М.: АСТ, 2004. С. 57.

32 Шмерлина И. Социальная экология соседства // Социальная реальность. Журнал социологических наблюдений и сообщений. 2006. № 9 [<http://socreal.fom.ru/?link=ARTICLE&aid=211&print=yes>].

33 См.: Дубин Б. Массмедиа и коммуникативный мир жителей России: пластическая хирургия социальной реальности // Вестник общественного мнения. 2006. № 3 (83). С. 33–46. [<http://www.polit.ru/research/2006/09/06/dubin.html>].

34 Там же.

35 Наиболее полный обзор этих работ см.: Фисун А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации. Харьков, 2006. С. 155–178. См. также: Масловский М. Веберовская концепция патримониализма и ее современные интерпретации // Социологический журнал. 1995. № 2. С. 95–109.

36 См.: Фисун А. Указ. соч. С. 144.

37 Сунь Р. Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теории империи // Национализм в мировой истории / Под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. Институт этнологии и антропологии РАН. М.: Наука, 2007. С. 65.

38 Ворожейкина Т. Указ. соч.

39 Розанов В. Уединенное // Розанов В.В. Сочинения. М.: Советская Россия, 1990. С. 45.

40 Кордонский С. «Патриоты» и космополиты в ресурсном государстве // Российское государство: вчера, сегодня, завтра. Ред. И. Клямкин. М.: Новое издательство, 2007. С. 219.

41 Захаров А. Унитарная федерация. Пять этюдов о российском федерализме. М.: МШПИ, 2008. С. 41.

42 Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552–1917). Смоленск: Русич, 2000. С. 11.

43 В данном случае термин «Матрица» используется примерно в том же значении, как в знаменитом фильме Э. и Л. Вачовски, имеющем такое название. В фильме Матри-

ца – это рукотворная компьютерная программа, которая при всем ее могуществе подвластна воле людей и в принципе может быть перенастроена или уничтожена. Вот и патримониальная матрица, в моем понимании, – это всего лишь модель легитимации господства, которая поддается изменению, хотя и обладает высокой инерционной устойчивостью. Совершенно иная трактовка исторической матрицы проступает в произведениях многих современных российских квазикультурологов, использующих понятие матрицы в мистическом смысле – как рок, предопределяющий некий «особый» исторический путь.

Заключительные размышления

Александр Мелихов

Идеология «особого пути» как орудие модернизации

В пионерлагере это было самое страшное обвинение: «Ты что, особенный?!»! Но если бы этот вопрос услышала наша мама, она бы, несомненно, ответила: «Конечно, особенный!» Те, кого мы любим, всегда особенные, ординарны и взаимозаменяемы только те, к кому мы равнодушны. И мир, а в первую очередь наши конкуренты, с утра до вечера учит нас скромности, поскольку именно высокая самооценка придает нам сил, и в конце концов мы овладеваем наукой ни на что не претендовать, пропускать вперед тех, кто поумнее да по красивее, чего они от нас и добивались. Но когда вдруг в нас кто-то влюбляется и говорит: «Ты единственный, таких, как ты, больше нет», наша душа отвечает не всплеском скромности – всплеском радости...

Каждый человек и каждый народ может любить только тех, кто поддерживает в нем естественное для всякого живого существа чувство собственной уникальности. Зато когда нас оценивают по какому-то чужому критерию, да еще и выставляют не слишком высокую оценку, – тогда-то нам и хочется отвергнуть и оценщиков, и самое их шкалу: мы начинаем настаивать на своей особости, когда нам в ней отказывают. Но поскольку глобализация все больше стран и народов выстраивает по единому ранжиру, а высокие места в любом состязании достаются лишь немногим, то проигравшим поневоле приходится искать утешения в идеологиях «особого пути» – их расцвет есть реакция на унификацию. И правительства, которые откажутся идти навстречу этой реакции, будут утрачивать популярность, уступая дорогу более услужливым.

Таким образом, эта могучая психологическая потребность столь многих (в сущности, большинства) народов неизбежно найдет удовлетворение в разного рода идеологиях «особого пути» – только одни из них будут оборонительными, а другие наступательными. Оборонительными идеологиями я называю те, которые декларируют отказ от приза, за который ведется борьба, а наступательными – те, которые призывают насильственно захватить этот приз или, по крайней мере, максимально отравить торжество победителей. Уничтожить этот механизм психологической компенсации никому не под силу – попытки его высмеять, изобразить архаической нелепостью могут разве что превратить оборонительные идеологии в агрессивные (направленные в том числе и на своих разоблачителей).

Многие социологические опросы отмечают у россиян симпатию к некоему «особому пути», однако никто даже не ставит вопрос, оборонительный или наступательный характер носит эта симпатия. Лично мне кажется, что в основном пока что оборонительный, но если почаще выводить этот способ самоутешения на чистую воду, то в конце концов удастся превратить его и в агрессивный.

На мой взгляд, гораздо более целесообразно не бороться с неодолимым стремлением (готовность соответствовать каким-то стандартам может быть проявлена только теми, кто этим стандартам уже соответствует либо находится в двух шагах от этого), а использовать его в рациональных целях. Преимущества и соблазны модернизации настолько наглядны и огромны, что декларируемые отказы от нее суть, как правило, декларации лисицы, отказывающейся от недоступного винограда. Идеологии «особого пути» на первых порах чаще всего возникают не как оправдание агрессии, а как прикрытие капитуляции, как утешение в неудачах. И человек, и народ, когда их настигает поражение, говорят себе: «А я и не хотел». И здесь не нужно выводить их на чистую воду, повторяя: «Нет, ты хотел, да только у тебя не вышло. Так что не важничай, а учись у более умных и умелых». Если даже это правда (а это бывает правдой лишь наполовину, ибо любой успех наполовину определяется удачей), все равно она будет воспринята как соль на раны и лишь удвоит и без того всегда присутствующую неприязнь проигравших к победителям.

Поэтому рациональному правительству, желающему осуществить ненасильственную модернизацию, разумнее отводить нараста-

ющую агрессию временными уловками в том духе, что мы-де сами отказались от упущенного приза, потому что это несвоевременно, слишком дорого, противоречит нашим нравственным принципам и т.д. Но мы спокойно все получим своим особым путем – в свое время, без надрывов, без утраты самобытности – все эти припевы давно известны. Нужно только не попадать в сети собственной пропаганды, а собирать силы для новой попытки, которую тоже нужно изображать как собственный, никем не вынужденный и никому не подражающий путь развития.

Разумеется, это дело тонкое, утешения и стимулы правящие должны дозировать очень осторожно и быть всегда готовыми что-то прибавить, а что-то убавить в зависимости от реакции управляемых – при неизбежно сохраняющемся риске внезапного выброса фундаментализма, агрессивной версии идеологии «особого пути». Но полный отказ считаться с потребностью людей в мягком варианте такой идеологии обеспечивает ее жесткие выбросы со стопроцентной гарантией.

Лев Гудков, Борис Дубин, Эмиль Паин

Беседа на тему: Есть ли модернизационный ресурс у идеологии «особого пути»?

Э. Паин: Заканчивая подготовку нашей книги к публикации, я вспомнил об одном коротком выступлении на Шестых Старовойтовских чтениях, которое отличалось «особым взглядом» на проблему «особого пути» России. Большая часть выступлений на чтениях, равно как и большая часть статей этой книги, показывают, что где бы ни появлялась идеология «особого пути», она всегда отражала защитную и антимодернизационную направленность. Но вот писатель Александр Мелихов полагает, что эта же идеология при определенном ее развороте может служить и целям модернизации. В этой связи он высказывает несколько идей.

Во-первых, о том, что понятие «особый» в индивидуальных оценках всегда имеет скорее позитивную, чем негативную коннотацию, характеризуя незаурядные способности, возможности личности («особая личность», «особые заслуги», «особое качество»). Встает вопрос, каким образом идеология «особого пути» сочетается с этой идеей индивидуальной незаурядности.

Во-вторых, писатель говорит, что идеология «особого пути» возникает как сопротивление навязанному кем-то извне однообразию, жизни по чужим правилам. Наверное, можно поспорить с гипотезой о таком происхождении этой идеологии, однако меня больше занимает вытекающая из этой мысли Мелихова проблема взаимосвязи идеологии «особого пути» с современными версиями теории модернизации. Они отказываются от былого эволюционистского взгляда на историческое развитие, предполагавшего один для всех единственно верный и при этом еще и прямолинейный путь к всеобщему счастью. Напротив, в новых версиях теории мо-

дернизации культурное многообразие человечества рассматривается как конкурентное преимущество того или иного народа или страны. Так вот и возникает еще один вопрос для нашего обсуждения: о том, как соотносится идеология «особого пути» с идеей культурного многообразия.

И наконец, третий вопрос, пусть и не поставленный прямо в выступлении писателя, но вытекающий из него. У какой-то части нашей интеллигенции есть неконформистское стремление найти, разглядеть нечто позитивное в том, что обычно маркируется как негативное. Понятно, что ныне идеологию «особого пути» защищают державники, имперцы всех мастей, так было и раньше на протяжении, по крайней мере, двух последних веков российской истории. Но, может быть, можно найти такой поворот «особого пути», который будет позитивным отнюдь не для консерваторов, а для людей с демократическими взглядами?

Л. Гудков: Давайте начнем с категорий «особенный», «особый». В принципе это оценочные суждения, которые сами по себе не содержат ни позитивной, ни негативной коннотации. Термин «особый» не является характеристикой универсального свойства, не содержит признаков многовариантности и, соответственно, не позволяет установить специфичность какого-то одного варианта в сравнении со многими другими или с некой универсальной моделью, схемой. Для оценивания необходимо принимать во внимание мотивацию того, кто выносит оценку, к кому он обращается, к каким партнерам и по отношению к чему он устанавливает такую демаркацию или оценку. Когда мама говорит: «Ты особенный!» – она выделяет ребенка и оценивает его вполне позитивно («особый для меня среди многих»), не давая при этом негативных оценок другим детям; она не исключает своего ребенка из универсального ряда. Когда А. Дугин или еще кто-то из консервативных идеологов говорит «особый», он, конечно, работает с компенсаторно-защитным комплексом. Оценка здесь направлена против включения страны или субъекта в универсальное поле шкалы достижений модернизированных стран, которые безусловно оцениваются выше отсталых, недоразвитых, испытывающих разнообразные комплексы неполноценности, как Россия в отношении Запада. В этом смысле изоляция («у нас особый путь», «не смейте нас сравнивать с другими») исключает страну – субъекта «самоисключения» из шкалы, в которой он мог быть оценен как недоразвитый или немодернизированный или еще недо- какой-то. То есть изоляция снимает негативную оценочность. Поэтому са-

ма по себе особость как признак еще не содержит в себе мотивацию. Я поэтому и говорю, что надо всегда брать во внимание мотивы квалифицирующего субъекта.

Э. Паин: Хочу подхватить мысль о двух типах оценок: одна – в рамках универсальных критериев, а вторая – через исключения из них и противопоставления. Когда мать оценивает своего ребенка как особенного, незаурядного, она, как правило, делает это по универсальным критериям. Если в обществе ценится ум, то мать и оценивает по этому критерию своего ребенка («мой самый умный, способный»), если ценится сила, воинственность, ловкость, то по этим же критериям и мать выделяет своего ребенка из ряда других детей, оцениваемых по тем же критериям. В этом смысле такая оценка принципиально противоположна идеологии «особого пути», которая пытается противопоставить эту особость неким универсальным требованиям. «Мы принципиально не такие». Кстати, и в индивидуальных оценках заметно различие двух типов оценивания. Если бы мать сказала: «Мой сын дурачок, зато тихий (или сильный)», то в такой оценке явно проявлялась бы защитная реакция психологической компенсации. И еще одно. Даже мать оценивает своего ребенка как внешний наблюдатель, а представьте себе, что сам сынок или дочка начнет превозносить себя как незаурядную личность. Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что такой человек ощущает некую внутреннюю неуверенность и стремится компенсировать ее самоутверждающим возвеличиванием. Вот и идеология «особого пути» – это всегда самооценка «нас», форма болезненного самоутверждения.

Б. Дубин: Мне не кажется, что сегодня большинство российского населения – ну, может быть, за исключением студентов твоего, Эмиль, университета, Высшей школы экономики, которых обучают тому, что они самые-самые, и всячески стараются разбудить в них честолюбие, – сверхпозитивно оценивает значение слова «особый». Скорее наоборот. Ю. Левада писал о том, что никакого среднего класса нет, а средний человек есть. В этом смысле – и наши данные это подтверждают – большая часть населения вполне готова быть такими, как все, и позитивное видит именно в этом.

Э. Паин: Да, это подтверждается и другими исследованиями, например Н. Лапина. По его данным, для 2/3 современного российского населения характерен конформизм. Нормативным, «правильным» считается поведение, не выделяющееся из среды, – «быть как все», «не выпячиваться».

Б. Дубин: Поэтому возможность позитивного перенаполнения категории «особый», ее исторического переформатирования здесь и сейчас, в наших условиях, мне не кажется реальной.

Л. Гудков: Говоря о переформатировании, Борис вводит другое измерение – конкуренции, состязательности, сравнения. Там, где «особый» наполняется смыслами «лучшего качества».

Б. Дубин: Это совсем другой угол рассмотрения. Если мы говорим, что все особые, почему бы и России не быть особой, как особая Албания, Германия, США и так далее? Это меняет весь контекст рассуждений. Потому что значение категории «особый» в публицистике наших фундаменталистов, консерваторов – это, конечно, «один, единственный, неповторимый и лучший». А если мы говорим, что «особый» – это механизм соединения нового и старого, чужого и своего для всех обществ, проходящих процесс модернизации, и в этом плане он особый, но каждый раз конкретный и не повторяющийся, то мы предельно деидеологизируем это понятие, что, естественно, вызывает сопротивление со стороны консерваторов, фундаменталистов и т.д., которые хотят считать слово «особый» не подлежащим универсализации. Ну, и маленький комментарий к особости как антимодернизационной идеологии. Я немного мягче стал смотреть на эту проблему. Мне кажется, что это не контрмеханизм, а адаптационный механизм. Механизм смягчения и приведения к уровню возможного для населения, с одной стороны, власти, с другой стороны, и каких-то околоставных групп, с третьей стороны.

Иначе говоря, как писал Левада, «все подневольно втягиваются в изменения». От бабушки до ее правнучка. Правнучек просит шоколадку, и хочешь не хочешь оба включены в процессы изменений. Но каждая группа для себя вырабатывает механизм смягчения требований этого самого процесса модернизации, перестройки и т.д. Для власти нужны такие механизмы. Ей удобна в этом смысле идеология «особого пути», потому что она позволяет то, что позволяет, – уворачиваться от Запада по логике «не учите нас жить», при этом бесконтрольно развязывая руки внутри страны, поскольку, дескать, «ситуация экстраординарная». Для массы тоже это удобно, потому что дает возможность не слишком сильно втягиваться в происходящее и не увеличивать требования к себе. Кто-то недавно сказал, что у нас есть единственная национальная идея – Великая Отечественная война. Но я думаю, что есть другая национальная идея. Она со-

стоит в том, что мы особые. Без объяснения, в чем эта особенность заключается. Потому что само ценностное наполнение этого понятия состоит в том, что оно не должно быть конкретизировано. Это момент такого преимущества и превосходства, что он не терпит дальнейших интерпретаций. Мы перестаем быть особыми, когда начинаем рассказывать о том, что же, собственно, нас отличает от других.

Э. Паин: Мы ведь оцениваем не просто словосочетание «особый путь», а конкретную идеологию, имеющую традицию как в Германии, так и в России, и у этой традиции вполне четкие критерии. Критерии противостояния нескольким элементам. Прогрессу как идее совершенствования, которая вроде бы противостоит некоей народобытной духовности. Это идея противопоставления власти народа другому типу политического режима – власти персоны. Авторитаризм выступает в качестве неизменного элемента и германской, и российской традиции «особого пути». В российском же варианте к нему добавляется совершенно очевидная традиция имперскости, на которой сходятся, как это ни парадоксально, и этнонационалисты, и чистые державники. И лишь одна группа – скинхеды (неонацисты, исходящие из идеи White Power) – ее не принимает.

Л. Гудков: Термин «особый» лишен самостоятельного смысла и наполняется в зависимости от задачи. Мы почти одни и те же цифры получаем при разной формулировке вопроса об особенностях России. «У нас особенное прошлое?» – «Да!» «Русский народ такой же, как все?» – «Да!» И так далее. 60–65% устойчиво. Это значит, что эти ценностные радикалы блуждают, не будучи помещенными в силовое поле какой-то идеологии, каких-то интересов власти. Идеология (в зависимости от своего содержания) либо включает Россию в общее поле модерна, конкурентных отношений и тогда формирует соответствующие оценки населения, либо исключает Россию из этого конкурентного поля и тем самым работает на интересы самосохранения самодержавной и бесконтрольной власти, которая препятствует развитию, то есть усложнению структуры общества, дифференциации и специализации своих институтов, что, собственно, и обеспечивает более высокую продуктивность, более высокое качество действия (все равно, идет ли речь об экономике, науке, государственном управлении или об армии). Настаивая на «особости», идеологи власти стремятся не просто изолировать страну от мира успешных стран, европейских стран или стран с современной,

модернизированной культурой своих институтов, а законсервировать это состояние неразвитости, обеспечивающей власти ее легитимность. За «особым путем» стоят не представления населения, а интересы определенной системы власти, консервирующей всю систему отношений, прежде всего собственные социальные позиции.

Э. Паин: Ну не только власти. Я бы сказал, элит.

Л. Гудков: Об элите трудно говорить в России. Скорее речь может идти о некоей интеллектуальной службе власти. Идея Sonderweg возникла в ситуации фиксации отсталости и слабости полufeодальной Германии в сравнении с Францией или Англией, ее политической раздробленности (вспомним, что это было время, когда «Германия» была национальным мифом, а политическую реальность представляли 300 отдельных немецких княжеств). А у нас эта идеология появляется всякий раз, когда встает задача перехода от рывка («догоним – перегоним») к ситуации консервации положения вещей и возведения защитного барьера по отношению к Западу. В России идеология «особого пути» возникла в 30-х годах XIX века, в период николаевского застоя, обернувшегося поражением в Крымской войне, затем она опять обострилась в качестве реакции на слишком интенсивный ход модернизации в 1870–1890-е годы (леонтьевское «надо бы подморозить Россию») и даже стала частью государственной политики консервативной и насильственной русификации (К. Победоносцев и другие), что, понятное дело, закончилось разгромом в Русско-японской войне. Потом сталинская идея построения социализма в одной отдельно взятой стране. Следующая фаза – момент краха советской идеологии и обострение «нашей самости». И сегодня – новый рецидив, опять-таки в ситуации неудачи реформы. Никакой в этой идее содержательности, «особости снизу» нет. Это продукт окол властных кругов.

Б. Дубин: Давайте подытожим. Мне кажется важным то, что Эмиль сказал про империю. Так или иначе, за идеологией «особого пути» стоит имперский, великодержавный комплекс. Это попытка надставить недостающий рост до представлений о себе как великой державе. Особый путь – это те котурны, на которые человек нормального роста встает, чтобы быть повыше. И оказывается, что это для всех очень важно. По «происхождению» это, конечно, элитная или, лучше сказать, номенклатурная идеология (в России национализм номенклатурный и идеология «особого пути» номенклатурная). Но, видимо, со временем, и сейчас как раз такое время, какие-то остатки

этой идеи становятся механизмом согласования между верхами и низами. На каком-то этапе это становится способом закрепления статус-кво, который устраивает всех – и верхи, и низы.

За всеми этими вещами прочитывается соревнование с одной конкретной державой. До поры до времени это была Германия, потом Соединенные Штаты. И в ситуации, когда оседает пыль после битвы, когда начинают разбирать то, что на поле боя, видимо, одним из инструментов согласия является вот эта самая мифологема «особого пути». В этом смысле о верности ей две трети населения говорят так же свободно, не задумываясь, как в другом отношении – желая такой же жизни, как у всех на свете (кто же откажется!) – говорят: «Да нет, мы, русские люди, такие же, как все. Мы хотели бы жить как на Западе. Мы только не хотим работать и отвечать за свои поступки».

Л. Гудков: Это и есть структура русской традиции. Я имею в виду организацию исторического, государственного сознания. Все ключевые точки такого сознания связаны с критическими моментами соприкосновения России как неоформленного, рыхлого, слабо структурированного материала для государственного владения, людского множества с каким-то универсальным целым. Если смотреть по данным наших опросов на исторические темы, то первыми точками «начала истории», то есть теми, которые выступают как моменты национальной идентификации, будут: Крещение Руси (племенное сознание входит в орбиту крупной, православной империи, византийской культуры), далее – правление Петра I, основной вектор которого – превращение Московской Руси в империю европейского типа (попытка включить Россию в Европу), и 1917 год. Это реперные точки национального сознания. Важно, что каждый раз это соприкосновение некой аморфной, не ставшей, не созревшей общности с чем-то более высоким, более сложно организованным, более универсальным воспринималось как начало принципиально новой эпохи. Уравняться с чем-то более высокоорганизованным это аморфное множество может только в форме империи, внешней и принудительной формы организации населения, не общества (которого в строгом смысле здесь по большей части истории нет), потому что другой тип организованности – общество, *society*, *Gesellschaft* – здесь не мыслится. Поэтому имперское сознание является здесь эквивалентом универсальности и величия. Но это ошибка: универсальность и громадность, или величие, – не одно и то же.

Э. Паин: То есть, анализируя общественное мнение, ты приходишь к выводу о том, что все признаки, символы русской идентификации строятся на противопоставлении «нас» некоему «конституирующему иному». Но ведь все общности так складывались?

Б. Дубин: В нынешние времена это, конечно, противопоставление империи и демократии. Поэтому демократия «у нас» всегда будет (если будет) «особая», потому что для нас важнее держава. Ну и потом понятно, что демократии (не тогда, когда они формировались в XIX веке, а сегодня) – это же не национальная вещь. А внутри империи еще решается вопрос о том, кто мы – русские, российские, или советские, или вообще всеобщие универсальные, мировые.

В идее того, чему противостоит российское как державное, вот еще какой важный признак скрывается: то, что «они», которым «мы» противостоим как особые, уже «готовые». Их время прошло. А мы еще в пути. У нас все впереди. У нас будущее. И Томас Манн, кстати, так и писал примерно до 1918 года: немецкий юноша, вечный студент, который скитается от страны к стране, ходит по всей Европе, – это же немцы, которые ищут себя. А они-то на Западе все уже давно сложились, они на закате. Отсюда «Закат Европы» и так далее.

Э. Паин: Это во всех случаях идеология «виноград зелен». Компенсаторная. В поисках этой компенсации ищется противовес. То есть так или иначе люди, использовавшие эту идеологию, признавали неявно превосходство некоего «конституирующего иного». Более высокий уровень организации, более высокий уровень достижений. И искали в своей особости некую компенсацию. Да, мы отстаем в оружии, проигрываем войны, проигрываем в экономике, но зато у нас есть длинная история, которая у них почему-то уже закончилась, и великая духовность в противовес их унылому прагматизму.

Л. Гудков: У Гейне уже это приобретает иронический смысл. Он издавался над этим. В поэме «Германия. Зимняя сказка» он пишет:

Французам и русским подвластна земля,
Британцам море покорно,
Но в царстве воздушном мечтательных грез
Немецкая мощь беспорна.

Здесь в наших руках гегемония; здесь
Мы все нераздельно слились,
Не так, как другие народы, – они
На плоской земле развились.

Б. Дубин: Вот что мы еще не сказали. Вернее, сказали, но надо назвать это одним словом. Слово «особый», видимо, надо понимать в рамках данной идеологии как некую аналогию избранного народа. Особый – значит избранный. В этом смысле он лучший, неповторимый. И у него особые отношения. Вот только с чем или с кем? А дальше надо социологически прорабатывать, с чем – с историей, с другими странами, между народом и властью. Кстати, что чаще всего в «особость» закладывает российское население? На наш вопрос: «Когда вы говорите об особом пути, что вы имеете в виду?» – люди в первую очередь указывают на особые отношения между властью и народом. У власти вся власть. Зато она опекает население. Население предается власти, но зато может делать то, что хочет.

Л. Гудков: Но власть при этом не просто власть. Она с определенной миссией, санкцией как бы свыше (пусть и приписываемой самой себе). Она – миссионерская. Это власть Третьего Рима, если хотите. Или с коммунистической миссией. Поэтому это очень сильная легитимация власти.

Б. Дубин: Неслучайно, что в конечном счете все сходится на Победе во Второй мировой войне, потому что это одновременно наша Победа, как и наша война, но зато это такое участие во всемирной истории, которого больше ни у кого нет. Мы спасли всемирную историю, мы всю Европу спасли. Вот когда мы оказались выше всех и показали, кто мы на самом деле.

Л. Гудков: Так же как Европу мы спасли от татар.

Б. Дубин: Тут важно, что мы все-таки оказались хоть один раз лучшими.

Э. Паин: Ну, может, не один раз.

Б. Дубин: Ну, или поляков победили.

Э. Паин: Только ли поляков, вот еще и Наполеона.

Л. Гудков: Главное, что это кристаллизующие моменты национальной идеологии, национальной мифологии, национального величия.

Б. Дубин: Вот недавно я участвовал вместе с молодым писателем Сергеем Шаргуновым в передаче радио «Свобода», посвященной Победе. Все нормально было, в рамках, мы как-то договаривались обо всем. И вдруг в конце он говорит: «А все-таки была такая минута, когда я чувствовал гордость за свою страну. Это август 2008 года,

когда мы показали грузинам». Оказывается, что важно «показать» – полякам, прибалтам, грузинам. Это даже не борьба с США.

Э. Паин: Неправда, всякий «патриот» тебе объяснит, что победа над Грузией – это победа над Штатами.

Б. Дубин: Конечно, и наши опросы это показывают. Но важно, что это именно таким способом удостоверяется. Я бы сказал, что параллельно с той сложной линией, которую можно выстроить вокруг тех реперных точек, о которых Лев говорил, я бы взялся выстроить другие точки, где «мы их победили» и благодаря этому оказались выше всех на свете, в том числе «их», наших противников, спасли Европу, мир и т.д. И эти линии – их «преимущества» и наших «побед» – неким сложным образом были бы соотнесены друг с другом. Это называется: «мы им показали», «мы им вставили» – и может быть и на спортивных, и на военных полях.

Э. Паин: Необходимо отметить, что это мифологическое сознание может сохраняться наряду с рациональным. Обе формы сознания живут параллельно. Скажем, в оценке власти они сосуществуют, не смешиваясь. В многочисленных социологических наблюдениях это есть. Когда вы оцениваете конкретное качество власти – в экономической, медицинской, военной и других сферах, – оценки оказываются преимущественно негативные и падающие. А когда речь идет о символическом величии – тут власти сам черт не брат.

Л. Гудков: Потому что характер недовольства нынешней властью указывает на то, что в массе есть идеальные представления о власти. Речь идет не о том, чтобы заменить эту власть неким другим устройством. Утверждается именно идеальная структура этой незыблемой власти.

Э. Паин: Вернемся к теме «культурное многообразие и особый путь». Итак, мы пришли к выводу, что «особый путь» – нечто похожее на идеологию избранного народа. Так или иначе, а в России уж точно, это еще и форма национализма, которую можно назвать цивилизационным национализмом. Но ведь многим кажется, что есть сходство между идеологией «особого пути» и вполне легитимным явлением, признаваемым всеми, кто занимается модернизацией. Явление это называется «культурное разнообразие». Недавно я был на конференции, посвященной памяти С. Хантингтона. Экономисты увлечены этим культурным разнообразием, поскольку полагают, что можно оседлать различные виды культурных особенностей и использовать их как культурный капитал.

Б. Дубин: Мы говорили об «особости» как тормозе, защите, барьере. Ты же сейчас предлагаешь рассмотреть ее как ресурс, да? Тут опять надо себя спросить: ресурс чего? Думаю, что под ресурсом в обобщенном виде имеются в виду две вещи – ресурсы активности и ресурсы сплоченности. В России, мне кажется, сегодня нет ни того, ни другого. И наши исследования это показывают. Если не говорить о группах номенклатуры, где тип сплоченности совершенно другой. Там важна принадлежность к номенклатуре, важно из нее не выпасть, и активность ограничивается правилами внутриноменклатурного поведения: ты не должен проявлять излишней активности в подъеме наверх, и тогда тебе «дадут», когда полагается. Но не это наша проблема. А применительно к состоянию социума ни особости как ресурса активизации, ни особости как ресурса сплоченности, по-моему, в сегодняшней России нет.

Э. Паин: Давайте я поиграю в адвоката дьявола и скажу, что в России может быть и то и другое. Во-первых, наше население разнородно в историко-культурном отношении. Пусть, скажем, народы Северного Кавказа не составляют большинства, но у них групповая сплоченность на высочайшем уровне. Правда, этот вид сплоченности еще в большей мере, чем общероссийская разобщенность, формирует как бы зонтик, защищающий от проникновения универсализма, скажем, для восприятия законов как универсальных норм, действующих в данном обществе и обязательных для всех без исключения.

Б. Дубин: Если ты возьмешь еще и криминальные группы или что-нибудь в этом роде, то, конечно, найдешь сплоченность.

Э. Паин: Я к тому и веду, что есть разные виды сплоченности и они, как и активность, могут стать ресурсом модернизации, только если будут сопровождаться ростом правосознания. В противном случае возникает анархическая активность и антиобщественная сплоченность. Хочу также подчеркнуть, что сплоченность и активность не являются неизменными свойствами социума – они поддаются выращиванию, культивированию в разнообразных направлениях. В этой связи еще раз напомним идею писателя С. Шаргунова, о которой Борис уже вспоминал. Ту же идею можно услышать из уст представителей русских националистических сил. Они говорят о том, что источником сплоченности и активности могут стать победы России. И если мы не можем побеждать на ниве высоких экономических достижений, то вполне способны побеждать на поле военной битвы, пусть пока и небольшие страны, такие как Грузия.

Б. Дубин: В самом деле, разные группы, включая СМИ, сегодня пытаются использовать именно такой ресурс повышения сплоченности. Но это поднимает чрезвычайно серьезный и очень любопытный вопрос, он нас сильно уведет в сторону, но два слова о нем. Все победы, которые СССР, а потом Россия (и даже, вероятно, досоветская Россия, но не буду сейчас в это углубляться) одерживали, начиная с военных и кончая спортивными, не имели продолжения в жизни нашего общества – с победы оно ничего не получало. Возьмем ли мы победу над Наполеоном или победу 1945 года – всякий раз для социума ситуация «после» в целом оказывается хуже, чем было «до». Это, с одной стороны, отчасти подтверждает нашу общую идею насчет установки на понижение и использование властью этого механизма, а с другой – бросает новый свет на «пейзаж после битвы». Народ, одержавший победу, не получает новых степеней свободы, активности, новых форм солидарности, а получает, наоборот, новые формы порабощения, новые формы ограничений и т.д.

Л. Гудков: Что мы имеем в виду, когда говорим о сплоченности? Сплоченность может быть разная, в том числе и выступать как ресурс для коллективной или индивидуальной активности, достижения. Допустим, немец, гонконгский или тайваньский китаец, японец, еврей, швейцарец и любой другой из сыновей тех народов, которые можно причислить к модернизированным нациям, скажет: «Я уважаю себя». Но он уважает себя не просто как человека, добившегося успеха, статуса, обеспеченности, признания и т.п., а как человека, в своей жизни воплотившего особенности национального характера – прилежности, трудолюбия, упорства, методического самоконтроля и внутренней дисциплины, ответственности за свою работу. В нашем же случае речь идет о блокировании активности, превращении принудительности работы, навыков халтуры, лени и пассивного смиренного терпения в позитивные качества национальной породы (дескать, нам материальные блага не важны, мы духовные, мы больше чем-то высоким заняты). В этом плане «особый путь» – это ресурс консервации власти, функция которой – контроль над действиями, над ресурсами населения. Удержать собственную власть можно, только лишь сохраняя примитивность общественного устройства.

Б. Дубин: Я бы сказал, что и снизу действует такой механизм контроля и ограничения.

Л. Гудков: Понижение сложности, блокирование возможностей раз-

вития. Весь фокус заключается в том, что «особость» работает на сохранение власти, она предполагает и сохранение империи как более простого устройства по сравнению с более сложной политической системой, требующей увеличения ресурсов активности и ответственности граждан. Иначе говоря, модернизация нуждается в более сложном устройстве общества, а Sonderweg – это предпосылка удержания примитивного общественного состояния, примитивного устройства.

Б. Дубин: Как ни парадоксально, основные формы социальности, которые есть в России, – это формы, которые ограничивают активность, а не поощряют ее.

Л. Гудков: Само устройство власти принципиально архаично и потому консервативно. В этом смысле идея переключения «особого пути» из ресурса консервации в ресурс усиления конкуренции продуктивна только при условии устранения данной системы власти.

Э. Паин: К этому я и хотел подойти. Есть, тем не менее, возможность использования идеи «особого пути» и некоторых мифологических ее элементов, например мифологемы «великая страна», в качестве фактора активизации общества. В конечном счете, ни одна политическая партия в сегодняшней России, включая и любую либеральную, не откажется от признания того, что мы великая страна. Именно это величие и является стимулом к конкуренции, модернизации. Вот Григорий Явлинский не раз повторял, что, если Россия не хочет оставаться периферийной страной, второстепенной экономикой, она должна включаться в модернизацию. Признаюсь, и я не вижу никакого другого побудительного мотива к модернизации у элиты и вовлечения в модернизацию масс, кроме использования этой самой мифологемы: «Быть достойным, быть великим, конкурировать на мировом уровне».

Б. Дубин: Такая мотивация может быть реализована только в системе новых институтов.

Э. Паин: Да, реализующаяся в системе новых институтов и наполненная новым содержанием. Тогда окажется, что в России нужно не армию развивать, а высокие технологии. А для высоких технологий необходимы и индивидуальная активность, и новые формы образования, и вся цепь следствий, которая с этим связана.

Б. Дубин: Реформы немецкого университета следовали за поражениями сначала Пруссии, а потом Германии в великих войнах – в наполеоновских войнах и Второй мировой войне. Не армию стали нара-

щивать, а начали реформировать систему образования. Вот способ выхода из, казалось бы, зачатой ситуации. В том числе выход из Sonderweg для Германии. Поэтому если через становление современных институтов, начиная от образовательных и кончая политическими, то да, идея определенного преимущества, будущего превосходства, которое невозможно без активизации, с одной стороны, и нового сплочения – с другой, то, конечно, бога ради, только где взять именно такую идею величия, а главное – соответствующий институциональный контекст?

Л. Гудков: Я скептически отношусь к этому. Думаю, что в наших условиях попытка эксплуатировать идею величия иллюзорна.

Э. Паин: Даже если будут другие институты?

Л. Гудков: Это очень сильное допущение, потому что посылка «величия» ставит телегу впереди лошади. Сначала какие-то институты, а потом телега – великая и богатая, славная держава. У нас же все наоборот – непременно реализуется лозунг «великая держава», а новые институты станут еще хуже. Поэтому я не думаю, что с этим можно играть. Население, конечно, готово декларировать и манифестировать, ходить с флажками и символами великой державы, но умирать за это не будет без большой палки и заградотрядов. Изменения (реальные, институциональные) возможны только при подключении политики к повседневным, текущим интересам населения. То, чего население хочет сегодня, и хочет по-настоящему, и за что оно голосует, поддерживая Путина, и будет голосовать за любого другого, – это «дайте денег», «сделайте нам хорошо».

Э. Паин: То есть в нынешних условиях кто бы ни говорил об идее великого пути, даже наполняя его новым содержанием, скорее всего, проиграет, потому что слово возьмут, а социально-экономическое содержание оставят.

В окончании беседы давайте подытожим наши претензии к идее «особый путь России» и попробуем сформулировать, почему эта идея не может стать ресурсом модернизации. Я так ставлю вопрос, поскольку мы сообща пришли к выводу, что, как ни крути, приспособить ее для общественного блага нельзя.

Л. Гудков: Несколько ее антимодернизационных особенностей сейчас уже вполне можно сформулировать. Прежде всего, это ее консерватизм, а интересы консервации направлены именно на сохране-

ние нынешнего общественного устройства, то есть положения бесконтрольной власти, которая берет на себя задачи воплощения национального величия, требующего жертв от населения, а также власти, которая берет на себя в этих обстоятельствах заботу о населении (в том числе и заботу о модернизации) и прочее. Она может выставить любые флажки: построение «нового общества», «нового человека», «достижение всеобщего счастья», «равенства и братства» или создание великой державы – все что хочешь. Но важно, что введение модельного оператора «особый путь» блокирует возможности трансформации самой системы власти. Ее разделения, ее контроля обществом, установления рамок ее ответственности.

Б. Дубин: Я бы добавил, что сама эта идея типологически устаревшая. Она не может работать в нынешних условиях, с одной стороны, глубочайшей социокультурной дифференцированности обществ, а с другой – глобальных процессов, которые, хочешь или не хочешь, заставляют всех действовать в общем поле. От холодильника до политического строя – все включено в общий рынок, в общие политические сообщества. И тут на механизмах фундаменталистского, неоконсервативного, неотрадиционалистского типа мало чего сделаешь, разве что в рамках избирательной кампании, и то только на время. Как политический механизм, а тем более как культурный механизм эта штука не будет работать.

Л. Гудков: Мне кажется, что это фазовое социально-историческое явление, возникающее в условиях запаздывающей модернизации, когда периферийная страна пытается преодолеть свою периферийность. И это способ моральной самозащиты для периферийной страны. В ситуации, когда стране не надо ставить задачи догоняющего развития, идея «особого пути» отпадает как таковая. Тогда принимаются другие модели устройства и сопоставление стран (в глазах их граждан) идет по отдельным и конкретным параметрам – экономики, гражданских прав, политических свобод и др.

Б. Дубин: Это как раз те оценки, по которым нынешнее российское население, судя по опросам общественного мнения, проявляет полное недоверие к власти и дает ей чрезвычайно низкую оценку. Как только мы берем дифференцированные, конкретные характеристики, власть не получает ни одобрения, ни поддержки, ни доверия. А как только речь идет о верховных символах – это пожалуйста. Но идея *Sonderweg* увековечивает, консервирует этот разрыв – разрыв между большим символом «мы» и нашей повседневной деятельно-

стью, между властью и населением, между Россией и Западом, – в этом смысле она не является механизмом динамики. А ведь идея модернизации именно в том и состоит, чтобы (а) найти новые механизмы динамики, (б) научиться работать в условиях конкуренции, (в) породить новые формы сплоченности. Это связанные между собой вещи. Процесс модернизации, по крайней мере в удавшихся образцах, создал некое ноу-хау на соединение этих разных типов ориентации и мотивации. В России пока ничего такого не получается.

Л. Гудков: И еще можно сказать, что многовариантность идеи «особого пути», в позитивном смысле, возникает именно тогда, когда особый путь перестает быть защитно-компенсаторным. Именно тогда, когда мы помещаем страну в поле выбора возможностей и сравнения с другими странами, начинают работать собственно «национальные особенности» как ресурсы действия, потенциал достижения.

Э. Паин: В развитие того, что вы говорили, и я хотел бы дать свою обобщенную оценку идеологии «особого пути», а заодно наконец ответить на свой же вопрос о том, что общего между этой идеологией и вполне респектабельной идеей культурного разнообразия, одобренной, например, Советом Европы и кодифицированной в «Белой книге» по межкультурному диалогу (Страсбург, 2008). Сходство между этими идеями кажущееся. При более или менее детальном сравнении сразу же бросаются в глаза их принципиальные различия. Идея культурного плюрализма исходит из принципа свободного выбора пути развития, а доктрина «особого пути» настаивает на его предопределенности: «мы иначе не можем». Эта идеология во всех своих разновидностях может быть представлена образом того самого советского паровоза, бегущего по строго определенному пути. В советское время конечная станция на этом пути называлась коммунизмом, сейчас ее переименовали в «достижение величия державы». Для большей же части наших сограждан этот путь хоть и предопределенный, но совершенно не понятный, поскольку о нем известно лишь, что он «особый» и точно не западный. В действительности же это вовсе не путь, а запрет на движение в сторону предоставления людям самой возможности выбора модели политического устройства.

Вы оба правы: только у общества, освободившегося от необходимости идти по строго предписанному властями пути, возникает возможность реального проявления культурных и социальных особенностей. И опыт целого ряда эффективных модернизаций пока-

зывает, что в этих условиях проявляется или конструируется своеобразие как раз для облегчения процесса внедрения инноваций. В книге под редакцией Э. Хобсбаума «Изобретенные традиции» хорошо показано, что многие явления, которые ныне считаются тысячелетней английской традицией, на самом деле были изобретены в эпоху королевы Виктории и им специально приданы черты национальной традиции. В Японии после экономического кризиса 1930-х годов и особенно после Второй мировой войны многие корпорации представляли свои организационные технологии, новые, изобретенные известными (во всех смыслах этого слова) менеджерами, как возрождение традиций.

Б. Дубин: «Изобретение традиций» как один из элементов модернизации, конечно.

Э. Паин: Но ни в Англии, ни в Японии не провозглашалась идея «особого пути», обе страны развивали универсальные модернизационные процессы, используя в качестве их инструмента свои культурные символы, иногда даже имитируя специфичность и традиционность преобразований для придания им большей легитимности в глазах общества и обеспечения лучшего общественного усвоения инноваций. Другие же страны, выдвигавшие лозунги возрождения самобытности или усиления специфичности в качестве своей политической цели, терпели провал. Один из свежих примеров такой стратегии представляет Судан – единственная страна мира, не только выдвинувшая идею создания особой «исламской экономики», но и пытающаяся на систематической основе ее реализовать. Результат – обвальное падение не только уровня экономического развития (страна занимает 187-е место в мире по уровню ВВП) и уровня жизни, но и рост смертности, голод, усиление авторитарных тенденций в политике и острейшие межрасовые столкновения.

Итак, во всех известных случаях выдвижение идеи «особого пути» в качестве стратегической цели страны выступало как предпосылка ее демодернизации. Напротив, когда сама модернизация становится целью (не временным лозунгом элитарных групп, а действительно национальной идеей, результатом осознанных интересов и свободного выбора всего общества), то естественно, без дополнительных деклараций возникает необходимость использования специфических социальных и культурных средств ее достижения.

Мы с вами высказались по поводу возможности использования идеологии «особого пути» в качестве инструмента модернизации, затронув лишь узкий круг тем, связанных с этим вопросом. У читателей есть возможность дополнить, согласиться или опровергнуть наши рассуждения. Разумеется, если они их заинтересуют.

Сведения об авторах

- Верховский Александр Маркович* – директор информационно-аналитического центра «Сова»
- Гудков Лев Дмитриевич* – доктор философских наук, директор Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр), главный редактор журнала «Вестник общественного мнения»
- Дмитриев Александр Николаевич* – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований Государственного университета – Высшей школы экономики, редактор журнала «Новое литературное обозрение»
- Дубин Борис Владимирович* – руководитель отдела социально-политических исследований Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр), заместитель главного редактора журнала «Вестник общественного мнения»
- Кубышкин Александр Иванович* – доктор исторических наук, профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета
- Люкс Леонид* – профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Центральной и Восточной Европы в Католическом университете г. Айхштетт (Германия), редактор журнала «Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры»
- Магарил Сергей Александрович* – кандидат экономических наук, преподаватель факультета социологии Российского государственного гуманитарного университета
- Майофис Мария Львовна* – кандидат филологических наук, докторант Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского (РГГУ)
- Мелихов Александр Мотелевич* – писатель, публицист, г. Санкт-Петербург
- Паин Эмиль Абрамович* – доктор политических наук, профессор Государственного университета – Высшей школы экономики, научный руководитель московского офиса Института Кеннана
- Сергунин Александр Анатольевич* – доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета
- Умланд Андреас* – Dr. Phil. (FU Berlin), Ph. D. (Cambridge), научный сотрудник Института по изучению Центральной и Восточной Европы г. Айхштетт (Германия), главный редактор книжной серии «Советская и постсоветская политика и общество», соиздатель «Форума новейшей восточноевропейской истории и культуры» и двухнедельного англоязычного «Бюллетеня русского национализма»
- Фирсов Борис Максимович* – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге
- Хряков Александр Васильевич* – кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории исторического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
- Царуски Юрген* – доктор наук, научный сотрудник Института новейшей истории, г. Мюнхен

ИНСТИТУТ КЕННАНА,
основанный в 1974 году, является подразделением
Международного научного центра имени Вудро Вильсона
(Вашингтон, округ Колумбия, США).
Институт способствует проведению высокопрофессиональных
междисциплинарных исследований и дискуссий, посвященных
России и другим странам – бывшим республикам СССР,
содействуя тем самым объединению мира науки и мира политики.
В проектах, реализуемых Институтом, участвуют ученые,
эксперты, представители творческой интеллигенции,
общественные и политические деятели. Институт поддерживает
исследования по целому ряду направлений в области социальных
и гуманитарных наук, включая экономику, политику,
социальную сферу, культуру, историю и литературу.

*Для получения дополнительной информации
просьба обращаться в РОО «Кеннан»:
Тел./факс: (8) 495-232-3496/97
Эл. почта: kennan.moscow@gmail.com*

*Адрес для корреспонденции:
123001, Россия, Москва, а/я 90
РОО «Кеннан»*

*Web-страница Центра имени Вудро Вильсона:
www.wilsoncenter.org*

*Web-страница РОО «Кеннан»:
www.kennan.ru*

Идеология «особого пути» в России и Германии

под ред. Э.А. Паина

ISBN 978-5-94607-143-2

Издательство «ТРИ КВАДРАТА», Москва 2010

Наши книги можно заказать по адресу:

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРИ КВАДРАТА»
Москва 125319, ул. Усиевича д. 9, тел./факс (8) 499/151-1833
e-mail: info@triquadrata.ru